



Михаэль Мертес

Библиотека
Московской
школы
политических
исследований

*Немецкие вопросы –
европейские ответы*



**Библиотека
Московской
школы
политических
исследований**

**Библиотека Московской школы
политических исследований**

Редакционный совет:

А. Н. Мурашев

В. А. Найшуль

Е. М. Немировская

А. М. Салмин

Ю. П. Сенокосов

А. Ю. Согомонов

М. Ю. Урнов

Михаэль Мертес

Немецкие
вопросы –
европейские
ОТВЕТЫ

*Московская
Школа
Политических
Исследований*

2001

**ББК 84.7 (Германия)
М 52**

Перевод с немецкого Нины Манджиевой

Редактор А.И. Волков

Художественное оформление серии Андрея Бондаренко

Настоящая книга является оригинальным изданием, подготовленным автором на основе его выступлений на семинарах Московской школы политических исследований и статей, опубликованных в периодической печати.

Часть тиража передается в государственные, муниципальные и публичные библиотеки, а также в университеты Российской Федерации.

М 52 Мергес М.

Немецкие вопросы — европейские ответы. — М.:
Московская школа политических исследований, 2001. —
336 с.

ISBN 5-93895-017-1

Эта книга о современной Германии — ее внутренней и внешней политике, культуре, проблемах воссоединения, партийных разногласиях и одновременно о том, как эти проблемы и разногласия находили решение в общем контексте строительства единой Европы, когда ее народы преодолевали разрушительные последствия второй мировой войны. Написанная живым и простым языком, она, безусловно, будет интересна российским политикам и всем, кто думает о будущем России.

ББК 84.7 (Германия)

ISBN 5-93895-017-1

© Michael Mertes, 2001

© Московская школа политических
исследований, 2001

Оглавление

Предисловие	8
Часть I. Патриотизм и космополитизм	
Просвещенный патриотизм и национализм	12
О коллективной памяти наций	22
Историческое сознание и национальная идентичность ..	34
Berliner Republik?	54
Новая родина Германия	69
Часть II. Объединение Германии	
Германский вопрос в XIX и XX столетиях	82
Михаил Горбачев и германское единство	99
О Программе из десяти пунктов	102
Политическая и социальная культура Германии: перемены с помощью консенсуса?	122
Германия движется дальше	160
Немецкая революция... Такое возможно?	164
Часть III. Политическая культура и религия	
Демократические изменения	76
Циклы правления	184
Роль политических партий в стабильности демократической системы	196
Политическая культура в XXI веке	210
Будущее четвертой власти	231
Еще папа Хейс нам говорил... ..	240
Интернет и политическая культура	249
Возлюби врага своего	270

Часть IV. Европа

Стены нет — Европа объединяется?	284
Видение Европы	298
Европейский Союз разрастается	311
Триумф национального эгоизма	315
Нет мира без ООН	324
Европа — невыполненное обещание	327
Именной указатель	332

Не будем заблуждаться об истинных причинах, препятствующих единению Европы. Среди них — недоверие к Германии, неуверенность в чистоте ее помыслов, страх, который испытывают другие народы перед плохо скрываемой, на их взгляд, жаждой гегемонии немцев, происходящей якобы из их векового усердия. Нам остается только подтвердить, что эти опасения не лишены оснований. И сегодня кого-то прельщает дух германской Европы — каким бы чудовищным ни было его воплощение в Гитлере. Перед новым поколением Германии, перед немецкой молодежью стоит теперь задача рассеять все эти страхи, окончательно отвергнуть то, что давно подлежит отвержению, и ясно провозгласить свою волю — *не к германской Европе, но к европейской Германии.*

Томас Манн

Из выступления перед студентами Гамбурга, 1953

Предисловие

Знакомство с Московской школой политических исследований, прежде всего с Леной Немировской и Юрием Сенокосовым, стало одним из самых замечательных событий в моей жизни. В результате этого знакомства возникла данная книга. Она не появилась бы на свет без инициативы и настойчивой поддержки со стороны Юрия Сенокосова.

Заголовок “Немецкие вопросы — европейские ответы” включает в себе более глубокий смысл, чем это может показаться на первый взгляд. Работы, вошедшие в книгу, передают историю, которая началась в 1989 году и заканчивается в 2001. Впрочем, нет, не “заканчивается” — продолжается! В течение последних двенадцати лет эпохальные события самым решительным образом изменили облик Европы. И этот процесс далеко еще не завершен. У меня было преимущество, позволившее мне непосредственно участвовать во многих процессах — в качестве ближайшего сотрудника Гельмута Коля (в последние годы я возглавлял Отдел культуры и планирования в правительственном аппарате ФРГ). Кроме того, с 1994 года у меня появилась возможность следить за развитием происходивших исторических событий под российским углом зрения — в качестве эксперта Московской школы политических исследований. Всё это нашло отражение в книге.

При всем своем стремлении к объективному анализу я не старался скрывать свои чувства и утаивать прежние заблуждения. Если читатель обнаружит, что я иногда отстаиваю тезисы, которые сам же впоследствии опровергаю, пусть он отнесется к этим противоречиям снисходительно и великодушно расценит их как моменты интеллектуального развития. Пусть это послужит доказательством того, что я не только эксперт, но и жаждущий знаний слушатель Московской школы политических исследований.

Умение “войти в положение другого” составляет одно из важнейших условий познания. Так это сформулировал еще

Иммануил Кант в своей “Антропологии с прагматической точки зрения”. Отношение немцев и русских к вопросу о национальном самовосприятии всегда было разным. Это вопрос об отношениях между нацией, государством и демократией, о поисках своего места в контексте европейской культуры, о честном анализе собственной истории — по ту сторону исторических мифов. При написании книги мне очень помогло то, что я мог посмотреть на “германский вопрос” глазами моих русских друзей — и я надеюсь, что читатель этой книги сочтет полезным взглянуть на “русский вопрос” глазами немецкого друга.

Вопрос о национальной идентичности кажется мне сегодня менее существенным, чем это было десять лет назад. Он уводит в ложном направлении, заставляя нас думать о нашей исключительности и вызывая желание отгородиться от всего, что нам чуждо. И в результате игнорирует перемены, которыми мы постоянно подвержены. Поэтому я выступаю за открытую и способную к изменениям систему национального самовосприятия.

Нация не должна быть самоцелью — и тем более высшим из всех благ; она инструмент для достижения высоких человеческих ценностей — свободы, справедливости и мира. И то же самое относится к власти. Одним из самых значимых событий последних лет стало для меня поражение Коля на выборах 1998 года; с тех пор я работаю журналистом. То, что близость к власти может превратиться в наркотик, я испытал на собственном опыте. Семья и друзья — и не в последнюю очередь российские друзья — помогли мне освободиться от этой зависимости. Отныне библейская заповедь — не сотвори себе кумира — приобрела для меня новое значение: если люди боготворят нацию, власть и богатство, они становятся рабами.

В самом конце XVIII столетия Иоганн Вольфганг фон Гёте и Фридрих Шиллер опубликовали в своем “Альманахе Муз” следующую эпиграмму:

Zur Nation euch zu bilden, ihr hoffet, Deutsche, vergebens;
Bildet, ihr könnt es, dafür freier zu Menschen euch aus!¹

В начале XX столетия историк-патриот Фридрих Мейнке — абсолютное дитя своего времени — обозначил путь немцев в XIX веке как восхождение от космополитизма Гёте

¹ Напрасно вы, немцы, надеетесь создать нацию;
Учитесь лучше, вы сможете быть свободными людьми.

и Шиллера к национальному государству Бисмарка. Но, приобретя опыт сокрушительного воздействия тоталитарных идеологий, мы имеем все основания относиться в наши дни скептически к подобному философско-историческому оптимизму. В начале XXI столетия меня лично волнует вопрос, а не совершается ли сейчас движение в противоположном направлении: от национального государства к космополитизму? Таков, по крайней мере, тезис, который лежит в основе первых статей книги — включая мой первый доклад на семинаре Московской школы политических исследований.

Последняя работа — это текст, написанный в соавторстве с Домиником Моизи (также экспертом Школы). Это скромный знак моей благодарности за то, что он и его жена Диана Пинто познакомили меня с Леной Немировской. Одновременно хотел бы заметить, что эту книгу не нужно расценивать как результат одиноких раздумий в тиши профессорского кабинета, она отголосок долгого и душевного разговора, который — я надеюсь — будет продолжаться еще многие годы.

Выражаю сердечную благодарность переводчице Нине Манджиевой, которая проявила необыкновенное терпение к моему хаотическому творчеству.

Бонн
Март 2001
Михаэль Мертес

Часть I
Патриотизм и космополитизм

Когда в мае 1994 года я был впервые приглашен на семинар Московской школы политических исследований, мне хотелось рассказать российским коллегам о том, как мы, немцы, преодолевали свое нацистское прошлое. При этом, обсуждая — в том числе и на других семинарах — связанные с этим проблемы национализма и патриотизма, коллективной памяти, национальной идентичности, я говорил слушателям Школы, что процесс изживания и принятия прошлого занял в моей стране жизнь нескольких поколений. И единственное, что здесь требуется, это терпение. А теперь добавлю, что, видимо, каждой развивающейся демократии необходимо в таком случае то, что можно назвать “гражданской религией” — то есть общее согласие о допустимых и недопустимых формах гражданского урегулирования конфликтов.

Я уверен, что Россия и русские рано или поздно тоже найдут для себя подобную гражданскую религию. И тогда возникнет объединяющий нацию цемент.

Известно, что после окончания второй мировой войны на Западе стали развиваться новые формы международного сотрудничества, и наши бывшие враги стали нашими друзьями и помогли нам создать новую политическую культуру. То есть, иначе говоря, произошли огромные изменения, если не в национальной, то в политической культуре Германии.

Просвещенный патриотизм и национализм

Для ясности начну с обозначения четкой грани между патриотизмом и национализмом. В патриотизме я вижу сочетание любви к своей стране с любовью к свободе и другим общечеловеческим ценностям. С этой точки зрения патриотизм можно определить как промежуточную позицию между идеологией “крови и земли”, которую я буду называть национализмом, с одной стороны, и абстрактным гуманизмом — с другой. Национализм придает слишком большое значение частностям, в то время как абстрактный гуманизм относится к универсалиям. Патриотизм же — это конкретное проявление

ние гуманизма, включающее в себя как частное, так и общее. Патриот — это истинный гражданин своей страны и истинный гражданин мира.

В 1848 году консервативный австрийский писатель Франц Грильпарцер предсказал, что “путь современного человечества начинается с гуманизма, проходит через национализм и заканчивается зверством”, и, как мы знаем, в конечном счете он оказался прав. Хотя, разумеется, существуют и возможны другие пути — во всяком случае путь, ведущий через национализм, приобрел новое и удивительное значение (по крайней мере для наивных западных либералов) после окончания периода антагонизма Востока и Запада.

Нацию и принадлежность человека к той или иной нации нельзя рассматривать как нечто самоценное; это значимо, но только как “средство воздействия на общечеловеческие ценности” (Йозеф Рован). “Кровь и земля” принадлежат миру фактов, в то время как человеческое достоинство и права принадлежат миру ценностей. В этом отношении абстрактный гуманизм правомерен. Однако он не учитывает, что мы являемся сочетанием духа и плоти, и, таким образом, ему не удастся удовлетворить важнейшие человеческие стремления: духовную и эмоциональную потребность людей в единстве и культурных традициях, или, иначе говоря, в своем доме. И более того, в догматической и тоталитарной интерпретации этот абстрактный гуманизм готов утверждать, что нищета и страдания одного поколения — необходимая предпосылка перехода к будущему счастью последующих поколений. Так что не случайно миллионы ни в чем не повинных мужчин и женщин были сосланы в свое время или погибли во имя интернационального братства. Поскольку “государство (выражаясь словами Ф. Гёльдерлина) в буквальном смысле превратилось в ад в результате стремления человека создать рай”.

Если вы принимаете мое определение патриотизма, то в этом случае, я уверен, мы сможем прийти к согласию относительно того, что патриотизм и демократия взаимосвязаны и прекрасно сочетаются. Я бы даже хотел пойти дальше: демократия не может быть устойчивой, если в ней нет доли патриотизма. Но это тот патриотизм, который превращает буржуа, не особенно интересующегося жизнью своего государства, в подлинного гражданина, готового защищать демократию. Существование демократии в трудные для нее времена зависит не от того, сколько у нее врагов, но в большей степени от то-

го, сколько у нее активных защитников. Апатия и безразличие — самые сильные союзники политических экстремистов во всем мире. Примером может служить Германия конца 20-х — начала 30-х годов, когда к власти пришел Гитлер.

Что означает этот урок для нас сегодня?

Во-первых, я считаю, что демократы должны сдерживать правых экстремистов и не позволять им разжигать чувство слепой любви к родине. Напротив, нам следует подчеркивать, что националисты не могут быть истинными патриотами, когда они используют это законное чувство в своих незаконных, а порой и преступных целях.

Во-вторых, демократам не следует отдавать идеалы гуманизма левым экстремистам. Напротив, нам следует всячески подчеркивать тот факт, что милосердие начинается у себя дома. Что нельзя любить человечество в целом, если вы не готовы любить своего соседа.

Поскольку я родом из Европы, то не забываю, что корни наших наций уходят в историю, полную войн, изгнаний, завоеваний, подавлений этнических меньшинств и разрушений региональных культур (или “культурного геноцида”, по определению Андре Глюксмана). Поэтому не следует восторгаться, когда речь идет о многочисленных проблемах сохранения и даже развития национальной самобытности в Восточной и Центральной Европе. Конечно, нельзя позволить этим процессам длиться на протяжении веков, как это было в Западной Европе, тем более на фоне событий на Балканах, а также в других частях посткоммунистического мира.

Попытаюсь проиллюстрировать вопрос о национальной самобытности тремя простыми примерами.

В детстве я ходил во французскую начальную школу, где мне особенно запомнились уроки истории. Учитель рассказывал нам о наших предках галлах, потом о Карле Великом, как его звали в Германии. Я долго спорил с одноклассниками, француз он был или немец. Когда я спросил об этом у своих родителей, их ответ поразил меня: ни то, ни другое. В 800 году от Рождества Христова не существовало ни французской, ни немецкой наций в современном смысле этого слова. Поэтому мой вопрос не имел смысла: Карл Великий — это действительно отдельная глава как во французской, так и в немецкой предьстории.

Или другой пример. Спустя почти десять лет, уже в средней школе, я узнал, что Франц Кафка внес крупный вклад в

развитие немецкой литературы. И, помню, как-то спросил об этом свою одноклассницу родом из Праги. “Он был одним из величайших чешских писателей XX века”, — сказала она. Хотя на это можно возразить, что Кафку нельзя понять, не учитывая его еврейское происхождение. Опять же однозначные ответы не решают проблемы.

А что можно сказать о таком человеке, как Георг Фридрих Гендель? Немец он или англичанин? В Германии подчеркнули бы тот факт, что он родом из Галле. А англичане, я думаю, обратили бы внимание на то, что он долгое время жил в Англии и там создавал свои шедевры. Поэтому правильный ответ вроде бы зависит от того, что важнее: где вы родились или где вы живете. Но не является ли и этот вопрос сам по себе тоже ошибочным? Имеет ли смысл говорить, что Микеланджело “принадлежит” итальянцам, Достоевский — русским, а Моцарт — австрийцам? Если взглянуть шире, они принадлежат всему человечеству и внесли вклад в общечеловеческое наследие.

Мы склонны думать, что сегодняшние нации являются природными образованиями, которые будут существовать вечно. История Карла Великого — пример того, насколько ошибочно это интуитивное суждение. Нации, включая и самые молодые, — творение человека. Говоря это, я не хочу сказать, что они были запроектированы и созданы при помощи разума. Но они, несомненно, являются итогом такой человеческой деятельности, как смешение разных племен в результате различных процессов развития, притом не всегда мирных. Они возникли по прихоти исторических событий, в их основе лежали взаимодействие идей и интересов, человеческие страдания и страсти. При этом существует совершенно искреннее стремление людей связать происхождение собственной нации с героическим прошлым. Как писал Карл Поппер в 1945 году: “Уже говорили о том, что раса есть общность людей, объединенных не своим происхождением, а общим ошибочным взглядом на свое происхождение. Аналогично мы могли бы сказать, что нация являет собой общность людей, объединенных общим ошибочным взглядом на свою историю”.

Я полагаю, что подобного рода мифы, будучи исторически несостоятельными, не соответствуют духу христианских и гуманистических традиций, поскольку ведут к своего рода идолопоклонству, называемому национализмом. Ни одна нация,

включая мою собственную, не имеет абсолютного значения. Мы не должны создавать своего золотого тельца. Ибо речь идет о свободном выборе той нации, к которой принадлежит человек. Хотя имеет значение желание не только самого человека, но и того сообщества, которое его принимает. Именно об этом свидетельствует, в частности, биография Генделя. Короче говоря, ценность и важность индивидуальной свободы подтверждает ту точку зрения, что нация не может быть абсолютной величиной.

Если бы нации были продуктом природы, а не культуры, то не могла бы возникнуть, например, такая новая нация, как Соединенные Штаты. История полна примеров миграций, перемещений и смешения всех групп населения. Следовательно, было бы абсурдным пытаться определить нацию как этнически однородное сообщество или даже рассматривать племенную или этническую однородность как имеющую ценность саму по себе.

Только в каком-то ограниченном смысле можно сказать, что необходим минимум гомогенности, чтобы предохранить нацию от распада. Я бы назвал это основным консенсусом обязательных правил и стандартов гражданской и мирной жизни в обществе.

Но вернемся к истории Кафки. Она имеет отношение к вопросу собственного "я". Мы должны иметь принадлежность к какому-либо месту. Это часть человеческого существования. Мы являемся русскими, армянами, грузинами, англичанами, американцами, французами, австрийцами и так далее, но этот факт сам по себе еще не образует нашу личность. Многие другие составляющие и взаимосвязи тоже играют заметную роль: семья, друзья, общественная принадлежность и взаимоотношения, религиозная среда и так далее. Какой из этих факторов имеет решающее значение?

Не существует однозначного ответа на этот вопрос. Христианин, вероятно, скажет, что для него вера важнее всего остального. Я же чувствую себя ближе к тем людям из других стран, которые разделяют мои основные этические убеждения, чем к какому-нибудь немцу, который их не разделяет. И вместе с тем я чувствую себя преданным сообществу своих соотечественников, то есть нации.

Жизненный вопрос для меня заключается в том, чтобы избежать любого конфликта между моими обязанностями как человеческого существа и моими обязанностями как гражда-

нина. Как христианин и гуманист я должен в такой степени использовать свои гражданские права, чтобы предотвратить участие моей страны в конфликте всеобщих ценностей, в которые я верю, и относящихся к нации, к которой я принадлежу. В настоящее время не существует какого-либо типа государственного устройства, при котором мои гражданские права (то есть мое право участвовать в общественных делах) гарантировались бы более действенно, чем при свободно-демократическом государственном устройстве. В этой связи я считаю своим долгом человека, а не только гражданина, быть преданным демократом и защищать законность в своей стране.

Другими словами, как христианин и демократ я не могу оставаться безучастным к различным формам государственного правления. Так как же в таком случае быть, если я считаю себя одновременно патриотом? И учитывая, что это не чисто теоретический вопрос? Существуют люди, которые говорят: “Это моя страна, права она или нет”, поэтому “люби ее или уезжай”. Однако, если провести четкое различие между национализмом и патриотизмом, как я предлагал в самом начале, то, я думаю, всё же можно преодолеть это противоречие. Существует ли более сильное проявление любви к своей стране, чем мое выступление в защиту демократической конституции, охраняющей человеческие права и достоинство?

Современный немецкий политолог Адольф Штернбергер ввел термин “конституционный патриотизм”, чтобы подчеркнуть именно эту связь. Критики в его адрес заявляли, что нельзя любить конституцию. Но это не имеет отношения к точке зрения Штернбергера. Он хотел лишь сказать, что по времени патриотизм старше национализма. Он имеет тот же возраст, что и идеи демократии (Древняя Греция) и республики (Древний Рим).

Понятие конституционного патриотизма помогает нам также осознать, что нации создаются и определяются через государства, а не наоборот. Опровергает ли такое явление, как сепаратизм, существование этого закона? Напротив, это показывает исключительное значение хорошей конституции для внутреннего единения современного общества. Хотя в свою очередь сепаратизм можно определить как национализм этнических меньшинств, которые ощущают на себе давление этнического большинства. Так что кроме отделения существует, на мой взгляд, и вполне разумное мирное реше-

ние такого рода конфликта — конституционное согласие между участвующими сторонами.

Насколько я могу судить, большинство современных наций ведут свое происхождение от некоего Исхода. В данном случае исход означает освобождение. Освобождение как исторический процесс может быть двух видов: либо обретение независимости и/или подобие революции, низвергающей авторитарную власть. Но это еще не всё. Процесс освобождения сопровождается появлением норм, правил и институтов, управляющих жизнью нации, — нет Исхода без Десяти заповедей. И третий элемент — память. Израиль выжил как сообщество только потому, что никогда не забывал историю своего исхода, которая передавалась из поколения в поколение через еврейскую Пасху.

Теперь я подхожу к самому сильному и прекрасному определению того, что составляет нацию. Дал его французский мыслитель Эрнест Ренан в 1882 году. Начинает он с того, что показывает ошибочность общепринятого представления о “природе” наций: является ли этническая однородность критерием в данном вопросе? Очевидно — нет, по причинам, упомянутым выше. А религиозная однородность? Тоже нет, примером чему служат Нидерланды и Германия, страны, которые частично протестантские, частично — католические. Языковая однородность? Нет, пример — Швейцария или Бельгия. Географическое положение? Нет, потому что не существует разумно безусловного ответа на вопрос, что такое “естественные границы” нации.

Что же в таком случае образует нацию? Какова основа, скрепляющая ее? Ответ Ренана на этот вопрос прост.

Первое — общая память о том, что было пройдено вместе. Общие достижения (под которыми я не имею в виду варварскую идею, будто нация приобретает свои честь и единство путем совместных военных операций; я имею в виду такие гражданские достижения, как действующие социальные и политические институты, произведения искусства, литературы, музыки и так далее). Общие страдания. Общая виновность. В воссоединенной Германии мы ощущаем, как это важно. В течение четырех десятилетий раздела чувство общности у немцев не исчезло, и не только потому, что память была старше, чем разделение. Теперь мы видим воочию пропасть разделенной и иногда всё еще разделяющей нас памяти, которая охватывает почти два поколения и которую надо

преодолеть. Эта задача существенно более трудная, чем казалось в 1990 году. Я верю, что Германия будет действительно, то есть духовно, единой, когда те, кто были детьми в 1990 году, достигнут зрелости.

Второе — общая забывчивость: исчезновение в памяти того, что могло бы еще раз разобщить или даже разделить нацию, например, память о прошлой несправедливости, прошлом (местном) конфликте, прошлой (гражданской) войне.

И еще я бы сказал о желании всепрощения. Возможно, это один из самых чувствительных моментов в начинающей развиваться демократии в странах Центральной и Восточной Европы. Испания смогла решить эту проблему в кратчайший период после смерти Франко. Однако сомнительно, что она может быть образцом для Центральной и Восточной Европы, поскольку имеются большие различия, на которых я не буду здесь останавливаться.

Короче говоря, о каждом случае надо судить по его достоинствам. Правосудие и примирение не являются взаимоисключающими. Прощение не означает потерю памяти. И покаяние со стороны совершивших преступление, и прощение со стороны бывших жертв необходимы. Первая предпосылка далека от того, чтобы быть банальной: через какое-то время стыдливого молчания некоторые из бывших преступников, как правило, начинают бить противника его же оружием — обвинять свои жертвы в разрушении национальной гармонии.

Третье и самое важное — твердо выраженная воля иметь общее будущее, общие цели, общие мечты и воззрения. Или можно сказать проще: жить вместе нормальной жизнью, то есть прилично и цивилизованно. В этом месте Ренан приводит свое знаменитое определение: “Бытие нации — это ежедневный плебисцит”.

Мне так нравятся эти критерии потому, что их можно применять к различным сообществам. Как-то я обсуждал этот предмет с моей женой, и она сказала, что принципы Ренана могут с успехом объяснить, что связывает супружескую пару. Действительно, эти принципы являются выражением того, как любовь формирует наши жизни: через общую память о совместно пройденном, через прощение, а также через волю иметь общее будущее.

Постоянной проблемой нашей либеральной демократии является то, что она не может гарантировать основного кон-

сенсуса этических основ, которые она предполагает и на которых базируется. Те, кто принадлежит к иудео-христианским и просветительно-гуманистическим традициям, должны сыграть здесь важнейшую роль. Либеральная демократия нуждается в нашей постоянной защите от воздействия этического релятивизма и индифферентизма. “Религия” потребительства не поможет в этом.

Общепринято мнение, что Европа — христианский континент. Я думаю, мы должны распрощаться с этой иллюзией. Да, политическая культура Европы была сформирована традициями, но я опасаясь, что для большинства людей христианского Запада эти традиции стали слабым воспоминанием.

Что же касается стран бывшего Варшавского Договора, то здесь мы сталкиваемся с дополнительными трудностями — по отношению к той тенденции, о которой я только что упомянул. Сошлюсь, в частности, на исследование религиозных чувств молодых людей в Восточной и Западной Германии: на западе 43 процента считают себя католиками, 43 — протестантами и 11 процентов — не принадлежат ни к какому религиозному сообществу. А теперь сравним это с ситуацией на востоке: 4 процента заявляют, что они католики, 17 — протестанты и почти 79 процентов не причисляют себя ни к одному религиозному сообществу. И это в регионе, который был раньше сердцем лютеранской Реформации. Конечно, это одно из ужаснейших последствий пятидесяти шести лет диктатуры (двенадцать лет национал-социализма 1933–1945 годов плюс сорок четыре года коммунизма 1945–1989 годов).

Насколько я знаю, согласно католической вере, отчаяние — смертный грех, худший, чем гордыня, которая тоже является смертным грехом. Поэтому будем оптимистами, несмотря на эти цифры.

В заключение назову пять заповедей просвещенного патриотизма.

Заповедь первая: уважай патриотизм других наций так, как бы ты хотел, чтобы они уважали твой патриотизм.

Заповедь вторая: будь верным гражданином той страны, к которой ты принадлежишь по рождению или по свободному выбору.

Заповедь третья: принимай и уважай своего соседа как соотечественника независимо от его этнической, культурной

или религиозной принадлежности и в том случае, если он готов быть верным гражданином страны, к которой вы оба принадлежите.

Заповедь четвертая: твоя любовь к твоей стране не может быть отделена от твоей любви к свободе. Поэтому защищай свободу вероисповедания и свободу мысли, как свою, так и своего соседа, и препятствуй любым попыткам вовлечь его или тебя в конфликт между гражданскими и человеческими обязанностями.

Заповедь пятая: не делай идола из своей страны, поскольку существуют общечеловеческие ценности для всех наций, включая твою.

Май 1994

Процесс объединения Германии, начавшийся в 1990 году, вызвал в нашем обществе широкую дискуссию о свободе исторического исследования прошлого и коллективной памяти. Поскольку многие боялись, что публикация секретных документов из архивов ГДР отравит общественную атмосферу в стране. Но этого не случилось. Наоборот, идущая дискуссия помогла простым людям — тем, кто не относился ни к палачам, ни к жертвам — лучше разобраться в том, что же в действительности происходило в бывшей коммунистической ГДР.

Нельзя допускать, чтобы какая-либо группа людей узурпировала право на интерпретацию коллективной исторической памяти. Я убежден, что только работающие демократические институты способны препятствовать этому.

О коллективной памяти наций

Вначале сформулирую несколько тезисов, а затем постараюсь их раскрыть.

1. Национальная идентичность развивается в результате столкновения между идеальным представлением о себе и реальным представлением.

2. Мы постоянно сталкиваемся с выбором между героическим и повседневно-гражданским взглядом на самих себя.

3. Национальная идентичность не есть нечто, данное нам раз и навсегда. Она меняется со временем.

4. Все нации, все народы есть порождение человеческого духа.

5. Каждый из нас отвечает за идентичность той нации, к которой он принадлежит.

6. Совместная интерпретация своего прошлого — центральный элемент национальной самоидентификации.

7. Совместная интерпретация диктаторского прошлого, опыта пережитой диктатуры должна включать в себя как память о победителях, так и память о жертвах.

8. Национальная идентичность — это не более чем общечеловеческая идентичность, принадлежность ко всему человечеству, характерная для всех нас.

Но прежде я хотел бы привести цитату из статьи Юрия Сенюкова, которая произвела на меня большое впечатление. Там говорится следующее.

“Наше неутоленное желание знать правду и *жить не по лжи* есть не что иное, как выражение права на свободу. Того права, которого российские люди когда-то добивались и которое, будучи отданным государству, и сегодня продолжает оставаться проблемой. Так может ли освободить нас от зла даже знание всей правды? Ведь это правда зла и насилия! Хватит ли у нас мужества принять ее, когда мы выступаем от имени замученных и убитых? Устоим ли мы перед тем, чтобы она не вызвала нового зла и ненависти, поскольку неизбежно при этом делим людей на “своих” и “чужих”?”¹

Многим немцам эта проблема хорошо знакома. Мы дважды сталкивались с ней в XX веке: после падения режима нацистского террора в 1945 году и после падения коммунистической диктатуры в бывшей ГДР в 1990 году.

Не буду рассматривать вопрос о том, что общего между красным и коричневым террором и что их отличает. Важно, что и то, и другое для нас — интеллектуальный вызов. Как справиться с памятью о красном и коричневом терроре в нашем прошлом? Я сказал бы, что всё зависит от того, насколько удачно нам удастся вписать эти главы в книгу нашей истории. От этого зависит и наша национальная идентичность.

Индивидуальная и коллективная идентичность определяются прежде всего тем, как мы представляем себе самих себя. Интерпретация прошлого — неотъемлемая часть именно такого самовосприятия. Отсюда понятное желание сделать так, чтобы наше реальное представление о себе совпало с нашим идеальным представлением. Повторю свой первый тезис: идентичность рождается из столкновения идеального и реального представления о себе. У каждого из нас есть представление о своих талантах, возможностях, чертах характера, достижениях. И, конечно, мы бы хотели, чтобы другие нас видели именно такими. Почти инстинктивно мы отказываемся замечать противоречия между реальностью и нашим позитивным самовосприятием. И я думаю, что в этом нет ничего плохого, когда мы знаем об этом и готовы обсуждать наши поражения, недостатки или неудачи. Следовательно, мы не должны бояться нашего прошлого, оно не должно заслонять

¹ Religion, State and Society. Vol. 23, № 3, 1995. P. 278.

то позитивное, что было в нашей истории. Как не должны при этом и закрывать глаза на неприятное прошлое и видеть себя лишь в “белых одеждах”. И то, и другое — разные формы бегства от действительности.

Первая заключается в том, что мы прячем неизвестную нам правду в тайниках бессознательного. Как писал Ницше, “моя память говорит мне — остановись, и, в конце концов, память сдастся”. Вторая форма — это поиск оправданий, объяснений во внешнем мире, когда говорят: “Это не наша вина, это всё враждебные силы, организовавшие заговор против нас”. Так вот, если мы посмотрим на подобные столкновения между идеальным и реальным представлением о себе, то увидим, что индивидуальная психология, как и национальная, имеют много общего. Нации, как и люди, вырабатывают представление о себе.

Для наций — это тоже шекспировский вопрос: “Быть или не быть?” Ибо идентичность предполагает уникальность, а уникальность, в свою очередь, предполагает самоуважение, достоинство, то есть право на самоуважение. Если мы теряем уважение других, это равносильно социальной смерти, если не уважаем себя — это духовная смерть.

Совершенно естественно, что часть нашей личной идентичности вырабатывается через самоидентификацию с группой. Это хорошо видно во время мировых чемпионатов или Олимпийских игр, когда победа или поражение национальной команды моментально наполняют сердца миллионов людей радостью или горем. То есть сам факт принадлежности к сообществу позволяет в этот момент компенсировать то, чего нам не хватает. Как отдельное лицо я слаб, но как член группы я силен.

Однако, если идентификация оказывается абсолютной, то это уже ненормально, это становится патологией. Подобное отождествление неизбежно лишает нас права, прежде всего, на критику.

На мой взгляд, здесь и проходит демаркационная линия между разумным патриотизмом и национализмом. Патриотизм, как правило, пробуждает в нас лучшие чувства: сострадание, солидарность, сочувствие. Национализм же или шовинизм апеллирует к низменным инстинктам, таким, как ксенофобия и обожествление силы. Карл Поппер однажды сказал, что национализм — это “смесь злобности и глупости. Всякий националист — трус. И ему, как трусу, нужна всегда

поддержка толпы. Он боится остаться один. И он дурак, потому что верит, что он и ему подобные выше, чем другие”.

Я бы сказал, что патриотизм — это такое отношение к стране, которое позволяет совмещать любовь к ней с любовью к свободе и другим уникальным человеческим ценностям.

Патриот — это верный сын своей страны. Но при этом он еще и верный гражданин мира, *космополит*, все национальные культуры вносят свой вклад в мировую культуру и испытывают ее влияние. Есть проверенное средство против соблазна национализма. Время от времени нужно пытаться посмотреть на себя глазами соседей. Тогда мы сможем выработать более реалистичное представление о себе.

“Никогда не делай другим то, что ты не хочешь, чтобы сделали тебе”. Это золотое правило Библии адресовано не только отдельному человеку, но и сообществам.

А теперь перейду ко второму тезису, согласно которому мы постоянно сталкиваемся с выбором между героическим и повседневным, гражданским представлением о нашей идентичности.

В своей книге “Вымышленные сообщества” Бенедикт Андерсон задает, на первый взгляд, странный вопрос: во всем мире есть могилы неизвестных солдат, но нет ни одной могилы неизвестного марксиста или неизвестного либерала. Почему? И Андерсон отвечает: марксизм и либерализм как философии не дают ответа на великий вопрос о смерти и бессмертии. За последние двести пятьдесят лет миллионы простых людей — не героев, а именно простых людей — более или менее добровольно жертвовали собой во имя своей нации.

Мне кажется, что патриотизм способен довести готовность к самопожертвованию до сознательного мученичества — подобно религии. Во всяком случае, он может овладеть всеми нашими мыслями и чувствами, на что не способна ни одна абстрактная философия. Лишь этот бесспорный факт объясняет появление героизированных концепций собственной идентичности. Сторонники героического взгляда на историю часто употребляют такие слова, как “судьба”, “историческая миссия”, “плоть и кровь”, “почва”, “душа”. То есть нации воспринимаются как живые организмы, которые рождаются где-то там, в мифическом прошлом. Они растут, растут и наконец достигают зрелости. Это их как бы естественная судьба, и они вынуждены при этом бросать вызов другим нациям в титанической борьбе на исторической сцене. В такой борьбе не вы-

вают, естественно, к мешанской морали: сила выше любых правил. Поскольку люди стремятся к тому же ответить на вопрос о смысле истории. Хотя ответ чаще всего бывает детерминистским и коллективистским. Все теории этноса, нации, классов, расы всегда вызывают почему-то к некоему всемирному духу, а их сторонники претендуют на роль либо носителей этого духа, либо выразителей его воли. Так что мы сталкиваемся в результате с очень странной комбинацией идеализма, биологического материализма и геополитических мифологий. Соотношение их каждый раз бывает неожиданным — в зависимости от задаваемой формулы, однако принадлежность к неким общим корням здесь очевидна. Например, в России сторонники евразийства в свое время говорили о принадлежности ее к Евразии, следуя в этом за немецкими авторами, для которых поражение Германии в первой мировой войне было событием явно из сферы несовершенной реальности, а то, что они называли при этом высшей реальностью, в соответствии с которой “бессмертная Германия” должна была править миром, оставалось незамеченным.

Не хочу сейчас вдаваться в эту теорию, скажу лишь, что моральные следствия из такой позиции совершенно неприемлемы. Когда превозносят роль нации и придают ей почти религиозный смысл, то неизбежно отделяют ее от государства и других цивилизующих институтов. Национальные стремления и амбиции уже не сдерживаются морально-юридическими и институциональными рамками, что и ведет к катастрофе, так как неудовлетворенные политические амбиции порождают фрустрацию, а фрустрация — это война.

Напомню, что писал по этому поводу Вальтер Беньямин: “Насколько было видно глазу, вдоль траншей вся земля стала территорией германского идеализма как такового. Каждая воронка от снаряда являла собой философскую проблему, каждое проволочное заграждение несло с собой подобие определения автономии, и каждый “еж” превратился в аксиому”.

Обратимся, однако, к тому, что я называю гражданским взглядом на идентичность, который основывается на недетерминистской концепции истории. Карл Поппер — я позволю себе еще раз его процитировать — во втором томе своего труда “Открытое общество и его враги” говорит: “Жизнь забытых, неизвестных людей, их горести и их радости, их страдания и смерть — это и есть истинное содержание человеческого опыта, который мы черпаем из прошлого”.

Именно из такого взгляда на историю я вывожу свой третий тезис: национальная идентичность — не есть нечто постоянное, она меняется со временем.

И с ним же связан четвертый тезис: всякая нация есть порождение человеческого духа.

Нации возникают в результате исторического процесса, который продолжается. Переход от империй и колониальных режимов к современным национальным государствам наглядно показал, что можно, по крайней мере, определить время их появления. Нации помнят историю своего освобождения, гражданских войн, завоеваний, искусственных делений и так далее, и сегодня никто не знает наверняка, придут ли еще через двести пятьдесят лет на смену им другие формы цивилизации и будет ли переход к этим новым формам более мирным, чем к национальным государствам.

При таком недетерминистском взгляде, я думаю, мы оказываемся более близкими к индивидуалистическому подходу. Детерминизм означает фатализм, а фатализм — это своего рода объяснение и оправдание личного бездействия, когда ответственность передается куда-то вовне. Между тем историю делают люди, а не какие-то “объективные законы истории”. Я не думаю, что демократию можно построить исходя из фатализма. Демократия — это отсутствие попыток найти виноватых на стороне. Пусть я несколько преувеличиваю, но, на мой взгляд, в этом суть демократии. Фатализм есть продукт очень узкого взгляда на историю, когда она воспринимается как нечто само собой разумеющееся.

Под словом “история” при этом имеются в виду скорее надуманно героические страницы прошлой мощи, а если говорить точнее — только страницы войн и массовых убийств. Реальная же история человечества должна была бы быть историей каждого из живших людей. Но такую историю написать, безусловно, трудно. Приходится делать обобщения, что-то всякий раз опускать, отбирать, и в результате основой общепризнанной истории становится всегда силовая политика, потому что те, кто обладает властью, хотят, чтобы потомки помнили их.

Однако история — это не только история войн.

В первую очередь, как я сказал, речь идет о гражданской истории, об истории нашей повседневной жизни: развитии экономики, философских идей, моральных устоев, религии, права, искусства. Ведь если мы понимаем, что люди неизбеж-

но вступают в какие-то отношения между собой, то не можем не признать, что нация и есть результат их совместной деятельности, мышления, чувств и так далее.

И здесь я хочу перейти к моему пятому тезису: кто из нас несет ответственность за идентичность нации, к которой он принадлежит. Это выходит за рамки нашей интуиции, поскольку наше сердце говорит нам, что нация — это то, к чему мы принадлежим естественным образом. Нацию не выбирают, ее не формируют. Не случайно во многих языках появился термин “Родина-мать”, “Отечество”... Нация — это родительский дом.

Такой корень — “отец”, “мать”, — который присутствует в немецких словах, хорошо описывает отношения индивидуума с его нацией. Язык действительно привязывает людей друг к другу, хотя одновременно — это та дверь, которая закрыта для иностранцев. “Материнский язык”... я не знаю, есть ли подобное выражение в русском языке, — что тоже не выбирают, это передается по наследству. Но при этом следует помнить, что кровь, душа, язык еще не составляют нации. Война в бывшей Югославии, как вы знаете, произошла между славянскими народами, которые этнически очень близки друг другу, живут в одном и том же регионе, говорят более или менее на одном и том же языке. Что же их разделило? Конфессиональная принадлежность? То, что одни из них православные, а другие мусульмане? Или, может быть, это все-таки конфликт этнической коллективной памяти?

На одном из наших семинаров мы говорили о швейцарском опыте и видели, как разные лингвистические сообщества, разделенные по национальному признаку, смогли создать крепкую надежную нацию.

Итак, если речь идет не о крови, не о душе, не о языке — где же тот клей или цемент, который скрепляет людей в единую нацию? Можно было бы сказать, что швейцарская нация есть результат общей политической воли. Но тогда я задам вам вопрос: а откуда взялась эта политическая воля? Где ее корни? Действительно ли они уходят в совместный исторический опыт?

Очевидно, нации живут не на небесах и даже не на земле — они живут в сознании людей. Согласно известному определению Бенедикта Андерсона, нации являются “воображаемыми сообществами”. Но, разумеется, это не означает, что нация сугубо искусственная конструкция. Андерсон писал, что на-

ция есть спонтанное порождение человеческого духа. Почему? Потому что члены даже самой маленькой нации никогда не знают лично друг друга, не встречаются между собой, не разговаривают. И тем не менее в сознании каждого существует ее образ.

Нации настолько же условны, насколько и органичны, так как любые из них, включая самые крупные, имеют свои границы, за которыми находятся уже “другие нации”.

В сознании людей нация — всегда единое сообщество. Независимо от существующего в ней неравенства мы всегда воспринимаем ее на уровне горизонтальных товарищеских связей. Но при этом она выступает и как сообщество *политическое*. Мы не воспринимаем ее как ассоциацию только частных лиц, которые добровольно объединились и также добровольно могут разойтись; напротив, она проявляет себя через систему общественных институтов, созданных для службы обществу — какое бы значение мы ни вкладывали в это выражение.

И наконец, нация видится как независимая единица, поскольку ее концепция, которой я здесь пользуюсь, родилась в эпоху Просвещения и Революции, поставивших под вопрос законность прежнего иерархического династического правления. С тех пор нации мечтают быть свободными, и символ этой свободы — суверенное государство.

Обязательное условие формирования у любого общества представления о себе — преемственность сознания. Культ предков в древние времена и воинские кладбища в наши дни продолжают напоминать нам, что все мы связаны общими корнями и общим прошлым. Люди умирают, но общая земля, в которой они похоронены, — вечна. Лишь поэтому нация олицетворяет собой общую историю, общее горе и общую радость. Как сообщество сердец и умов, она черпает свою преемственность из общей памяти. “Добрые люди будут рассказывать эту историю своим сыновьям”, — читаем мы в пьесе Шекспира “Генрих V”.

Перехожу к шестому тезису: общая оценка прошлого — центральный элемент национальной идентичности. Коллективная память может быть достоверной, то есть соответствовать или не соответствовать фактам, но в любом случае — это мощнейший фактор. Диктаторы всего мира знают, что контроль над памятью народа означает контроль над народом вообще. Вспомним хотя бы роман Дж. Оруэлла “1984”. Чело-

века можно без труда сделать “нечеловеком”, потому что забытый человек — социальный труп. “Борьба человека с властью есть борьба памяти с беспамятством”, — писал в 1979 году Милан Кундера.

Конечно, искажение в памяти прошлого далеко не всегда сознательная ложь. Иногда именно ошибки помогают нам сориентироваться в окружающем мире. То есть я хочу сказать, что хотя бы теоретически всегда можно выяснить правду о том, как развивались события на самом деле; во всяком случае, это должно быть нашей задачей. Но одновременно надо отдавать себе отчет в том, что так называемые исторические факты зачастую не более чем вольная интерпретация исторических событий и исторического развития, и многие истории, которые “добрые люди рассказывают своим сыновьям”, — не более чем легенда или миф, передаваемый из поколения в поколение и только поэту воспринимаемый как нечто само собой разумеющееся. С учетом ограниченных возможностей человеческой памяти никто не может предъявлять права на монопольную интерпретацию прошлого. Так же, как никто не может быть лишен права внести в нее свой вклад. Двести лет назад Шиллер и Гёте опубликовали короткое стихотворение о примате человеческих ценностей над национальными. Передаю его суть: “Напрасно вы надеетесь, немцы, создать единый народ, вместо того, чтобы стать свободными людьми”. А вот что писала по этому поводу примерно в то же время мадам де Сталь: “Только политические институты могут сформировать характер народа. К сожалению, сегодня налицо резкий контраст между тем, как Германия управляется, с одной стороны, и философской просвещенностью немцев — с другой. Поэтому они (немцы) сочетают в себе способность к величайшему полету мысли с самым послушным поведением”. Я думаю, что эти строки хотя бы отчасти объясняют, почему немцам потребовалось так много времени, чтобы сформироваться как современная нация.

Определение национальной идентичности — процесс глубоко демократический по своей сути. Перефразируя знаменитое утверждение Эрнеста Ренана, можно сказать, что это ежедневное осмысление вопросов прошлого, настоящего и будущего. Навязав населению какой-то взгляд на прошлое, его еще нельзя превратить тем самым в нацию или в то, что мы назвали “воображаемым сообществом”, если общество,

люди сами сознательно и свободно не признали этот взгляд и не выработали другой, альтернативной интерпретации.

Война в бывшей Югославии — это, несомненно, результат конфликта исторической памяти разных этносов, которые так и не восприняли идею общей для них истории, а значит, не выработали и национальной идентичности. Именно в этом контексте я хотел бы вернуться к проблеме, поставленной Юрием Сенокосовым. Как можно сформировать стабильную национальную идентичность на базе различных взглядов на прошлое, которые продолжают существовать после падения диктатуры?

Я предположил бы такой ответ — и это будет седьмой тезис моего выступления: совместная интерпретация прошлого эпохи диктатуры должна включать в себя память как о жертвах, так и о палачах. Но как забыть о них? Учитывая, что не может быть гармоничных отношений между людьми или нациями, если сохраняется вечная дихотомия: жертва — палач. Простым решением проблемы могло бы, естественно, стать прощение. У немцев есть поговорка — “Прости и забудь”, что предполагает в том числе и готовность враждующих сторон обсуждать общую проблему. Но если оправдываются при этом прошлые ошибки, у людей может сложиться впечатление, что порядочность уже не в цене. Я не буду останавливаться на том, в какой форме можно предложить удовлетворение жертвам в рамках уголовного и гражданского кодексов, скажу лишь, что в долгосрочной перспективе максимальное удовлетворение им могло бы принести общественное движение в защиту памяти, против забвения. Короче говоря, я за свободный доступ граждан к личным делам заключенных, считавшихся ранее секретными, и реабилитацию жертв. Но при этом недопустимо преждевременное оправдание палачей.

Главная проблема здесь, конечно же, заключается в том, что палачи не хотят, чтобы старые дела тревожили их покой, в то время как жертвы, естественно, настаивают на своем законном праве рассказать правду. Думаю, палачам — а также тем, кто не был ни палачом, ни жертвой — важно выслушать и прочувствовать, что вынесли жертвы. И уж, конечно, палачам непозволительно обвинять жертвы в выносе сора из избы, ибо что хуже — сорить и не давать это вынести, или указать на сор и вычистить избу?

Духовное здоровье как индивидов, так и групп предполагает принятие собственного “я” на основании реалистичной

самооценки. Реальное представление о себе означает признание в себе света и тени, добра и зла, побед и неудач, оснований для гордости и оснований для стыда. Лишь так в каждом из нас существует раздельная память. И то же самое можно сказать о коллективной памяти наций. Добро и страдание — понятия индивидуальные, но люди несут коллективную ответственность за историю своей нации. И в конце концов с этой национальной историей вынуждены жить даже те, кто невиновен. Но я хочу подчеркнуть, что невиновые примут на себя бремя общей ответственности, если главные палачи будут наказаны, а палачам более мелкого пошиба будет запрещено уверять, что разницы между виновными и невиновыми практически нет.

Сознательно ставя себя на место жертв и палачей, пытаюсь примерить прошлое, исполненное внутреннего конфликта, на себя, невиновые смотрят в зеркало истории и видят в нем лики Добра и Зла, они видят два возможных пути, которые даны каждому из нас.

Французский мыслитель Эрнест Ренан, которому мы обязаны глубочайшим проникновением в концепцию нации, писал, что еще до возникновения французской культуры — а здесь с таким же успехом можно было бы говорить и о немецкой или русской культуре — существовала *человеческая культура*. Поэтому я заключаю, и это мой последний тезис: национальная идентичность есть не более чем составная часть общечеловеческой идентичности, которая присуща нам всем.

Май 1996

Генрих Гейне в своей удивительной поэме “Германия. Зимняя сказка” (1844) иронизирует над склонностью немцев искать свою национальную идентичность в заоблачных высях абстракции.

*Французам и русским досталась земля,
Британец владеет морем.
А мы — воздушным царством грез.
Там наш престиж бесспорен.*

*Там гегемония нашей страны,
Единство немецкой стихии.
Как жалко ползают по земле
Все нации другие!*

У немцев что-то осталось от этого симпатичного, но вместе с тем и опасного стремления к “воздушному царству грез”. Сегодня оно проявляется в длительных дебатах о “внутреннем единстве”, которое должно стать кульминацией государственного единства, восстановленного в 1990 году. Но и этот образ мыслей был осмеян автором “Зимней сказки” — с основанием. На границе между Францией и Германией его багаж был подвергнут тщательному досмотру недоверчивыми чиновниками прусской таможенной службы. А в это время его попутчик наставительно объяснял, в чем необходимость такой процедуры:

*Таможенный союз — залог
Национальной жизни.
Он цельность и единство даст
Разрозненной отчизне.*

*Нас внешним единством свяжет он,
Как говорят, матерьяльным.
Цензура единством наш дух облечет
Поистине идеальным.*

*Мы станем отныне едины душой,
Едины мыслью и телом,
Германии нужно единство теперь,
И в частностях, и в целом!*

Как достичь “внутреннего единства” Германии в начале XXI века, спустя сорок с лишним лет раздельного существования? Я старался показать, вновь возвращаясь к проблеме идентичности (на этот раз в форме статьи, а не доклада), что “внутреннее единство” не есть абсолютная ценность, не цель, которой нужно добиваться любой ценой. Пестрый орнамент из локальных и региональных различий лучше всего соответствует немецкой федералистской традиции. Единство — хорошая вещь, но единообразие было бы кошмаром.

Историческое сознание и национальная идентичность

Начну с признания: размышления по поводу “национальной идентичности” всегда вызывают у меня головную боль. Вероятно, вопрос об идентичности относится к феноменам кризиса: он возникает тогда, когда коллектив или индивидуум теряет ориентацию и тяжело переживает чувство глубокой неуверенности или даже потерянности.

Внутренне спокойные, уравновешенные люди не будут всё время изводить себя вопросом: “Кто я?” У них есть реалистичное представление о себе, в котором любовь к себе и самокритика гармонируют друг с другом. Они знают свои отрицательные стороны и недостатки — и, тем не менее, в состоянии самоутверждаться. Раскаяние воспринимается ими не как осознание слабости, а как проявление внутренней силы. Они способны преследовать личные интересы, не задевая при этом интересов окружающих, — и потому живут в согласии с самими собой и внешним миром.

Тот, кто сам с собой не в ладу, становится проблемой для близких. Это равным образом относится к коллективам — и, соответственно, к нациям.

В XIX и XX столетиях вопрос о национальной идентичности был особым наваждением немцев. Фридрих Ницше писал в 1886 году, что немцы “являются по натуре более непостижимыми, более широкими, более противоречивыми, менее известными, труднее поддающимися оценке, более поражающими, даже более ужасными, нежели другие народы в своих собственных глазах, — они ускользают от *определения* и уже

одним этим приводят в отчаяние французов. Характеристичен для немцев тот факт, что их вечно занимает вопрос: что такое немецкое?”.

А еще лучше это выразил наш современник Тимоти Гартон Аш: “В течение прошедших сорока — иные скажут: в течение прошедших двухсот — лет вопрос о немецкой идентичности давал повод таким пространным, глубокомысленным и витиеватым рассуждениям, которые никакой другой вопрос в истории человечества не вызывал”.

Причина этого лежит, безусловно, в драматичных поворотах немецкой истории, но и, пожалуй, просто в том, что коллективная, как и индивидуальная, идентичность принципиально не поддается точному определению.

Во-первых, она находится в напряженном движении между полюсом “непрерывности” и полюсом “изменения”. Мы знаем старую загадку: как это возможно, что я в течение своего существования становлюсь другим и все-таки остаюсь прежним? Это относится и к человеческим общностям. Что, например, дает нам основание считать, что немецкий народ образца 1806 или 1871 годов идентичен народу образца 1945 или 1999 годов?

Идентичность невозможно зафиксировать раз и навсегда. С одной стороны, она означает непрерывность, с другой — подвержена постоянным изменениям. Если мы предположим, что она подчиняется тому, что мы называем “коллективным сознанием”, то ее изменчивость очевидна.

Во-вторых, идентичность находится в таком же напряженном движении между “внутренним” и “внешним”. Она зависит не только от того, как мы видим себя, но и от того, как нас видят другие, или, точнее, как бы мы хотели выглядеть в глазах других. И здесь имеются параллели между индивидуальным и коллективным уровнями, когда предрассудки относительно других легко превращаются в “самоисполняющиеся пророчества” (*self-fulfilling prophecies*), так как мысленно мы всегда делаем и переделываем живущих с нами рядом людей по тому образу, который сами же и создаем. Этот опыт мастерски проработал швейцарский писатель Макс Фриш в своем романе “Андорра” (1961). Ему принадлежит высказывание, что все мы “тайным и неминуемым образом ответственные” за то, какое лицо нам показывает другой человек. Навязывая другим свои представления, мы отказываем им “в праве на непосредственность”.

В-третьих: поиски национальной идентичности легко сводятся к поискам неизменного характера, объективной “сущности” народа. Но если национальная идентичность действительно подлечит историческим изменениям, то существование чего-то, подобного “вечной Германии” или “вечной России”, невозможно. Тогда мы должны расстаться с детерминистским образом мыслей, который интерпретирует успех или крах наций как неизбежное следствие исторических закономерностей и, соответственно, отрицает идею личной и коллективной ответственности за собственную судьбу.

Этот образ мыслей преподносит золотые и черные легенды, но отнюдь не трезвое рассмотрение истории. Немцы на протяжении прошедших двухсот лет имели дело с разнообразными именно такими историческими мифов.

Золотая легенда XIX — начала XX веков усматривала прямую наследственную связь между Германном Херускером (первым “немецким” героем, который в IX веке одержал победу над франками в Тевтобургском лесу), Карлом Великим (завоевавшим в 800 году римскую императорскую корону), реформатором Мартином Лютером, Фридрихом Великим и Марией-Терезией (при которых разобшенность немецких родов достигла высшей точки), вплоть до Бисмарка, “железного канцлера”, создавшего новую империю немцев, ставшую непосредственной преемницей Священной Римской империи немецкой нации.

Тогда как *черная легенда* по завершении национал-социалистской диктатуры и второй мировой войны видела в немецкой истории скорее прямую дорогу в пропасть, поскольку считалось, что Германия еще в начале Нового времени сбилась с колеи западноевропейского развития, когда обскурантизм торжествовал над просвещением, ксенофобия над космополитизмом, дух верноподданничества над любовью к свободе, авторитарное государство над демократией. Этот “особый немецкий путь” ведет якобы свое начало от Мартина Лютера через романтизм (интерпретированный как отход от Просвещения), империю Бисмарка, созданную под прусско-авторитарным (а не гражданско-либеральным) началом, непосредственно к Гитлеру.

Обе эти легенды явно непригодны для адекватного описания пути Германии после 1945 года от раздела к единству. Такой детерминизм абсолютно не допускает анализа немецкой истории в смысле как позитивных ее возможностей

(с точки зрения сохранения традиций), так и негативных (отказа от них).

И наконец, *четвертое* возражение против некритического использования понятия “национальной идентичности” связано, прежде всего, с современностью. В мире плюрализма идентичность не может определяться однозначно.

Национальная идентичность — это амальгама, состоящая из различных элементов, удельный вес которых от страны к стране может сильно меняться. Это общие симпатии и антипатии, общие воспоминания и надежды, идеи и интересы, желания и планы.

Индивидуальная идентичность формируется на основе многих взаимопроникающих отношений. Принадлежность к определенной нации, хотя и имеет для большинства людей огромное значение, отнюдь не единственная точка соприкосновения с идентичностью. Семейная, религиозная принадлежность, круг друзей и место рождения также играют при этом существенную роль.

Определение нации у Эрнеста Ренана

После всего сказанного я предлагаю по возможности экономнее использовать понятие “национальная идентичность” и говорить скорее о “мы-сознании” (Wir-Bewusstsein) или о “внутренней сплоченности” нации. Какую же роль в этом играет историческое сознание, коллективная память общества?

По моему убеждению, до сих пор лучшим ответом на этот вопрос являются высказывания французского историка религии Эрнеста Ренана, прозвучавшие во время его знаменитого доклада в парижской Сорбонне в 1882 году¹.

Ренан сначала полемизирует с теориями, пытающимися определить сущность нации вне государственных рамок.

- Первое — *этнический* принцип. В то время Ренан мог без лишних опасений говорить о расе. Его возражение: этот критерий вряд ли оправдан, поскольку все современные нации возникли в результате смешения различных этнических групп.

- Ну, а мнение, что нация — это *языковая общность*? И эта дефиниция неудовлетворительна. Она, к примеру, не объяс-

¹ Приводимые цитаты взяты из статьи, опубликованной в газете “Frankfurter Allgemeine Zeitung” (субботнее приложение от 27 марта 1993 года).

няет внутреннюю сплоченность Швейцарии, формирование австрийского и немецкого национального самосознания или причину отделения Северной Америки от Англии и Латинской Америки от иберийских государств.

- *Религия* также не годится в качестве основы национальной самоидентификации, так как многие современные нации конфессионально расколоты.

- Может быть, это *общие интересы*? Ответ Ренана: “Таможенный союз не бывает Отчизной”.

- Ну, а как с *географией*? Это существенный фактор истории, но теория, утверждающая, что реки и горы образуют “естественные границы” для жизненного пространства нации, открывает двери произволу. История учит, что места обитания народов постоянно менялись.

Каждый из этих элементов — прежде всего общий язык и, конечно, *культура* — вполне могут играть выдающуюся роль в самовосприятии наций, но в качестве критерия самоидентификации нации этого недостаточно. И затем Ренан делает свое знаменитое заключение, которое я хотел бы процитировать:

“Нация — душа, духовный принцип. Две вещи составляют эту душу, этот духовный принцип. Одна из них принадлежит прошлому, другая настоящему. Первое — это совместное владение богатым наследием воспоминаний, второе — настоящее согласие, желание жить вместе.

Нация, таким образом, это большая солидарная общность, поддерживаемая идеей уже совершенных жертв и тех, которые люди готовы принести в будущем. Условием ее существования является прошлое, но определяется она в настоящем в конкретном факте — ясно провозглашенном желании продолжать совместную жизнь”.

И далее следует часто цитируемое выражение: “Бытие нации — это ежедневный плебисцит”.

Исторические образы и политическая память

Память нации — нечто иное, чем сумма личных переживаний всех тех, кто к ней принадлежит. Она включает в себя существующие в массовом сознании исторические образы “первоначальных мифов, ставящих настоящее и будущее перед судом прошлого... Глобальные исторические события могут внести изменения в первоначальные мифы. Чем гло-

бальнее событие, тем основательнее изменение мифа. Но даже новый миф ищет легитимации у истории, так как и революционным взрывам требуется исторические освящение”².

Коллективная память находит свое выражение в юбилеях и чествованиях, памятниках и учебных планах. Ритуализованная форма воспоминания, заставляя играть эмоции, усиливает “мы-чувство” (*Wir-Gefühl*). В лучшем случае коллективная память пробуждает творческие возможности нации; в худшем — она дает волю чудовишному потенциалу деструктивных сил. Первоначальные мифы — это вовсе не те безобидные истории, которые по вечерам у камина бабушка рассказывает своим внукам.

Недавний конфликт между сербами и албанцами вокруг Косово является экстремальным и потому особенно наглядным примером проявления власти общественных исторических образов. Одновременно это пример того, как жертвенные мифы становятся опаснее героических мифов. Нации, которые всегда видят себя только в качестве невинных жертв злых держав, склоняются, видимо, к тому, чтобы оправдать перед самими собой и миром собственную агрессию как акт самообороны или восстановления исконных прав.

В Косове столкнулись интересы двух народов, с незапамятных времен проживавших в ситуации переменного господства. Реальной гражданской войне предшествовала ментальная “война воспоминаний”, уходящая в прошлое вплоть до 1389 года (битва на Косовом поле) и дальше. Любые попытки остановить этот конфликт при помощи, казалось бы, рациональных доводов в пользу тех или иных исконных “прав” относительно спорной территории были и остаются бессмысленными. Прошлое можно преодолеть только совместным волевым решением всех конфликтующих сторон мирно сосуществовать в настоящем и будущем. Это легко сказать и трудно сделать.

Здесь я хотел бы сразу предупредить об ошибочном представлении, что коллективную память можно произвольно наполнить любым содержанием. Мы в последнее время привыкли слишком непринужденно говорить об исторических

² *Dieter Langewiesche*. *Deutsche Republiken 1848—1998. Vom Wert historischer Erfahrungen in einer Zusammenbruchsgesellschaft*. — “Thüringer Ministerien für Bundesgelegenheiten in der Staatskanzlei” (изд.), “Bestandaufnahme 1848–1998. Ein historisch orientierter Blick nach vorn”. Erfurt/Weimar, 1998. S. 12.

“рассказах”, “исторических образах” и “первоначальных мифах”, но не об исторических фактах. Против этого можно не возражать, если мы отказываемся тем самым от каких-либо претензий на непогрешимость, и учитывая, что многое из того, что в позитивистской наивности мы принимаем за исторические факты, в действительности оказывается лишь интерпретацией. Однако отсюда не следует, что мы можем оставить поиски истины и предаться раскованному субъективизму. Напротив, мы должны быть готовы снова и снова проверять наши интерпретации в свете исторических фактов.

Независимо от этого возникает закономерный вопрос, в каких примерах нуждается общество, чем оно хочет гордиться. И здесь вполне возможно, что большинство идентифицирует себя с поступками и перенимает традиции, изначально свойственные лишь меньшинству.

Приведу в качестве примера из немецкой истории День Памяти Сопротивления национал-социалистской диктатуре (20 июля 1944 года), ставший датой особой символической силы. В 50-х годах этот день совершенно не был популярным, так как вызывал угрызения совести у большинства, у тех, которые молчали из страха, приспособлялись или торжествовали с Гитлером. Немало людей считали борцов Сопротивления предателями. Между тем сегодня 20 июля — это символ основных ценностей, на которых покоится наш конституционный порядок.

Недавно нечто похожее мы пережили с теми, кто в качестве правозащитников противопоставлял себя коммунистическому режиму в ГДР — организаторами больших демонстраций в Лейпциге, Ростоке и других местах десять лет назад. В настоящее время они не очень популярны среди восточных немцев, но я уверен, что недалек тот день, когда их тоже будут считать героями, внесшими в немецкую историю нечто уникальное и ценное.

В связи с этим процитирую выдержки из недавнего интервью с Йоахимом Гауком, начальником архива восточно-немецкой службы госбезопасности.

Неумение ценить значение свободы является слабым местом нашего национального самосознания. Это находит выражение в вульгарных разговорах про политику, в которых осмеиваются потерпевшие поражение герои свободы XIX века. Именно поэтому нам необходимо осознать, что про-

изошло в 1989 году: тогда немецкие подданные, которых в течение трех поколений ничему другому, как склонять голову, не учили, ощутили такое сильное стремление к свободе, что начали революцию. Это подарок, преподнесенный нации от нас, восточных немцев. Мы сами всё еще в растерянности, что смогли совершить нечто подобное. Можно считать историческим чудом то, что при всем нашем страхе и готовности приспособливаться наши стремления претворились в политические программы, которые затем фактически привели к демократии³.

Демократическая историческая политика

Как же возникают исторические образы, кто их выбирает? Отчасти это вопрос власти: “Кто распоряжается памятью сообщества, тот распоряжается и его политическим самовосприятием, его ценностями и нормами, перспективами на будущее и политической программой действий”. То, что в каждом случае вспоминается и забывается, зависит прежде всего от того, “способно ли оно преодолеть “цензурный барьер” воспоминаний”, и если да, то в какой степени⁴. Это определяет поле деятельности так называемой исторической политики.

Что такое историческая политика? Вначале дам негативное определение.

Ее следует отличать от “политики прошлого”, когда приходится, например, иметь дело с тем, что оставила после себя тоталитарная система — наказанием криминальных сотрудников старого режима, реабилитацией и возмещением ущерба жертвам, рассекречиванием документов из спецхрана и так далее.

Второе: она не может и не хочет ничего менять в исторических фактах.

Третье: ни одно правительство не имеет права навязывать гражданам какую-либо свою интерпретацию национальной истории.

³ См.: *Der Untertan wird zum Bürger*. — “Rheinischer Merkur” от 1 октября 1999 года. С. 3–4.

⁴ *Herfried Münkler*. *Das kollektive Gedächtnis der DDR*. — *Dieter Vorsteher* (изд.). *Parteiauftrag: Ein neues Deutschland. Bilder, Rituale und Symbole der frühen DDR*. Berlin, 1966. S. 458.

При демократии историческая политика является существенной частью общественного дискурса. Поэтому к задачам демократического государства относится создание институциональных рамочных условий, в которых было бы возможно проведение открытых дискуссий об исторических образах и далее об основных вопросах национальной идентичности. В Германии есть тому два хороших примера — Дом истории в Бонне (“Haus der Geschichte”) с филиалом в Лейпциге и Немецкий исторический музей в Берлине (“Deutsches Historisches Museum”). Оба учреждения служат доказательством того, что государство в состоянии что-то сделать для исторического сознания широкой общественности, не нарушая плюрализма конкурирующих мнений.

Расколота память и внутреннее единство

В начале статьи я уже упоминал о том, что сложная немецкая история прошедших двухсот лет превращает поиски национальной идентичности в трудоемкое мероприятие. Государственное разделение в течение почти сорока одного года — с 7 октября 1949-го до 3 октября 1990-го — глубоко внедрилось в сознание восточных и западных немцев.

В течение нескольких десятилетий раздельного существования, по крайней мере со времен Брандта — Шела, в западной Германии была в ходу формула: “два государства — одна нация”. Эта формула поддерживала противоречивое, на первый взгляд, мнение, что единое гражданство вопреки разделению существует. Единое гражданство стало в свою очередь сильным связующим элементом для всех немцев по ту и эту сторону Стены. Его практическое значение особенно отчетливо проявилось летом и осенью 1989 года, когда всё большее число граждан ГДР искали и находили прибежища в различных посольствах ФРГ.

С 1990 года границы немецкой нации и немецкого государства совпадают. Утверждения “я — немец” и “я — гражданин Федеративной Республики Германия” означают сейчас одно и то же. Однако теперь наше состояние лучше всего описать формулой: “одна нация, два общества”.

В Германии, более чем где-либо, интерпретация прошлого всегда была и остается релевантной с точки зрения легитимности и нелегитимности политических группировок совре-

менности. Делегитимация правых радикалов путем сопоставления с преступлениями национал-социализма действует по-прежнему вполне эффективно. Но при этом ПДС смогла в целом успешно, по крайней мере в восточной Германии, отразить все предпринятые до сих пор попытки непризнания ее в качестве преемницы СЕПГ. Опросы общественного мнения показывают, что в восточных землях только меньшая часть населения, при большинстве на западе, считает бывшую ГДР неправовым государством.

В Германии после второй мировой войны началась неустанная и часто доходившая до ожесточения историко-политическая борьба за “душу” нации. ФРГ и ГДР боролись в те годы за более возвышенную интерпретацию в свете исторического наследия немцев.

- *ГДР* для поддержки мифа о своем происхождении апеллировала к “антифашистскому Сопротивлению”, традиции которого использовала сначала СЕПГ, а затем и подчиненное ей государство. О своих общегерманских претензиях она прямо заявляла на правах наследницы “прогрессивных” элементов прусских традиций. Но при этом режим СЕПГ видел себя освобожденным и от обязанностей возмещения ущерба жертвам Холокоста.

- В свою очередь, центральное место в историческом образе *ФРГ* занял — наряду с денежной реформой и экономическим чудом — отказ от “особого пути”, который, согласно распространенному мнению, однажды уже увел Германию в сторону от западных демократий. ФРГ после подтверждения Федеральным Конституционным судом государственной правопреемственности стала рассматривать себя не только наследником, но и продолжением германской империи. Под этим понималась и официально выраженная готовность взять на себя историческую ответственность — в первую очередь за истребление шести миллионов европейских евреев.

Дискуссии вокруг национальных дней памяти в Германии послевоенного времени представляют наглядные примеры этой историко-политической борьбы:

- На западе быстро отказались от замыслов установить день памяти 8 мая, так как ГДР инсценировала его в виде “дня освобождения” с выпадом против ФРГ, в которой согласно коммунистическому прочтению фашизм выжил.

- Таким образом, в качестве “национального дня памяти немецкого народа” на западе провозгласили 7 сентября, ког-

да в 1949 году были сформированы Бундестаг и Бундесрат. Однако эта дата не могла утвердиться, поскольку в ней — как критически заметил наш первый президент Теодор Хейс — отсутствовал “драматический исторический акцент”⁵.

- Совсем иначе обстояло дело с 17 июня — годовщиной неудавшегося народного восстания в 1953 году в ГДР, которую на западе до 1990 года отмечали как “день немецкого единства”. Эта дата тоже показательна с точки зрения историко-политических разногласий внутри прежней ФРГ: именно критики западно-интеграционной политики Конрада Аденауэра утвердили 17 июня в качестве государственного дня памяти. Так как они были уверены, что “сталинские ноты” марта и апреля 1952 года какое-то время еще давали шанс для восстановления немецкого национального государства (конечно, нейтралистского толка) — и этот шанс был (якобы) упущен Конрадом Аденауэром⁶.

- С течением времени 17 июня трансформировалось — если можно так выразиться — из “левого” скорее в “правый” день памяти. Исходя из нового понимания патриотизма, когда на смену общегерманскому “национальному патриотизму” пришел федерально-республиканский “конституционный патриотизм”. Но в то же время намерение 1974 года перенести праздник с 17 июня на 3 мая — годовщину утверждения Основного закона от 1949 года — закончилось неудачей⁷.

- 3 октября, которое мы сейчас празднуем как “день немецкого единства”, представляет собой юридическую дату. В этот день в 1990 году ГДР официально вошла в состав ФРГ. Но и здесь, можно еще раз повторить Теодора Хейса, не хватает “драматического исторического акцента”. Хотя с этим днем и связаны богатые воспоминания будоражащей осени 1989 года.

- 9 ноября 1989 года по своему содержанию амбивалентно. С одной стороны, это день радости, напоминающий нам о падении Берлинской стены, а с другой — он памятен как день национал-социалистских погромов против евреев в 1938 году. И поэтому его не рассматривали в качестве национального праздника. К тому же федеральный канцлер Коль выска-

⁵ Ср.: *Edgar Wolfrum*. *Geschichtspolitik in der Bundesrepublik Deutschland 1949–1989*. — “Aus Politik und Zeitgeschichte”. Т. 45/98. С. 7.

⁶ См.: *Там же*. С. 7/8.

⁷ Ср.: *Там же*. С. 12.

зал в свое время еще один довольно практический аргумент против 9 ноября и в пользу 3 октября: во время настоящего национального праздника необходимо, чтобы погодные и световые условия дня максимально способствовали гуляниям на свежем воздухе.

Особый интерес для будущего “мы-сознания” немцев представляет также историко-политический аккомпанемент смены правительства в 1998 году. Федеральный канцлер Герхард Шрёдер сразу же после вступления в должность подхватил традицию, исходящую прежде всего от Вилли Брандта (1969 год) и поддержанную Гельмутом Колем (в 1984-м), — риторического выступления, подразумевающего начало новой исторической эпохи, принципиально отличающейся от предыдущей.

- *Вилли Брандт* видел себя, говоря его словами, “канцлером не побежденной, а освобожденной Германии”. Гитлер, заявил он вскоре после выборов, теперь окончательно проиграл войну. Согласно этому историческому образу Германия — после эры ХДС и ХСС — вступила во “второй формирующий период” (Рихард Левенталь)*.

- При *Гельмуте Коле* историко-политический акцент сместился в сторону возврата к основным элементам политики Аденауэра. Я упомяну в этой связи только тему “западных отношений”, которая в свое время была особенно актуальна из-за разгоревшихся споров по поводу размещения на немецкой земле американских ядерных боеголовок на ракетах средней дальности и застоя в европейском интеграционном процессе.

- Историко-политические послыла правительственного заявления *Герхарда Шрёдера* можно обобщить в следующих тезисах. *Первое*: смена поколений — поколение 68-го сменяло поколение 45-го. *Второе*: нормализация — объединенная Германия выдержала экзамен на демократическое национальное государство, и теперь не нужно доказывать ни себе, ни другим, что она выучила все уроки XX века. *Третье*: прорыв в “берлинскую республику” — объединенная Германия со свежими силами и новыми целями переступает порог XXI столетия.

Сейчас излишни спекулятивные рассуждения о том, в какой мере эта риторика осядет в коллективной памяти нации. Поскольку собственно эпохальным событием стало

* Ср.: Там же. С. 11.

тем временем участие Бундесвера в вооруженном вмешательстве НАТО в югославский конфликт, что было первой военной операцией Германии со времен второй мировой войны.

Война в Косове стала для немцев востока и запада драматическим актом совместно прожитой истории. Но и здесь выявились различия между восточными и западными немцами, вероятная причина которых кроется в различных исторических образах.

- По результатам опроса, проведенного в начале апреля 1999 года Институтом общественного мнения "Infratest dimar"⁹, 65 процентов *западных немцев*, то есть почти две трети, признали необходимыми воздушные удары НАТО по военным целям Югославии; помимо этого, 62 процента опрошенных высказались за продолжение боевых действий.

- Совсем иная картина сложилась в *восточной Германии*: там только 44 процента поддержали воздушные удары, и большинство в 57 процентов потребовало немедленного прекращения военных действий.

Эти данные соответствуют более ранним социологическим исследованиям по вопросу участия Бундесвера в боснийском конфликте: так что в этом отношении они неудивительны. Но мы, тем не менее, должны выяснить корни тех отчетливых различий, которые постоянно обнаруживаются между востоком и западом в таком существенном вопросе.

Возможное объяснение заключается в том, что образ Америки — и соответственно отношение к НАТО — всё еще сильно различается в старых и новых федеральных землях. В связи с пятидесятилетней годовщиной капитуляции Германии 8 мая 1945 год социологический институт в Алленбахе проводил опрос, где в том числе спрашивалось: "Кто сыграл решающую роль во второй мировой войне, в победе над фашизмом, над Германией?" 69 процентов опрошенных западных немцев ответили: "США", 87 процентов восточных немцев: "Россия".

Однако не исключено, что здесь действуют и современные факторы. Так, психолог Манфред Шмитт из Магдебургского университета говорил в этой связи о чувстве нравственного превосходства со стороны восточных немцев по отношению к "вестлерам" (представление о себе как о более миролюбив-

⁹ Ср.: "General-Anzeiger" (Бонн) от 10/11 апреля 1999 года. С. 4.

вых, понимающих и готовых помочь). Шмитт предполагает, что посредством этого позитивного образа компенсируется чувство экономической неполноценности¹⁰.

Конфликты между поколениями

Как в этом, так и в любых других пунктах можно увидеть, что коллективная память немцев всё еще расколота. Это относится не только к периоду ГДР — что очевидно, — но и к нацистскому прошлому.

Если быть точным, то мы имеем дело с удвоенной фрагментацией нашей коллективной памяти. Сегодня в Германии живут — упрощенно говоря — три поколения, которых в соответствии с ключевыми событиями можно обозначить как поколения 1945, 1968 и 1989 годов; и каждое из них, в свою очередь, расщепляется на восточные и западные биографии. Представители поколений 1968 и 1989 годов составляют между тем более двух третей населения страны.

— *Поколение 1945 года* восприняло немецкое объединение 1990 года как воссоединение в буквальном смысле слова — то есть как возвращение к состоянию, которое они еще могут помнить.

— По сравнению с ними *поколение 1968 года* до этого ничего другого, кроме разделения, не знало. На западе, помимо прочего, это время отмечено многочисленными конфликтами детей с их родителями: отчасти бунт детей был направлен против молчания, когда в 50-х — начале 60-х годов старались избежать какого-либо объективного анализа национал-социалистского прошлого.

— Наконец, для *поколения 1989 года* (поколения моих детей) объединение является состоянием, в которое они естественным образом вживаются, и период двух государств для них уже относится к седой старине.

Ожидает ли нас в восточной Германии новый историко-политический конфликт поколений — на этот раз в связи с режимом СЕПГ, — сказать пока трудно. Наверное, это глав-

¹⁰ Ср.: Axel Wermelskirchen. Mauern im Kopf. — "Frankfurter Allgemeine Zeitung" от 11 октября 1999 года. С. 11; см. также: Aike Hessel et al. Psychische Befindlichkeiten in Ost- und Westdeutschland im siebten Jahr nach der Wende. — "Aus Politik und Zeitgeschichte". Т. 13/97. С. 15–24.

ным образом зависит от того, как много из прошлого ГДР обходят молчалим. (Предпосылка этой гипотезы заключается в том, что коллективно замалчиваемая или вытесняемая в подсознание вина однажды снова выйдет на поверхность — либо в форме рецидива, либо вследствие отравления общественного климата, либо в виде конфликта поколений с последующим катарсисом. “Латентный период” приблизительно длится в течение одного поколения, так как ни жертвы, ни виновные поначалу не хотят говорить о прошлом: первые — потому, что только взгляд вперед способствует их моральному выживанию, вторые — потому, что взгляд назад разрушает их позитивное представление о себе.)

Я не хочу сейчас обсуждать сложный вопрос о различиях и сходствах между диктатурами нацистов и СЕПГ. Различие может заключаться в том, что национал-социалисты имели среди населения более сильную поддержку, чем коммунисты, — о чем свидетельствует, например, тот факт, что в ГДР число шпионов было непропорционально больше, чем в “третьем рейхе”. Уже поэтому историко-политический конфликт поколений в восточной Германии должен быть другим — менее напряженным, чем он был в 1968 году.

В сознании большинства западных немцев период нацизма — то есть общий для всех немцев временной отрезок — является поворотным и центральным пунктом в истории XX века. Восточные немцы смотрят на это совсем иначе — в 1990 году 4 процента против 52 в старых федеральных землях, но тенденция усиливается. И наоборот, гораздо больше западных немцев, в отличие от восточных, придерживаются мнения, что на нацистском прошлом пора поставить точку¹¹. Вероятно, предписанный в ГДР антифашизм оставил много вопросов без ответа, и в новых землях всё еще хотят этим заниматься.

Анализ прошлого ГДР

По-прежнему большие расхождения между востоком и западом наблюдаются в оценке нашего общего государственного, экономического и общественного устройства. На востоке до-

¹¹ Эти и последующие социологические данные взяты из ежегодника “Allensbacher Jahrbuch der Demoskopie 1993–1997” (Elisabeth Noelle-Neumann/Renate Köcher), München/Allensbach, 1997.

верие к системе слабее, чем на западе. В новых землях больше ценятся равенство и чувство защищенности, на западе — несмотря на ощутимые потери — свобода и самостоятельность.

Различие в системах ценностей объясняется несколькими причинами; одна из них, вероятно, связана с абсолютно разными церковно-религиозными отношениями. Среди ученых-социологов обсуждается вопрос, может ли играть роль, и насколько важную, различие государственных устройств. Согласно широко распространенному мнению, проблемы восточных немцев, возникающие в ходе приобщения к принципам парламентской демократии, мотивированы недемократическим строем прежней ГДР; в той ситуации невозможно было бы выработать демократическую позицию. При относительно невысокой оценке восточными немцами свободы и экономической самостоятельности у них якобы находит выражение унаследованная опять же из времен ГДР привычка — ожидать от государства, что оно, как добрая няня, с пеленок и до конца жизни будет опекать своих граждан.

Критики этой несколько упрощенной картины считают, что причины проблем восприятия восточными немцами федерально-республиканского государственного, экономического и общественного устройства лежат скорее в настоящем, чем в прошлом. При этом нужно учитывать задетое самолюбие. На самом деле очевидно, что большинство восточных немцев не желают возвращения времен ГДР, однако они по понятным причинам сопротивляются тому, чтобы полностью перечеркнуть свои жизненные достижения до 1989 года, свою ежедневную борьбу за сохранение собственного достоинства и “маленького личного счастья”. Высказывание “ведь не всё было так плохо, как это сейчас изображают” подразумевает не оправдание режима СЕПГ, а защиту своего личного прошлого¹².

Многие западные немцы, к примеру, недостаточно хорошо представляют, какое огромное значение для граждан бывшей ГДР имело предприятие. Оно было многофункциональным органом — обеспечивало не только достижение производственных целей и получение трудовых доходов, но и предлагало широкую систему неофициальных отношений, социаль-

¹² Ср.: *Detlef Pollack*. Das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung. — “Aus Politik und Zeitgeschichte”. Т. 13/97. S. 10.

но-бытовых и детских учреждений, социальных благ. Вместе с квартирой и дачей предприятие составляло центр жизни гражданина ГДР, оно внесло существенный вклад в то, что ностальгически называется “защищенностью”.

Кто эту добрую память, с основанием или без, ставит под вопрос, тот покушается на самое святое. Примечательно, что значительная часть восточных немцев, например, считала ошибкой непризнание (со стороны ФРГ) их собственного гражданства ГДР. Многие до сих пор воспринимают это как “пренебрежение к ГДР, которое распространяется и на них лично. Связь с освобождением восточных немцев в 1989 году, очевидно, является слишком сложной конструкцией для формирования исторического самосознания”¹³.

Столкновения с диктатурой СЕПГ непосредственно касаются только одной части немецкого общества, в то время как нацистская диктатура затронула и затрагивает всех немцев в одинаковой степени. В сегодняшней Германии язык, менталитет и воспоминания создают широкое общественное пространство (политика, СМИ, потребительская культура). Именно поэтому многие восточные немцы упорно избегают объективного анализа прошлого ГДР. Они видят в этом очередное требование запада: в своем роде попытку колониализации или экспроприации их памяти — и, стало быть, их идентичности. Это заблуждение. Так же ошибочен распространенный среди западных немцев тезис, что защитная позиция многих восточных немцев есть выражение ностальгии (“остальгии” — возникший на западе иронический каламбур) — тайной тоски по временам диктатуры, Стены и слежки.

Томас де Мейзер не так давно подверг анализу психологические ошибки, допущенные во время дискуссий о прошлом ГДР: “Когда речь шла о прошлом, до 1989 года, то говорили не об экономическом положении, которое, в конце концов, самим руководством СЕПГ в 1989 году было признано катастрофическим, а о диктатуре СЕПГ и ее последствиях. Эту тему стали развивать потом западные политики и правозащитники. Но одни не очень годились для этого, так как не вызывали доверия в качестве обвинителей, другие воплощали для многих живой укор совести. А это не нравилось”¹⁴.

¹³ Elisabeth Noelle-Neumann/Renate Köcher (прим. 11). S. 505.

¹⁴ Thomas de Maizière. Den alten Glauben an den Staat gemästet. — “Frankfurter Allgemeine Zeitung” от 25 января 1999 года. С. 11.

Но здесь возникает вопрос, насколько желание нравиться является целью, которой нужно подчинять всё остальное. Восточнонемецкие правозащитники, такие, как Йоахим Гаук, вполне обоснованно утверждают, что общественные диспуты на подобные темы не только неизбежны, но даже желательны. Правда может быть болезненной, но это не дает нам права жить во лжи, тем более, если ложь психологически консервирует старый режим.

Если бывшим угнетателям можно молчать, то и некогда угнетенным тяжело преодолеть свой страх перед властью, стать свободными, уверенными гражданами. Слишком часто случается так, что бывшая номенклатура уже через короткое время после смены режима снова занимает ведущие посты в экономике, обществе или политике. А притесняемые ею в прошлом сограждане, теперь вновь иерархически подчиненные ей, должны думать, что ситуация запугивания и бессилия — вполне обычные явления и в условиях демократии.

Летом 1990 года Народная палата ГДР постановила: “Мы хотим попрощаться с диктатурой, открыв глаза и открыв все архивы”. Одновременно в этом заключалась — по Гауку — драматическая смена перспективы: “Достоинство человека, его личные права мы сделали масштабом политики”. Это был отказ от “образа мыслей, предполагающего, что подобные данные поступают только в руки спецслужб. Было сказано “да” убеждению в том, что граждане являются членами общества, а не подданными властей. И, в соответствии с новым пониманием, к правам граждан относится и основное право на информационное самоопределение”.

Целебный для общества эффект споров, которые всё еще вызывают эти архивы, заключается в том, что те, которые “были внизу”, могут теперь призвать к ответу “бывших наверху”. В том, что им можно теперь рассказать своим угнетателям о преступлениях, совершавшихся режимом СЕПГ на протяжении целых десятилетий. В том, что бывшие поработанные могут теперь спросить своих работодателей: “Зачем вам нужны были 90 тысяч спецагентов для всего лишь 16 миллионов человек?”¹⁵ Речь, таким образом, идет не о мести и даже не о возбуждении судебных дел, а о том, чтобы помешать преступникам уходить от своих жертв. Опыт с подведе-

¹⁵ Эта и предыдущие цитаты взяты из интервью с И. Гауком в “Rheinischer Merkur” (см. прим. 3).

нием “жирной черты” — “gruba kreska”, как это называется в Польше, — показывает, что замалчивание прошлых преступлений не способствует внутреннему миру в обществе, но отравляет его. В этом заключалась, как было сказано, одна из причин бунта 1968 года.

Когда наступит внутреннее единство?

Подхожу к своему последнему вопросу — что могут сделать немцы, чтобы преодолеть раскол своей национальной памяти.

Первое: безусловно, важную роль играют те дни памяти, которые напоминают нам о существовании общегерманской истории еще до так называемого “часа ноль” в 1945 году. Мы празднуем в этом году 250-летие со дня рождения Гёте и 80-ю годовщину Веймарской конституции — а к 1 сентября пройдет шестьдесят лет со дня развязывания второй мировой войны. Только эти три даты наглядно показывают нам, что мы как нация и в плохом и хорошем имеем позади общую биографию.

Второе — готовность немцев рассматривать разделенные пути ГДР и ФРГ до 1989 года как часть одной немецкой истории. Эрнест Ренан выразился по поводу такой потребности в 1882 году следующим образом: “Суть нации не только в том, что все индивиды имеют что-то общее друг с другом, но и в том, что они сообща многое забыли. Ни один француз не знает, кто он — бургундец, алан или визигот, но каждый француз должен забыть Варфоломеевскую ночь и резню XIII столетия на Юге”. Когда Ренан говорит о необходимости “забыть”, то он не призывает вычеркнуть что-то из памяти¹⁶, а предостерегает от продлевания разделенных путей до настоящего и будущего.

Третье: временной фактор. Фрагментация нашей коллективной памяти, вероятно, только тогда будет преодолена, когда подавляющее большинство нации будет состоять из людей, родившихся и выросших в объединенной Германии. Следовательно, нам следует еще на несколько десятилетий запастись терпением, пусть даже терпение и не является характерной чертой немцев.

¹⁶ Ср.: *Benedict Anderson. Die Erfindung der Nation. Frankfurt am Main/New York, 1996. P. 200–205.*

Впрочем, мы должны расстаться с впечатлением, что нам следует стремиться к максимально возможному единообразию. Многообразие есть часть той “нормы”, которой сегодня жаждают; следовательно, мы придем к нормальному сосуществованию только тогда, когда признаем нашу неодинаковость — не в смысле вынужденного примирения с чем-то неизбежным, а в смысле понимания нашего шанса достичь культурно-духовного обогащения. Наряду с работой, ведущейся над общими задачами и в общих учреждениях, ежедневно пополняется хранилище общих воспоминаний в объединенной Германии. Поэтому, я думаю, нам можно надеяться на лучшее.

По этому случаю последнее слово должно быть отдано космополиту Иоганну Вольфгангу фон Гёте. 23 октября 1828 года (то есть в то время, когда Германия была расщеплена на множество крупных и мелких государств) он в беседе с Иоганном Петером Эккерманом сказал: “Меня не страшит, если Германия останется разобщенной, наши превосходные шоссе и будущие железные дороги свое дело сделают. Главное, чтобы немцы пребывали в любви друг к другу! И всегда были едины против внешнего врага. И еще, чтобы талеры и гроши во всем немецком государстве имели одинаковую ценность и чтобы можно было провезти свой чемодан через все тридцать шесть княжеств, ни разу не раскрыв его для таможенного досмотра. (...) В пределах немецких государств не должно более существовать понятия “заграница”. Германия должна наконец стать единой во всем, что касается мер и веса, торговли и товарооборота, и еще в сотнях вещей, которые я сейчас не припомню”.

Затем Гёте добавил нечто такое, что скорее понравилось бы сторонникам Бонна, чем их оппонентам, выступающим в пользу старой-новой столицы Берлин: “Но если кто-нибудь полагает, что такое большое государство, как Германия, должно иметь одну огромную столицу и что такая столица может способствовать развитию отдельных талантов, равно как и благу народных масс, то он жестоко заблуждается”.

Централизованность никогда не приносила немцам счастья.

Октябрь 1999

Этот текст, написанный в декабре 1998 года, содержит размышления по поводу парламентских дискуссий о новой столице — вопрос, который сегодня уже перестал волновать общественность. Речь шла тогда о переезде парламента и правительства из западногерманской резиденции в небольшом городе Бонне (с населением 0,3 миллиона) в мегаполис Берлин (3, 4 миллиона) на востоке страны.

В этой связи обсуждался вопрос, вызовет ли перенос столицы фундаментальные изменения в политической культуре ФРГ. Одних это пугало, других обнадеживало. Крупные перемены в правительстве, произошедшие осенью 1998 года, дали дополнительную пищу для разговоров. Впервые за историю ФРГ федеральное правительство — коалиция христианских демократов и либералов — было переизбрано в полном составе. Высказывания канцлера Шрёдера того времени можно свести к следующему заключению: новое коалиционное правительство, состоящее из социал-демократов и “зеленых”, считает, что период интенсивной проработки национал-социалистского прошлого и особого внимания к исторически обусловленным страхам соседей Германии уже завершился. Хотя поведение германских правительственных министров стало более уверенным, после некоторых проблем на начальном этапе они поняли: стремление к консенсусу и сотрудничеству, равно как и скромность, приведут к цели быстрее, чем конфронтация, высокомерие и нежелание сотрудничать с партнерами. “Зеленые”, некогда требовавшие выхода Германии из НАТО, заняли теперь во главе с Йошкой Фишером, новым министром иностранных дел, проатлантическую позицию. С их одобрения Германия приняла участие в Косовском конфликте весной 1999 года; это стало первой военной операцией Германии со времен второй мировой войны.

Berliner Republik?

“Италия за тридцать лет правления Борджиа пережила войну, террор, кровопролитие и убийства, но она дала миру Микеланджело, Леонардо да Винчи и Ренессанс. В Швейцарии

была братская любовь, пятьсот лет демократии и мира — и что в результате? Часы с кукушкой”.

Это известное высказывание Гарри Лайма в “The Third Man” приходит в голову, когда наблюдаешь за проходящими в Германии дебатами о характере будущей *Berliner Republik* (*Берлинской республики*). Достаточно заменить Швейцарию Бонном, Италию Берлином, — и карикатура готова. В одном случае — унылое провинциальное гнездо, банальность добра, отсутствие амбиций, в другом — волнующий мегаполис, макиавеллистские интриги, эротика власти, престижа и богатства¹.

В создании это карикатуры одинаково поучаствовали как энтузиасты Берлина, так и всё более утихающие его противники. Все единодушны: “Berlin n’est pas l’Allemagne” (“Берлин — это не Германия”). Но что же значит *Berliner Republik*, о которой сегодня почти каждый говорит так, будто точно знает, что это такое?

Популярность одного выражения

Одно из первых авторитетных упоминаний нового модного словосочетания встречается в заголовке исследования Carnegie Endowment for International Piece начала 1994 года². Там говорится: “Считать, что Берлинская республика будет хуже Боннской, значит игнорировать те динамические силы, которые привели к созданию новой демократической Германии. Коротко говоря, Берлинская республика будет, видимо, более открытым, хотя и менее стабильным, обществом, политически более изменчивым, экономически более зависимым и в международных отношениях менее осмотрительным, чем Боннская республика, с которой соседи Германии и союзники, как и сами немцы, прожили более сорока лет. Всплески немецкой самонадеянности свидетельствуют скорее о слабости и дезориентации, чем о силе и уверенности. Многое будет зависеть от того, насколько хорошо страна сможет консолидировать текущий процесс

¹ Паскаль Юг облагораживает эту неуклюжую карикатуру удивительно живым и ироничным описанием Бонна и Берлина в последней главе своей книги “Le bonheur allemand” (Paris, 1998).

² Daniel S. Hamilton. Beyond Bonn. America @ the Bonn Republik. Washington, 1994.

объединения с той помощью и сопротивлением, которые она, в новой для себя роли, ощущает со стороны важнейших партнеров”.

Эти прогнозы всё больше и больше оправдываются. Однако *Berliner Republik* вошло в широкое употребление только осенью 1998 года после правительственного заявления федерального канцлера Шрёдера, который использовал этот неологизм, чтобы провозгласить прорыв к новым берегам; его предшественник Коль, напротив, к этому выражению всегда относился щепетильно.

Объединенная Германия определенно нечто большее, чем просто расширенная — благодаря вхождению пяти “новых” земель — ФРГ. Видимо, этот факт послужил главной причиной для возникновения нового выражения, привлекательность которого не в последнюю очередь объясняется контрастом — к такому же новому — словосочетанию *Bonner Republik* (*Боннская республика*).

Сомнительность обоих неологизмов обусловлена еще созвучием с названием *Weimarer Republik* (*Веймарская республика*); этим противники первой немецкой демократии хотели дезавуировать республику 1918–1919 годов. Впрочем, Веймар — “культурная столица Европы-1999” — не был столицей Веймарской республики, а был местом, где разрабатывалась действовавшая до 1933 года германская Конституция. Основной закон второй немецкой демократии, республики от 1949 года, появился в Бонне. Если точно соответствовать исторической аналогии, то нужно пока еще говорить о *Bonner Republik*, так как Основной закон по-прежнему в силе.

Одним словом, выражение *Berliner Republik* в настоящий момент не более чем пустая словесная оболочка, которую можно наполнить любым содержанием. У одних оно вызывает страх перед неизвестностью и неопределенностью, для других служит сигналом надежды.

Семантические стратегии

Со сменой правительства осенью 1998 года появляется еще один аспект, способный оттеснить на задний план все до сих пор существующие значения. Новый термин должен означать новую эпоху в соотношении политических сил. Ее на-

ступление символически связывается с переездом парламента и правительства в Берлин.

Более двух третей из пятидесяти лет существования ФРГ в стране доминировали христианские демократы. В течение последующих десятилетий соотношение должно стать прямо противоположным; следовательно, вместо несколько преждевременно провозглашенного Ральфом Дарендорфом конца социал-демократического столетия мы стоим у начала новой социал-демократической эпохи Германии.

В этом контексте особую роль играет то, что смена правительства воспринимается общественностью одновременно как смена политических поколений. Хотя средний возраст нового правительства Шрёдера и прежнего правительства Коля один и тот же, у самих первых лиц биографии существенно различаются: Коль, родившийся в 1930 году, еще помнит нацистское время и войну; Шрёдер, 1944 года рождения, в своей жизни сознательно пережил только *Bonner Republik*. Первый участвовал в строительстве второй немецкой демократии, другой принадлежит к поколению 68-го года, которое успешно прошло долгий путь от антиавторитарного бунта до скромного обаяния буржуазии.

При таком рассмотрении интенсивное использование новым федеральным правительством термина *Bonner Republik* является семантической стратегемой в борьбе за культурную гегемонию: фантазии людей должны четко связывать карикатуру унылого и отсталого провинциального гнезда Бонна с христианско-демократическим *ancien regime* (старым режимом), а образ волнующего и современного мегаполиса — с “новым политическим центром”, идею которого ставит себе в заслугу федеральный канцлер Шрёдер.

Кроме того, ярлык Рейна вызывает ассоциации — по крайней мере, под восточнонемецким углом зрения — с определенной тягой к сепаратизму; здесь еще сказываются последствия ошибочной интерпретации политической стратегии Аденауэра: в 50-х годах он предпочел европейско-атлантическую интеграцию Западной Германии, а не поощряемую Сталиным обманчивую надежду, что скоро вся Германия под знаком нейтралитета сможет вернуть себе единство. Подозрения в сепаратизме заставляют забывать, какие именно политические силы в Боннской республике десять лет назад особенно активно выступали за единство Германии и впоследствии за переезд в Берлин.

Континуальность или дисконтинуальность?

Борьба за культурную гегемонию — легитимная часть демократического соперничества за власть. С этой точки зрения стратегическое использование словосочетания *Berliner Republik* легитимно. Однако новое обозначение весьма сомнительно, поскольку заявляет о дисконтинуальности там, где нужна высокая степень континуальности (которая, впрочем, в действительности существует). Кроме партий крайне правого и левого крыла политического спектра в Германии нет больше политических сил, ставящих под сомнение триаду: Основной закон, ориентация на Запад и социальная рыночная экономика.

Трагическое восприятие переезда в Берлин как расставания не только с Бонном, но и с внешне- и внутривнутриполитическими принципами *Bonner Republik* противоречит также тезису, что управляемая из Берлина Германия, наконец, станет “нормальной”. Каким образом грубый разрыв с длительными традициями может привести к нормальному состоянию? А если такой разрыв на самом деле не планируется, то в чем же Боннская республика менее нормальна, чем Берлинская, которая почему-то такой должна стать?

Здесь, по всей видимости, многие стали жертвой суггестивного воздействия модного сейчас летоисчисления, которое ограничивает XX век периодом от 1914 года до 1989-го. В этой схеме полностью отсутствует то, что в середине века идеологической “мировой гражданской войны”, в 1945 году, находится веха, гораздо более важная для немцев, чем разрыв между Германской империей и Веймарской республикой, и более важная, чем падение ГДР в 1990 году.

Даже если подтвердится мнение, что по завершении противостояния между Востоком и Западом отношения между государствами придут к “абсолютно нормальной анархии” (Юрген фон Альтен) периода до 1914 года, все-таки останется фактом, что в значительной части Северного полушария безопасность базируется уже не на балансе сил, а на взаимной открытости и уязвимости; что действовавший на протяжении трехсот пятидесяти лет принцип абсолютного государственного суверенитета уступает сегодня место высокой степени прозрачности (*Transparenz*), открытости и возможности взаимного участия во внутренних делах³.

³ Ср.: *Robert Cooper. Is There a New World Order? — Geoff Mulgan (изд.). Life After Politics. New Thinking For The Twenty-First Century. London, 1977. P. 317.*

Сейчас слишком поздно (радуемся мы по этому поводу или сожалеем) наверстывать то, что Германия и Берлин упустили в возможностях классической национально-государственной политики; в этом смысле Фриц Штерн вводит нас в заблуждение своей на первый взгляд убедительной идеей “второго шанса”.

Кто для определения государственных интересов Германии XXI века предпочитает обращаться к далекому прошлому, тот забывает, что Боннская республика, между прочим, по длительности существования (1949–1999) обогнала даже Германскую империю (1871–1918/19) — не говоря уже о четырнадцатилетнем периоде Веймарской республики и о двенадцати годах “третьего рейха”. Уже по этой причине Вилли Брандт ошибался, когда в 1991 году сравнил Бонн с “относительно идиллическим Виши”. И по этой же причине Федеративную Республику Германию нельзя рассматривать, как это делают некоторые немецкие правые интеллектуалы, в качестве интермеццо, которое было навязано победившими во второй мировой войне державами и которое теперь заканчивается в связи с возвращением Германии на мировую политическую арену.

Со вступлением в НАТО Польши, Чехии и Венгрии станет как никогда очевидным, что Германия находится на востоке атлантического пространства, а не в центре воображаемой *Mittleuropa* (Центральной Европы). Геополитические фантазии в духе Карла Шмитта о якобы “естественных” просторах Евразии и Центральной Европы, легитимно управляемых сильнейшей в каждом случае региональной державой — то есть Россией и Германией, — не имеют теперь никаких оснований, ни реально, ни морально. Подобные представления подорвали бы и Европейский Союз, который понимается не только как географически обусловленное объединение, но также и прежде всего как правовой союз государств с общими основными ценностями и сходными жизненными интересами. В этой связи степень участия правительства Шрёдера в расширении Европейского Союза на Восток станет серьезным пробным камнем: продолжит ли Германия одну из лучших и важнейших традиций Боннской республики — ориентацию на Запад, или пренебрежет этим вследствие недалеко-видной материальной политики Берлина.

Пятьдесят лет существования ФРГ, включая десять лет в объединенной Германии, были достаточным сроком для того, чтобы создать и укрепить внутри- и внешнеполитические традиции. Их жизнеспособность подтвердится и в управляемой из Берлина Германии. За период с 1990 года эти тради-

ции в целом выдержали экзамен на умение приспособливаться к изменившимся (*рамочным*) условиям.

Когда парламент и правительство начнут свою работу в Берлине, то важнейшие направления развития в XXI веке для них уже будут намечены — в Бонне. Имеется в виду не только замена немецкой марки на евро; это утверждение прежде всего касается основных вопросов национального самопонимания и политической культуры.

Внешнеполитические традиции

До воссоединения Германии растущее число сторонников придерживалось мнения, что ФРГ следует определять как “постнациональную демократию” (Карл Дитрих Брахер). После воссоединения установилась другая точка зрения: Германия — это “постклассовое национальное государство” (Генрих Аугуст Винклер). Немцы должны были заново учиться тому, что значит быть национальным государством, прежде даже и не старого образца. Этот процесс начался, прежде всего, благодаря их соседям и партнерам. Они дали немцам понять, что их приверженность к постнациональному самопониманию может восприниматься не только как неприятие нездорового духа шовинизма, но и как изощренно завуалированная политика национально-государственных интересов.

В этом смысле чрезвычайно поучительным был опыт, связанный с распадом Югославии: правительство и оппозиция в Германии поначалу не сомневались, что их настойчивые требования о международном признании Словении и Хорватии будут интерпретироваться всеми европейскими партнерами как выражение морально безупречных побуждений. Лишь потом они осознали, насколько наивным было это предположение: в глазах некоторых партнеров югославская политика Германии (плюс ко всему совпадавшая с позицией Австрии) выглядела скорее как реприза одной сцены из классического периода европейских национальных государств.

С точки зрения исторического сознания, которое начало формироваться незадолго до 1945 года, такое видение может показаться странным, но такова реальность, с которой объединенным немцам придется в будущем считаться. Мир существовал еще до того момента, который в Германии любят обозначать как “час ноль”.

Война в Ираке стала первым серьезным уроком для ее внешней политики после воссоединения. Большинство политиков тогда еще верило, что Германия может — как и раньше — с помощью обращенных к агрессору нравственных воззваний выразить свою солидарность с жертвой и сформированной для ее защиты коалицией государств. Естественно, никто не требовал от только что объединившейся Германии, чтобы она с громким “ура!” немедленно бросилась в бой — наоборот. Но удары воздушными ракетами Skud, нанесенные Ираком по территории Израиля, особенно отчетливо продемонстрировали немцам, что тотальный пацифизм чреват в высшей степени аморальными последствиями. Сдержанная позиция Германии вызвала не одобрение, а необходимость признать: императив “Nie wieder appeasement a la München!” (“Нет политике попустительства а ля Мюнхен!”) для западных демократий значит столько же, сколько и императив “Nie wieder Krieg!” (“Нет войне!”).

Наверное, не будет преувеличением сказать, что немецкое движение в защиту миру до сих пор не оправилось от психологического поражения в 1991 году. С тех пор Германия гораздо реже проявляет склонность свысока поучать западные демократии в вопросах политической морали и нравственной политики. Прежний пацифизм существует сегодня преимущественно в виде ядерного пацифизма, отвергающего как военное, так и мирное использование атома; он имеет место в отдельных пассажах коалиционного соглашения между СДПГ и “зелеными”, и он — как можно предвидеть — в ближайшие годы снова и снова будет служить поводом для разногласий между Германией и ее партнерами.

Между тем все демократические партии Германии в большинстве своем склоняются к мнению, что действия Бундесвера out of area (вне территории страны) с конституционно-правовой точки зрения при определенных условиях допустимы и политически своевременны. Было бы особой иронией истории, если бы некоторое время спустя бывший радикальный пацифист и нынешний министр иностранных дел Фишер в числе других понес ответственность за первое в “биографии” Бундесвера участие в военных операциях out of area.

Немецкая позиция относительно участия Бундесвера в операциях out of area в последние годы претерпела буквально революционные изменения. Но они остались почти незамеченными, так как всё происходило в рамках цивилизованного процесса перед Верховным судом страны. Это тоже

можно осмеять как типично немецкую причуду, но неужели мы должны желать себе таких политиков, которые не воспринимали бы всерьез Основной закон?

Внутриполитические традиции

Речь идет об одной из тех традиций, которые Бундестаг и правительство, переезжая из Бонна в Берлин, безусловно, возьмут с собой в своем багаже. Ее можно охарактеризовать как *Karlsruhe locuta, causa finita*: и в будущем политики смогут обращаться по телефону в Федеральный Конституционный суд и предоставлять право судьям решать политические вопросы по всем законам юридического искусства.

К ценным внутриполитическим традициям, связывающим объединенную Германию с Германской империей, относится социальная и федеральная политика, которая ранее велась в ФРГ. Сегодня обе традиции должны заново утверждаться в условиях глобального соперничества вокруг инвесторов и тревожных тенденций в возрастном составе населения; это значит, что при помощи дальновидных реформ их нужно приспособить к изменившимся условиям.

Но именно в этой области обнаруживаются опасения, что красно-зеленый старт в *Berliner Republik* определит не избыток, а недостаток готовности к реформам. Социал-демократические модернизаторы справедливо замечают: чувство принадлежности и долю участия в конституционно-республиканском обществе завтрашнего дня уже не обеспечить при помощи одних только систем коллективной защищенности, которые навязывают пассивность, — в большей мере важны активизация гражданского чувства и личной ответственности. В настоящий момент, конечно, нет никаких признаков, чтобы широкая система распределения, характеризующая сегодня социальное государство, действительно подвергалась критическому пересмотру.

Теоретически все согласны с тем, что немецкому федерализму требуется второе дыхание. Практически это означало бы усиление соперничества между федеральными землями, а также давно уже назревшую корректировку натянутой интерпретации понятия “равных условий жизни в федерации” (ст. 72, п. 2, Основной закон). Предостережения о вероятности возникновения сепаратизма *a la Lega Nord* (наподобие “Северной Лиги” в Италии) не являются необоснованными,

но с этим не следует путать здоровые антицентристские рефлекссы. Хотя пустословные разговоры о *Berliner Republik* могут направить эти рефлекссы в нездоровое русло. Еще одна причина, по которой немецким политикам следовало бы выбросить из лексикона этот пустой термин.

Перспектива прошлого

К традициям, которые, по всей видимости, переживут переезд в Берлин, относится включение в национальные дебаты всего того, что “заграница” думает, пишет и говорит. “Заграница”, в конечном счете остающаяся всегда анонимной инстанцией, по-прежнему выполняет функцию материализованной нечистой совести нации. Однако этот рефлекс с некоторых пор ослабевает, что связано с постепенным исчезновением поколения, непосредственно знакомого с причинами недоверия к Германии за рубежом.

Другая причина — изменение сознания, вызванное воссоединением. До 1990 года ФРГ была особым образом ориентирована на доверие соседей и партнеров; без этого доверия не было бы германского единства. Но сейчас международно-правовой суверенитет, восстановленный Германией в 1990 году, всё в большей мере заполняется ментальным суверенитетом немцев. Но разве объединенная Германия не нуждается в доверии своего окружения?

Политика под лозунгом “Viel Feind’, viel Ehr’” (“Много врагов, много почтения”) немедленно воскресила бы мучивший еще Бисмарка кошмар направленных против Германии коалиций. Это был не единственный, но, безусловно, центральный мотив европейской политики Коля. Это дало ему силы вопреки желанию большинства немецких избирателей ввести ФРГ в Европейский экономический и валютный союз.

У немцев накануне переезда парламента и правительства в Берлин и на пороге нового столетия возникло много острых вопросов, и наиболее важная проблема — единая интерпретация немецкой истории XX века. От нее многое зависит в будущем; это повлияет и на дефиницию внешнеполитических интересов, целей и методов Германии.

Обойти этот вопрос невозможно: даже попытка покончить с историческим сознанием и исторической символикой как с устаревшим балластом и жить только современностью уже сама по себе является невольным ответом. Это должен был по-

нять федеральный канцлер Шрёдер в первые же месяцы своего вступления в должность. И акцентированное внимание на “нормальности” Германии скорее симптом ненормальности. Разве французу, американцу или англичанину пришлось бы в голову подчеркивать, что его нация “нормальная”?

Дебаты о роли прошлого в будущей *Berliner Republik* в самом разгаре. Обусловлено это, прежде всего, следующими факторами: первый — намерение правительства Шрёдера пересмотреть существующий проект памятника погибшим евреям Европы, фундамент которого должны были заложить в центре Берлина к началу 1999 года, второй — полемика между писателем Мартином Вальзером и президентом Центрального совета евреев Германии Игнатцом Бубисом. Вальзер 11 октября 1998 года в благодарственной речи по поводу присуждения ему очень авторитетной премии мира от *Deutscher Buchhandel* в числе прочего заявил, что в нем “что-то протестует против длительной демонстрации наших грехов. Вместо того чтобы выразить благодарность за бесконечную демонстрацию наших грехов, я начинаю искать глазами выход”. Ему кажется, он “смог обнаружить, что чаще мотивом становится не память, а использование наших грехов в качестве инструмента для современных целей”⁴.

Немцы еще далеки от того, чтобы прийти к согласованному толкованию своей новейшей истории, и вряд ли удастся достичь такого рода консенсуса по истечении пятидесяти ближайших лет (или вообще до прихода совсем нового поколения). Реже, чем любая другая нация, они могут пересказывать свое прошлое как великую сагу, которая, несмотря на опасные повороты, кончалась бы с почти телеологической закономерностью общепримирающим *happy end*.

«Забвение, я даже скажу историческая ошибка, является основным фактором формирования нации, и в этом заключается причина того, что развитие исторических исследований может представлять опасность для национальной государственности”. Эрнест Ренан в докладе “Что такое нация?”, прозвучавшем в 1882 году, еще мог говорить об этом непринужденно. Сегодня перед немцами стоит задача принять себя как нацию вопреки колоссальному “развитию исторических исследований”.

Свободное от неврозов самопонимание нации должно стоять в равной степени и от исторической одержимости “не-

⁴ *Borsenverein des deutschen Buchhandels. Friedenspreis des deutschen Buchhandels 1998. Frankfurt am Main, 1998. S. 37–51.*

гativным национализмом” (Генрих Аугуст Винклер), на что указывал Вальзер, и от исторической забывчивости политики *Germany first*, как это проявляется в популистской риторике правых и левых скептиков европейской интеграции. Подобная форма принятия самих себя была бы разумной дефиницией “нормальности”, слова, которое федеральный канцлер Шрёдер до странности часто употребляет для того, чтобы определить сегодняшнее положение Германии среди других наций.

Признание исторической беспрецедентности Холокоста и отрицание исторической обособленности немцев, вероятно, можно между собой согласовать; но к этому вопросу необходимо подходить более тонко, а не так, как это делается в современных спорах на эту каверзную тему.

Дебаты вокруг берлинского памятника жертвам Холокоста раскрывают проблему во всей ее глубине: во всех столицах мира памятники возводятся или в честь героев, или в память о жертвах среди собственного народа; в Берлине планируется памятник, который должен олицетворять отвращение к преступлениям, совершенным своим же народом во имя своей нации. Означает ли этот единственный в своем роде проект, что немцы стоят в стороне от остальных наций и — как заявляют в первую очередь критики из числа правых радикалов — в мазохистском припадке прославляют самих себя как “воплощение мирового зла”? Или, наоборот, это демонстрирует принадлежность к цивилизованным нациям, из круга которых Германия была выведена нацистской диктатурой?

Памятник жертвам Холокоста — учреждение республики; граждане *ex negativo* должны вспоминать о тех основных ценностях, на которых построена вторая немецкая демократия. Но как должно выглядеть место, где *все* немцы — потомки жертв, преступников и неприсоединившихся — сообща могли бы совершать поминовение? А тем временем Мартин Вальзер и Игнатц Бубис пришли к соглашению, что именно в этом заключается суть проблемы — и решение еще не найдено.

Расколота память

Проблему можно еще сформулировать так: с приходом каждого нового поколения в послевоенной Германии у тех, кто не числится среди потомков жертв, уменьшается готовность признавать определение “потомки преступников”. Конечно, различие между преступниками и жертвами и в будущем не

должно стираться. Но если общественная память о преступлениях нацизма должна для всех немцев быть выражением идентификации со своей республикой и общей ответственности за свою демократию, то в этом контексте становится всё проблематичнее проводить дополнительные различия между группами потомков.

В ближайшие годы для всех немцев на пути к общему историческому образу особым препятствием будет их многократно “расколота память”⁵, которая еще снова и снова может выливаться в “войну воспоминаний” (Дэн Дайнер). Коллективная память немцев как бы фрагментирована горизонтально и вертикально. Грубо говоря, есть три поколения, которые в соответствии с ключевыми датами можно обозначить как поколения 1945, 1968 и 1989 годов, и каждое из этих поколений в свою очередь расщепляется на западные и восточные биографии.

Между тем поколения 1968 и 1989 годов составляют более двух третей населения страны. Многие из поколения 1968 года убеждены, что своим бунтом против втянутых в нацистскую систему родителей они сняли с себя печать исторических заложников. Это могло бы объяснить кажущееся противоречие в том, что как раз составленное из представителей поколения 1968 года правительство собирается приуменьшить для будущего самовосприятия немцев значимость воспоминания, уходящего дальше 1945 года.

В Германии, более чем где-либо, вопросы интерпретации прошлого были и остаются вопросом моральной гегемонии, то есть легитимизации и делегитимизации политических группировок современности. Это утверждение подтверждается теперь еще и применительно к воспоминанию о коммунистической диктатуре в восточной Германии. Как раньше до падения Стены правые экстремисты пытались антикоммунистическими лозунгами заполучить демократическую репутацию, так сегодня ПДС пытается добиться легитимности в роли знаменосца “антифашизма”.

Что касается оценки режима СЕПГ, то сегодня Германия находится не на пути к консенсусу, а движется в направлении поляризации. Вполне может случиться, что смена правительства осенью 1998 года в Мекленбург-Предпомерании для политической культуры ФРГ окажется более знаковым событи-

⁵ См. замечательное исследование *Jeffrey Herf. Divided Memory. The Nazi Past in the Two Germanys.* Harvard, 1997.

ем, чем произошедшая в то же самое время смена правительства на федеральном уровне: СДПГ, вступив в Шверине в коалицию с ПДС, приобретает репутацию партии, которая в материальном, персональном и программном аспекте является преемником СЕПГ, партии, которая подпитывает себя враждебным отношением к Западу и которая на рубеже 1998–99 годов шокировала общественность намерением пригласить в свою фракцию в качестве консультанта по вопросам государственной безопасности и иностранных дел профессионального шпиона Райнера Руппа (по прозвищу “Топаз”), приговоренного к длительному тюремному заключению⁶.

Берлин как никакой другой город Германии отражает фрагментарность национальной памяти немцев. Здесь мы на каждом шагу обнаруживаем следы как убийц, так и мучеников. Мы переживаем контраст между классической красотой гуманизма в произведениях Шинкеля, помпезностью самовыражения Вильгельма, мрачной тоталитарностью национал-социалистской архитектуры, заводской унылостью крупнопанельных построек социализма, функционализмом капиталистических фешенебельных конструкций из стекла и бетона. Здесь в равной степени присутствуют как топография террора двух диктатур, символика триумфа свободы, самоопределения и осуществления гражданских прав, так и крушение первой немецкой демократии и успех *Bonner Republik*.

Дебаты, проходящие под несоответствующим, даже ошибочным заголовком *Berliner Republik*, касаются не только немцев. На пороге нового столетия по-прежнему имеет силу то, что более пятидесяти лет назад написал Йозеф Рован буквально после своего освобождения из концлагеря Дахау: “Европейцы получают такую Германию, какую они заслуживают”. Поэтому очень хотелось бы, чтобы соседи и партнеры Германии выступили с собственными предложениями в проходящих дебатах.

⁶ В спорах по поводу речи Мартина Вальзера был упущен тот факт, что Вальзер протестует не только против “использования наших грехов в качестве инструмента ради современных целей”, но и призывает президента Херцога наконец-то амнистировать “Топаза”. Следует ли это рассматривать как попытку обезопасить себя от критики слева? Скорее всего, Вальзер пытается примирить немцев с самими собой и потому предлагает проявить благородство *забвения* и *исторической ошибки* (в духе Эрнеста Ренана) в отношении как к национал-социалистской, так и коммунистической диктатурам.

Следующий текст вновь поднимает темы дискуссий начала 1999-го и весны 2000 года, получивших широкую огласку во всей Германии.

Речь шла тогда о том, в какой мере следует упростить условия предоставления германского гражданства. Сегодня в Германии проживает около 7,5 миллиона иностранцев, из них более половины пребывает в стране свыше десяти лет; две трети иностранных детей и подростков родились в Германии. В правовом отношении у большей части этой группы населения не должно возникнуть проблем в получении германского гражданства. Но на практике возникают препятствия, так как закон, как правило, предоставляет германское гражданство только после отмены старого. Многие по понятным причинам не хотели — и не хотят — идти на окончательный разрыв со своей родиной. Таким образом, политическая дискуссия сосредоточилась на чрезвычайно остром вопросе: может ли закон в будущем вообще разрешить двойное гражданство. Кроме этого, много споров вызвало введение "jus soli" (территориального принципа), согласно которому рождение на территории Германии дает право на получение германского гражданства. Результатом этих дебатов — в середине 1999 года — стала реформа со следующими основными пунктами:

Родившиеся в Германии дети иностранных граждан получают германское гражданство в том случае, если один из родителей в течение восьми лет проживает в Германии и в момент рождения ребенка на законном основании пребывает в стране. По достижении восемнадцатилетнего возраста ребенок в течение пяти лет должен сделать выбор между германским гражданством и гражданством своих родителей. Исключения из этого обязательного правила допустимы только в тех случаях, когда отмена иностранного гражданства невозможна или в этом нет необходимости.

Уже после восьми — вместо прежних пятнадцати — лет законного пребывания в Германии иностранцы могут претендовать на приобретение прав гражданства. При условии, что они в состоянии содержать себя и членов своей семьи, не имеют судимости и достаточно хорошо владеют немецким языком. Кроме того, они не имеют права поддерживать устремления, направленные против свободно-демократического порядка Федеративной Республики Германии.

Второй большой темой был — и остается — вопрос, нужна ли Германии активная иммиграционная политика. До сих пор господствовала догма: “Германия — не иммиграционная страна!” Но этому противоречит тот факт, что в течение прошедших лет и десятилетий миллионы людей прибывают в Германию и — нередко уже во втором или третьем поколении — чувствуют себя там, как дома. Это касается, прежде всего, так называемых “гостевых рабочих” (Gastarbeiter), главным образом из Турции, которые по сути гостями уже не являются и давно интегрировались в немецкую экономику и общество. Более того, Германия всегда выступала в роли иммиграционной страны по отношению к этническим немцам из Центральной и Восточной Европы, Сибири и Средней Азии.

Следовательно, не так важен вопрос, является ли Германия иммиграционной страной (в этом сомнений нет!), важно, хочет ли она этого. Я выступаю за то, чтобы ФРГ от состояния пассивности перешла к активной иммиграционной политике, хотя бы потому, что так диктует здравый смысл социально-экономической политики. Немецкое население в последующие годы будет катастрофически сокращаться. Привычный образ жизни удастся поддерживать только тогда, когда общество повернется к иммигрантам и найдет в этом источник культурного обогащения. Уже сегодня немецкая экономика страдает от нехватки высококвалифицированной рабочей силы, например в компьютерной отрасли. До сих пор Германии удавалось компенсировать недостаток природного сырья огромным богатством “человеческого капитала”; она может утратить эту способность.

Новая родина Германия

Германии нужны иммигранты

В 1999 году число безработных в Германии составляло более 4 миллионов человек. Согласно сообщению ООН, поступившему в начале 2000 года, нам ежегодно требуется полмиллиона иммигрантов. Только через импорт рабочей силы мы,

немцы, сможем поддерживать наше благосостояние. Так говорится в сообщении агентства ООН по вопросам населения.

Ну разве это не абсурд? Где они, скажите, пожалуйста, рабочие места, которыми мы должны обеспечить всех этих людей? Да у нас не избыток, а недостаток работы!

Верно. Но это пока. Потом картина драматически изменится.

В странах Европейского Союза уровень рождаемости в 1999 году упал до самой низкой отметки за всё послевоенное время. Наиболее тревожна ситуация в Германии: там за год больше людей похоронили, чем произвели на свет. Если не уделять внимание росту потока иммигрантов, то население ФРГ сократится так, как никакая другая популяция в ЕС. Политически этот процесс сдержать уже невозможно. Ведь чем меньше детей у нас подрастает сегодня, тем меньше родителей у нас будет завтра. Петля неумолимо затягивается. Едва ли можно ожидать, что миллионы хорошо зарабатывающих одиноких людей легко откажутся от своего высокого уровня жизни и, как истинные патриоты, начнут выполнять долг в области политики населения.

Последствия можно предвидеть. По подсчетам ООН число работоспособных немцев будет катастрофически сокращаться — с 56 миллионов сегодня до 43 миллионов в 2050 году. Одновременно будет расти число пенсионеров, живущих за счет взносов в пенсионный фонд работающего населения.

Теоретически известно, как политика должна на это реагировать. Но на практике всегда обнаруживается какая-нибудь загвоздка. Эти меры:

или экономически невыгодны: повышение отчислений в пенсионный фонд связано с ростом трудовых расходов, а также — из-за усиления давления рационализации, что в конечном итоге приводит к увеличению числа безработных,

или непопулярны: никого не обрадует, если размер пенсии уменьшится или пенсионный возраст превысит отметку 65 лет,

или неудобны: расширение частного характера пенсионной заботы — хорошая идея, но люди в условиях процветающего государства всеобщего благосостояния отвыкли от бремени личной ответственности.

К непопулярным решениям относится и активная, нацеленная на будущее иммиграционная политика — большой во-

прос практически для всех западноевропейских стран. Левые утописты мечтают об обществе, где никто не навязывал бы единую официальную культуру. Правые защитники отечества распространяют свои кошмарные видения, в которых наша цивилизация попадает под иго чужеземных варваров. При таких крайних точках зрения объективная дискуссия практически невозможна. И в политическом центре пока никто не решается затрагивать эту тему, опасаясь, что подобные дебаты вызовут активность таких правых популистов, как Йорг Хайдер в Австрии, или правых радикалов типа Жан-Мари Ле Пена во Франции.

Но было бы безответственно постоянно уклоняться от обсуждения столь важного вопроса о будущем устройстве. Чем дольше откладывается необходимое решение, тем сильнее в один прекрасный день проявится потребность в иммигрантах — и тем большую головную боль вызовет их интеграция.

Зато потом никто не сможет сказать, что он ничего не знал об этой проблеме. Социологи уже давно предостерегают от негативных последствий сегодняшнего бездействия. Возможно, исследование ООН наконец-то даст толчок деловому обсуждению. В любом случае это сообщение — эффективное средство против немецкой пассивности. Сравнение с Францией, Италией, Великобританией, США, Японией, Северной Кореей и Россией показывает, что не только мы одни должны бороться с последствиями снижения уровня рождаемости.

Активная и дальновидная иммиграционная политика имеет несколько направлений.

Она требует, во-первых, основательного соглашения между правительством и оппозицией. Если не брать во внимание этнических немцев из Центральной и Восточной Европы¹, то мы в Германии еще долго не сможем прийти к общему для всех убеждению: иммиграционное движение нельзя принимать только как нечто неминуемое, напротив, им можно активно управлять.

Во-вторых, необходимо ввести твердые квоты. Государство должно ежегодно устанавливать число иммигрантов, которых оно намерено впустить в течение ближайших двенадцати месяцев. Обсуждать это нужно открыто: сколько приез-

¹ В начале 90-х годов в Германию ежегодно прибывало свыше 200 тысяч человек; с тех пор число прибывающих иммигрантов сократилось до 100 тысяч в год.

жих нам требуется? Сколько из этого количества мы осилим? Каким критериям они должны соответствовать? Такие темы должны обсуждаться не в кулуарах министерской бюрократии, а в парламенте.

Наиболее серьезное возражение против установления квот — тот факт, что получившие отказ иммигранты могут попытаться проникнуть в страну, воспользовавшись правом на политическое убежище². И действительно: так невозможно установить четкий предел числу прибывающих иностранцев. Следовательно, введение квоты имеет смысл только в том случае, если изменить Конституцию и вместо индивидуального запроса ввести “институциональную гарантию”³. Лишь когда число претендентов на политическое убежище будет ограничено, останется достаточно пространства для “настоящих” иммигрантов. Вместе с тем размеры квот должны быть достаточно гибкими, чтобы в крайнем случае их можно было превышать из гуманных соображений.

В-третьих: классические иммиграционные страны, как США и Австралия, не каждому иностранцу предоставляют доступ в страну. Они следят за тем, чтобы как можно большее число новоприбывших имели квалификацию, инициативу и готовность приспособливаться. Эти страны не пытаются заманить, обещая широкий спектр социальных услуг.

² Слишком либеральный по сравнению с другими западными странами закон о политическом убежище — одна из основных причин, почему Германия в 90-х годах приняла существенно больше половины (между 50 и 70 процентами) всех граждан, обратившихся в Европейских Союз с просьбой о политическом убежище. Между тем доля немецкого населения от общего населения ЕС составляет менее одной четверти. Число принятых Германией претендентов на политическое убежище в десять раз превысило соответствующее число во Франции и Великобритании. В настоящий момент в Германии проживает 7,5 миллиона иностранцев, из них 1,5 миллиона, то есть около 20 процентов, составляют претенденты на политическое убежище и беженцы.

³ Речь идет о конституционно-правовом термине. Противоположным понятием для “институциональной гарантии” является правовая гарантия. “Институциональная гарантия” означает, что государство гарантирует и защищает определенные институты — например, собственность, семью или, как здесь, право на политическое убежище — так, чтобы при этом автоматически не возникали судебные иски частных лиц против государства (правовые гарантии). Конечно, во многих случаях “объективная” институциональная гарантия пересекается с “субъективной” правовой гарантией, например в вопросах собственности.

Вместо этого они предлагают иммигрантам самое лучшее, что имеют: неограниченную свободу в развитии профессиональной деятельности — от мойщика посуды до миллионера.

В Германии противоположная тенденция: тот, кто сюда приезжает, получает материальную поддержку, о которой дома и не мечтал. Но его свобода ограничивается невероятным количеством коммерческих и трудовых регламентаций. Заботливое государство создает препятствия для того, чтобы иностранец мог в поисках недорогой работы выйти на рынок труда или обрести самостоятельность в качестве мелкого предпринимателя. Это не способствует интеграции. Поскольку нет более эффективного способа для интеграции иностранцев в обществе, чем предоставить им возможность трудовой деятельности.

Три значения слова “Volk”

В эпоху глобализации идея культурно и этнически гомогенного государства абсолютно нереальна. Также сомнительны перспективы традиционного социального государства, закрытого “домашнего очага”. Некоторые немецкие пенсионеры предпочитают тратить пенсию на Мальорке. И тот, кто сегодня отчисляет налоги в частный пенсионный фонд, завтра будет получать обеспечение от программиста в Пакистане или специалиста DaimlerChrysler в Америке. После всего этого нам следует привыкнуть к мысли, что дети иммигрантов внесут свой вклад в то, чтобы уберечь от коллапса договоров между поколениями⁴.

Постепенно люди начинают это осознавать, хотя у многих чувства всё еще преобладают над разумом. Дебаты о новом

⁴ Немецкая пенсионная система основана на так называемом “договоре между поколениями”: трудоспособное поколение отчисляет средства на содержание поколения, закончившего трудовую деятельность. С точки зрения отдельного пенсионера это ошибочно воспринимается так, будто он в старости получает назад те деньги, которые выплачивал в пенсионный фонд в течение своей трудовой деятельности. Многие молодые люди начинают, однако, постепенно понимать, что, если пенсионная система не будет реформирована, им придется платить поколению “стариков” больше, чем они впоследствии будут получать от поколения “внуков”.

праве гражданства для тех иностранцев, которые уже проживают в Германии или родились там, вызвали сильные эмоции. Отчего? Одна из причин, безусловно, в том, что здесь затрагивается вопрос национальной идентичности: кого считать своим, а кого чужим — что в свою очередь показывает, как нация сама себя определяет.

Применительно к немцам наблюдается еще одна особенность: в течение десятилетий раздельного существования общее гражданство было важным объединяющим стержнем для сплочения всех немцев, основным элементом противоречивой, на первый взгляд, формулы “два государства — одна нация”. Сегодня государство и нация друг другу соответствуют. Поэтому предложения “Я немец” и “Я гражданин ФРГ” означают одно и то же. Это создает условия для свободной дискуссии на тему, кого следует причислять к немецкому народу.

Отсутствие ясного ответа на этот вопрос отчасти объясняется тем, что слово “Volk” имеет три значения, и различия между ними часто не учитываются. Эти три уровня значений можно проиллюстрировать на примере трех греческих слов “ethnos”, “laos” и “demos”.

Ethnos: в первом значении слово “Volk” — это родовая община, то есть группа людей, связанных между собой — пусть даже и отдаленными — общими предками. Такое понимание является латентно расистским — тем более, если оно определяет национальную идентичность. Поскольку возникает соблазн предположить, что этническая однородность обладает особой ценностью. Но так называемая “чистота крови” — не ценность, а безумное наваждение и криминальный принцип⁵. Этническая однородность возможна в отдельных племенных союзах, в далеких уголках земли, но никак не в центре высоких цивилизаций.

Laos: во втором значении “Volk” — это “простой народ”⁶, мужчина и женщина на улице, скопление людей. При таком

⁵ Именно из-за своей криминальности это понятие часто заменяется различными эвфемизмами. Примером такого завуалирования может служить сочетание “этническая чистка”. За этим скрываются убийства, изнасилования, депортация и изгнание, что было популярно в бывшей Югославии, в областях с этнически разнородным составом населения.

⁶ В этом значении “Volk” может соотноситься со значением “рода” у Льва Толстого в его “Народных рассказах” и, возможно, с восприятием “народа” у “народников” или “Народной воли”.

рассмотрении народ противопоставляется элите, носителям политических, экономических и культурных знаний. Это понятие, слегка приправленное значениями *ethnos* и *demos*, присутствует в романтических представлениях о естественной народной культуре, которая живет в сказках, песнях и других не испорченных цивилизацией “естественных” формах выражения. Это понятие не чуждо и демократическому мышлению, так как позволяет мужчине и женщине на улице иметь собственное политическое суждение. Так оно подрывает претензии экспертов и правящей элиты на монополию политической компетенции.

Demos: в третьем значении “*Volk*” — народ государства, сообщество всех государственных граждан. Немецкая Конституция, Основной закон, говоря о народе, использует именно это значение. Например в статье 20: “*Вся государственная власть исходит от народа*”. Хотя есть одно важное исключение: в статье 116 этнические немцы из Центральной и Восточной Европы, Сибири и Средней Азии обозначены как люди, относящиеся к немецкой народности, и приравнены к немецким гражданам. Эти этнические немцы могут получить немецкий паспорт гораздо быстрее, чем давно живущие в Германии люди иностранного гражданства.

По ту сторону от “крови” и “почвы”

В германской империи государственное гражданство “выдавалось”, как правило, через местные органы в отдельной земле. Этот федералистский принцип действовал и после принятия “Закона об имперском и государственном гражданстве” от 1913 года. Лишь в 1934 году национал-социалисты создали централизованное управление с расистским уклоном — оно давало возможность лишать гражданства немецких граждан иудейской веры. Согласно Конституции право государственного гражданства остается вопросом исключительно общегосударственной компетенции, но с учетом опыта нацистского периода статья 16 запрещает лишать германского гражданства.

В истории закона о германском гражданстве за период с XIX века отразились важнейшие политические и общественные изменения. Благодаря своему исключительному значению для самовосприятия нации гражданство представляет со-

бой излюбленное поле деятельности для идеологий самого разного толка — от уже упомянутых левых утопистов до их кровных врагов правых патриотов.

Статья 116 часто используется при этом в качестве аргумента, чтобы доказать расистский характер ныне действующего закона о государственном гражданстве. Но для конституционно-правовой привилегированности этнических немцев по отношению к другим переселенцам имеются достаточно убедительные исторические причины. Во время второй мировой войны этим людям повсеместно приклеивали ярлык пятой колонны Гитлера; таким образом, многие из них косвенно стали жертвами преступной агрессивной политики “третьего рейха”. Поэтому перед ними — особый гуманитарный долг. Так считала и продолжает считать ФРГ. Но в связи с тем, что вторая мировая война всё больше уходит в прошлое, возрастают препятствия, которые эти люди должны преодолеть, чтобы переехать в Германию. Здесь в первую очередь нужно упомянуть “Закон об упорядочении возмещения ущерба, нанесенного войной” от декабря 1992 года, который усложняет для так называемых немецких переселенцев возвращение на родину их предков.

Часто можно слышать, что расистским, по сути, является и действующее в Германии “право крови” (“*Recht des Blutes*”), то есть право на получение немецкого гражданства в том случае, если хотя бы один из родителей немец. (“Право крови”, собственно говоря, звучит слишком архаично — но это, конечно, всего лишь калька с латинского *terminus technicus* “*jus sanguinus*”). В то время как в Германии, заявляют критики, принадлежность к нации определяется кровью, во многих других западных демократиях право гражданства основано на “праве почвы”, “*jus soli*”, так как гражданство там определяется по месту происхождения.

Так в теории. А что мы видим в действительности?

“*Jus sanguinus*” (право происхождения) действует практически во всем мире. Например, дети американцев, будучи рожденными за пределами США, разумеется, тоже являются американскими гражданами — на основании своего происхождения. “*Jus sanguinus*” вовсе не реликт, а принцип Нового времени: “*jus soli*” (территориальный принцип) как способ производства “сюзеренных детей” в средневековом государстве был ненавистен и для французских революционеров, и для немецких либералов XIX века, поскольку навязывал

верноподданнические отношения всем тем, кто родился на территории сюзерена.

Естественно, эта критика уже не распространяется на “*jus soli*” в современных демократиях. В виде дополнения к “*jus sanguinis*” он действует прежде всего в таких классических иммиграционных странах, как США, Канада и Австралия. Там он оправдывает себя как метод для интеграции новых граждан. Здесь также следует назвать страны, которые по традиции относятся к иммиграции менее сдержанно, чем Германия, — это, главным образом, в прошлом ведущие колониальные империи, такие, как Франция и Англия.

Третья возможность получить гражданство — натурализация, право на приобретение гражданства, существующее и в Германии с незапамятных времен. Можно спорить, достаточно ли великодушия проявляет в этом пункте действующее в нашей стране правовое положение, особенно по отношению к родившимся в Германии иностранцам (точнее: жителям Германии без германского гражданства). Но было бы несправедливо говорить, что происхождение от немцев до сих пор было единственной возможностью стать немцем. Теперь для добровольного получения гражданства совсем не требуются “обращение к немецкой самобытности” и готовность к всеобъемлющей ассимиляции — на основании действующего правового положения, имеющего силу как минимум с 1990 и 1993 годов, когда были приняты дополнения к закону о правах иностранцев.

Вопрос о том, является ли кто-то немцем, совершенно не связан с его кровью. В гораздо большей степени речь идет о юридической стороне: является ли он гражданином ФРГ. Отто Кимминих, юрист по государственному и международному праву, заявлял, что даже прежний закон о германском гражданстве, действовавший до реформы 1993 года, нельзя было упрекнуть в чрезмерной этничности. И приводил следующий убедительный пример: “Если рабочий-иммигрант из Греции натурализовался в Германии и затем по поручению своей фирмы едет в Южную Америку, где знакомится, например, с перуанкой, которая там же, в Перу, рождает ему ребенка, то этот ребенок получит германское гражданство и сохранит его даже в том случае, если он никогда не окажется в Германии и никогда не выучит немецкого языка”.

А что можно сказать о двойном и множественном гражданстве? И в этом вопросе некоторые критики старого — равно

как и нового — правового положения рисуют неверную картину, будто бы Германия и здесь проявляет обособленность. Но в действительности большинство западных государств все-таки пытается избежать возможности гражданства нескольких стран — или в крайнем случае мере с помощью присяг и клятв верности обязать новых граждан к особой лояльности по отношению к их новой родине.

В США, классической иммиграционной стране, уже с 1790 года в законе о натурализации установлено, что заявитель приносит присягу, в которой отрекается от своего прежнего гражданства. Однако на практике в Соединенных Штатах великодушно допускается двойное и множественное гражданство. Впрочем, это великодушие может исчезнуть по той причине, что соседняя Мексика упростила процедуру получения американского паспорта, отменив необходимость отказа от мексиканского гражданства и всех связанных с ним прав, за исключением избирательного права. В этой связи усиливается внутривнутриполитическое давление на Конгресс в Вашингтоне, с тем чтобы приостановить непропорционально высокий рост числа заявлений от мексиканских граждан, например, введением требования официального отказа от мексиканского гражданства⁷.

И в Германии множественное гражданство как результат натурализации давно уже перестало быть редкостью. В 1993 году, когда в закон об иностранцах были внесены изменения, упрощающие предоставление германского гражданства, 30 тысяч иностранцев (40 процентов от всех случаев), получив немецкий паспорт, стали гражданами двух государств. В тех странах, где процедура отмены прежнего гражданства намеренно усложнялась, наблюдался даже более высокий процент: у афганцев — 89, у марокканцев — 87 и у турок — 68 процентов. Эти примеры демонстрируют, что объективные и конкретные решения возможны даже в тех случаях, когда идеологические буквоеды проповедают политику под лозунгом “всё или ничего”.

Январь 1999/июнь 2000

⁷ Ср.: Stiftung Deutsch-Amerikanisches Akademisches Konzil. — Deutsche und amerikanische Migrations- und Flüchtlingspolitik. S. 86–98.

Часть II
Объединение Германии

То, что принято называть “германским вопросом”, в действительности представляет собой целый комплекс проблем, решения которых неразрывно друг с другом связаны и друг от друга зависят. В XX столетии — особенно в первой его половине — германский вопрос был не только источником напряженности в Европе и мире, но и привел к катастрофе. Долгосрочное решение этого вопроса было найдено 3 октября 1990 года, в день мирного воссоединения Германии.

Понятие “критическая масса”, затрагивающее внешнеполитический аспект германского вопроса, хотя и отражает его содержание, однако не исчерпывает его полностью. Во всяком случае, именно так считал еще в 1967 году федеральный канцлер Курт Георг Кизингер, когда сказал, что объединенная Германия “слишком велика, чтобы не играть никакой роли в расстановке сил”, и одновременно “слишком мала, чтобы самостоятельно уравновешивать силы вокруг себя”. И то же самое фактически повторил в 1991 году Генри Киссинджер: объединенная Германия “too big for Europe, too small for the world”¹.

К проблематике германского вопроса можно отнести и формулировки, подобные известному заключению Гельмута Плесснера об “опоздавшей нации”, так как они построены на сравнении новейшей германской истории с процессом становления других европейских наций, прежде всего Англии и Франции. Действительно, Германия сформировалась в национальное государство, вошла в круг европейских держав, стала индустриальным обществом, колониальной страной, республикой и вступила в семью западных демократических государств позже, чем другие сопоставимые с ней нации. Но желание добиться в мировой политике таких же успехов, как у них, в XIX и XX столетиях дало заряд огромной динамической энергии, в котором были как творческие, так и разрушительные импульсы.

Требование равноправного положения Германии в Европе и мире было константой германской внешней политики, начиная со времен кайзеровской Германии до сегодняшней ФРГ, за одним чудовищным исключением — периода “третьего рейха”, который стремился подчинить себе

¹ Ср.: Timothy Garton Ash. In Europe's Name. Germany and the Divided Continent. Random House: New York, 1993. P. 384.

Европу, а затем и весь мир². Но между началом и концом столетия существовали свои миры: Германия Вильгельма II вела себя подобно нуворишу, который, чувствуя себя неловко в светском клубе, компенсирует ощущение собственной неполноценности вызывающими акциями. Германия же Аденауэра, Брандта и Коля, напротив, с 1945 по 1990 годы научилась без шума, “умело используя возможности ограниченного суверенитета”³, добиваться своих целей. В эпоху глобализации, которая фактически ограничивает суверенитет государств, это ноу-хау может стать хорошим стартовым преимуществом.

Чтобы понять германский вопрос, необходимо рассмотреть внутренние и внешние его аспекты не отдельно друг от друга, а в их совокупности, как взаимодействующие элементы. После распада в 1806 году Священной Римской империи германской нации и наполеоновских войн 1814 года в качестве основных таких элементов обозначились три большие темы: национальная идентичность, свободная демократия, европейское равновесие. То есть возникли три вопроса.

Во-первых, возможна ли полная конгруэнтность между немецкой “государственной нацией” и немецкой “культурной нацией”, между границами немецкого государства и границами немецкого народа?

Во-вторых, может ли немецкое национальное государство реализовать себя в условиях свободно-демократической конституции?

И наконец, в-третьих: может ли национальное единство немцев существовать так, чтобы при этом не нарушался европейский баланс сил?

Проблема национальной идентичности с точки зрения стремления объединения нации в одном государстве всегда представляла угрозу европейскому равновесию и служила поводом для идеологического высокомерия. Состояние немецкой демократии никогда не было внутренним делом од-

² Ср.: *Gregor Schöllingen*. Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Von den Anfängen bis zur Gegenwart; C.H. Beck: München, 1999. S. 224–228.

³ Согласно меткому определению Даниэля Верне: *Daniel Vernet*. Kluge Ausschöpfung begrenzter Souveränität. Die Europa-Politik der rot-grünen Koalition. — *Internationale Politik*. № 11/1999. S. 11–18.

них немцев. Оно играло важную роль в том, способствует ли страна, расположенная “в сердце Европы”, как forse tranquille (фактор спокойствия (фр.). — Прим. перев.) стабильности системы государств, или как очаг беспорядков она дестабилизирует европейское окружение. Свободно-демократический порядок внутри страны был в XX веке важным условием интеграции Германии в европейско-атлантические структуры, которые положили конец переменным циклам гегемонии и равновесия. Связь между внутренним и внешним балансом осуществляется и в обратном направлении: у Германии соседей больше, чем у любого другого государства Европы; ее внутренняя стабильность особым образом зависит от стабильности ее европейского окружения.

Германский вопрос в XIX и XX столетиях

В воздушном царстве грез

До того как Германия в 1871 году стала национальным государством, она существовала в основном в качестве некой культурной идеи, которая, однако, не мешала править государям, но соперничала с духом гражданского космополитизма. После Венского конгресса образовалась рыхлая ассоциация из тридцати девяти суверенных государств и городов центральной Европы под названием “Германский союз”, или по-французски les Allemandes, с недопустимым в немецком языке суффиксом множественного числа. В Бундестаге, единственном совместном конституционном органе, председательствовал тогда австрийский король, а голоса были распределены так, чтобы исключить господство сверхдержав Австрии и Пруссии над остальными государствами. Короли Дании, Англии и Нидерландов были такими же членами союза, как и немецкие князья в Шлезвиге, Ганновере и Люксембурге. Заметим, что на Венском конгрессе Пруссия именовалась также “Славянской королевской империей”.

Таким образом, Германия существовала лишь в “воздушном царстве грез”, как саркастически заметил Генрих Гейне в 1844

году. Немцы черпали свои идеи из заоблачных высот абстракции. Отец немецкого идеализма Иммануил Кант был одним из самых выдающихся или — как сказали бы некоторые — самым выдающимся философом европейского Просвещения. Но его побочные сыны и внуки, *maitres penseurs* — Фихте, Гегель и Маркс создали материал, на основе которого возникли идеологические и тоталитарные учения XX века.

Заложенное Иоганном Готфридом Гердером, современником Канта, культурно-этническое понимание нации соответствовало республиканскому национализму якобинцев и в тот момент еще ничем себя не запятало. Национализм, вооруженный этой идеей, воодушевлял и будоражил многие народы в этнически расщепленной восточной Европе, прежде всего — в монархии Габсбургов. Консервативный австрийский поэт Франц Грильпарцер (как уже отмечалось в начале этой книги) очень точно подметил взрывоопасный характер таких тенденций. В 1848 году он предсказывал с мрачным сарказмом: “Путь современного человечества начинается с гуманизма, проходит через национализм и заканчивается зверством”.

Либералы одними из первых поставили под свои черно-красно-золотые знамена идею создания свободного германского государства. Но им хотелось получить всё сразу, потому они и потерпели поражение в 1849 году. Когда в 1848 году началась революция, многие из них сделали ставку на партию “великой Германии”. Другими словами, согласно их идее, Германия включала в себя все немецкоязычные территории монархии Габсбургов, а также области Тироль, Триест, Богемию и Моравию, в которых по-немецки не говорили. Вариант “малой Германии” не устраивал католиков на юге и западе, поскольку он представлял немецким протестантам севера и востока существенное культурно-политическое преимущество в объединенной Германии. Но приверженцы великогерманской идеи мало задумывались над тем, что такая огромная концентрация власти нарушит равновесие сил на континенте и встретит решительное сопротивление со стороны других европейских держав.

В отличие от либеральных идеалистов 1848/49 годов консервативный “белый революционер”⁴ Бисмарк стремился к малогерманскому решению с расчетом на прусское правление.

⁴ См.: *Henry Kissinger. The White Revolutionary: Reflections on Bismarck. — Daedalus. Vol. XCVII, № 3 (Summer 1968). P. 888–924.*

Частично путь к этому был расчищен, так как после “германской войны” и Пражского мира в 1866 году “Германский союз” закончил свое существование. Согласно этому договору Австрия уже не принадлежала к (пусть даже и некрепкой) ассоциации германских государств. Позже к северу от Майна образовался “Северо-германский Союз” из двадцати двух мелких и средних государств, которые в политическом, военном и экономическом отношении были полностью подчинены Пруссии.

Три большие проблемы, составляющие суть германского вопроса — о чем говорилось выше, — могут стать хорошим руководством при изучении чрезвычайно сложной истории Германии XX века. Германская империя (1871–1918) и Веймарская республика (1919–1933) лишь частично решили германский вопрос. “Третий рейх” неизмеримым образом усложнил все проблемы. Раздельное существование Германии в течение всего периода “холодной войны” (1945/49–1990) породило иллюзию, что германский вопрос исчез с политической повестки дня. Парадоксально, но именно это дало возможность найти долгосрочное решение проблемы.

От Германской империи к “третьему рейху”

1. Германская империя (1871–1918)

Национальная идентичность. Германия Бисмарка была национальным государством, но оно, по восприятию того времени, не включало в себя важную часть германского народа — австрийцев. Не удалась и интеграция национальных меньшинств — поляков и датчан. Оппозиция в лице немецко-французской провинции Эльзас-Лотарингия оставалась непримиримой. Через пятнадцать лет после основания империи, в 1886 году, Ницше с тяжелым вздохом сделал свое знаменитое заключение, которое мы упоминали выше: немцы, более чем другие народы, сами для себя “непостижимы — они ускользают от определения и уже этим приводят в отчаяние французов. Для немцев характерно то, что у них вопрос “Что есть немецкое?” никогда не исчезнет”⁵.

Свободная демократия. Германская империя существовала как союз германских князей, скрепленный прусским ору-

⁵ *Jenseits von Gut und Böse*. Ч. 8, 244.

жием и патриотическим энтузиазмом гражданских масс. Это была конституционная монархия, не парламентская. Однако в ней, по сравнению с другими европейскими странами, присутствовали и вполне прогрессивные демократические черты: всеобщее и равное избирательное право для мужчин и образцово-показательные законы социального обеспечения от 1880 года.

Европейское равновесие. Европейские державы опасались, что появление германо-прусской империи нарушит стабильность общеевропейской системы. Бисмарк знал это; его мучил “*cauchemar des coalitions*” — объединений, направленных против Германии. Поэтому он стремился заверить европейское окружение в том, что великогерманская иллюзия рассеялась и немецкий национализм “насытился”. Но ситуация оставалась лабильной. Чтобы установить равновесие, требовался такой руководитель государства, который был бы способен к умному самоограничению, обладал бы достаточной ловкостью и мог бы себя проявить “честным посредником” между державами. Ничем этим последователи Бисмарка не обладали. “Беспокойная империя” Вильгельма II всё больше оказывалась в изоляции — с разрушительными последствиями для Германии и Европы.

2. Веймарская республика (1919–1933)

Национальная идентичность. Германский ирредентизм получил в это время дополнительную пищу. То, что во времена Бисмарка было результатом умного самоограничения, *expressis verbis* (совершенно определено) находилось под запретом держав-победительниц в первой мировой войне: прежде всего присоединение Австрии, которая после распада мультиэтнической дунайской монархии объявила себя “Немецкой Австрией” и в свободном волеизъявлении стремилась объединиться с новой немецкой республикой. Запрету подлежало и присоединение немецкоязычных судетских областей, которые отошли к новой чехословацкой республике. Кроме того, часть территории отошла к Польше, а Эльзас-Лотарингия вернулась к Франции.

“После 1918 года, — отмечает Генрих Аугуст Винклер, — почти *все* политические силы Германии прониклись великогерманским духом, от крайних левых до крайних правых; наиболее активными были социал-демократы, считавшие себя

наследниками революционных идей 1848 года и того времени, когда национальные лозунги одновременно были “левыми” лозунгами; гораздо меньшую активность проявляли прусские и протестантские сторонники Немецкой национальной народной партии, приверженцы молодого “правого” национализма времен Бисмарка”⁶. В Австрии за объединение выступали тоже преимущественно социалисты, а точнее, их предводитель Отто Бауэр, — в связке с антикатолическим и антисемитским движением “пангерманистов” на правом краю политического спектра.

Свободная демократия. Республика 1919 года была свободно-демократическим конституционным государством. Руководство осуществляла так называемая Веймарская коалиция, состоящая из социал-демократов, католической партии “Центра” и либералов. Веймарская республика возникла под знаком военного поражения и погибла, прежде всего, оттого, что слишком долго не было демократов, способных ее активно поддерживать, и уже затем оттого, что с самого начала в ней было слишком много внутренних раздоров.

Европейское равновесие. В отличие от “полугегемонистского” характера кайзеровской Германии, Веймарская республика нарушала стабильность общеевропейской системы не своей силой, а своей внутренней слабостью. После эпизодов, близких к гражданской войне, и до момента распада, совпавшего с мировой экономической депрессией, ей для консолидации выдался короткий срок — с 1924 по 1928 год. Выдающаяся фигура тех лет — министр иностранных дел Густав Штресман. В период его деятельности был подписан Локарнский договор (1925); он узаконил неприкосновенность западной германской границы и разрешил напряженную ситуацию в германо-французских отношениях. В 1926 году Германия была принята в Лигу наций. После германо-советского договора о дружбе и нейтралитете (1926) Германия — в очередной раз после Рапалльского договора 1922 года — использовала СССР в качестве противовеса Франции и Англии. До конца “холодной войны” Рапалльский договор нарицательно использовался для осуждения германской политики “шатания” между Востоком и Западом.

⁶ *Heinrich August Winkler. Der lange Weg nach Westen. C.H. Beck: München, 2000. Band II, S. 645.*

Трагедию первой германской демократии составляло то противоречие, что, с одной стороны, ее внутренние государственные интересы ориентировались на парламентский строй Запада, в то время как внешнеполитические интересы требовали ревизии государственных границ — по крайней мере, их восточной части. Но что это значило? Внешнеполитические интересы “были направлены против таких держав, как Англия и Франция, поскольку они выступали гарантами ненавистного Версальского договора, но вместе с тем это были державы, чьи политические ценности должны были стать достоянием нового государства”⁷.

3. Национал-социалистская диктатура (1933–1945)

“Третий рейх”⁸ не принес решения германского вопроса, напротив, он его деформировал и раздул до “великогерманских” размеров.

Национальная идентичность. Присоединение Австрии и аннексия принадлежащих Чехословакии судетских земель в 1938 году претворили в жизнь заветную великогерманскую мечту. Но учение о превосходстве “арийской” расы, краеугольном камне нацистской идеологии, переступило все границы (как в переносном, так и прямом смысле слова). Безумие “великогерманского рейха” вышло за пределы германской общности (*das Völkische*)⁹; оно узаконило преступную логику порабощения и истребления народов. Внутри “третьего рейха” расистская интерпретация национальной идентичности привела к дискриминации, бесправию, изгнанию и истреблению немецких евреев.

⁷ Klaus Hildebrand. *Das vergangene Reich. Deutsche Außenpolitik von Bismark bis Hitler.* Deutsche Verlags-Anstalt: Stuttgart, 1995. S. 890.

⁸ Название “третий рейх” должно стоять в кавычках, поскольку это не хронологическое, а произвольное обозначение, придуманное национал-социалистами и наделенное ими псевдорелигиозным смыслом. Поводом для этого стало апокалиптическое видение “тысячелетнего царства” в Откровении Иоанна, которое в свою очередь соотносится с “четвертым царством” пророка Даниила. В Германии понятие “рейх” по-прежнему несет в себе религиозные коннотации, сопоставимые разве что с мифом Москвы как “третьего Рима”, наследницы Византии.

⁹ Слово “*völkisch*” можно было бы перевести нейтральным “этнический”, если бы оно — как излюбленный термин национал-социалистов — не имело сегодня отчетливо расистской окраски.

Свободная демократия. “Третий рейх” был тоталитарной системой, которая пыталась легитимировать себя, используя, в частности, квазиплебисцитарное одобрение народных масс, а также первоначальные успехи в борьбе против безработицы и стремление пересмотреть Версальский договор. Так называемое “окончательное решение еврейского вопроса”, то есть систематическое истребление шести миллионов европейских евреев на фронтах (и за линией фронта) второй мировой войны однозначно доказывает, что национал-социализм не был лишь немецким вариантом европейского фашизма в период между войнами¹⁰.

Европейское равновесие. Известный дьявольский договор, заключенный между Гитлером и Сталиным в 1939 году, подготовил почву для последующих грубых нарушений государственной независимости и территориальной целостности Польши, балтийских государств, Финляндии и Румынии. Позже правительство Федеративной Республики Германии неоднократно заявляло, что пакт Гитлера и Сталина с его дополнительными соглашениями не имеет законной силы. Этот договор ни в коем случае не может оправдывать дальнейшую, нарушающую все международные права, политику Германии и Советского Союза¹¹.

“Последней борьбой за гегемонию” в новейшей европейской истории была названа захватническая и опустошительная война Гитлера в широко известном произведении Людвиг Дехио “Равновесие или гегемония”¹², впервые опубликованном в 1948 году. По крайней мере на Западе после этой войны появилась неевропейская морская держава — Соединенные Штаты Америки, — которая взяла на себя роль гаранта европейского равновесия вопреки экспансионистским устремлениям Советского Союза. Как объект “прав и обязан-

¹⁰ До сих пор этот — оправдывающий национал-социализм — тезис пользуется популярностью у некоторых левых. Скрытый смысл его состоит в том, что фашизм есть высшая форма капитализма. Ср.: *Ulrike Ackermann. Sündenfall der Intellektuellen. Ein deutsch-französischer Streit von 1945 bis heute. Klett-Kotta 2000, Seiten 120 ff, 220 ff.*

¹¹ См., например, правительственное послание федерального канцлера Г. Коля по случаю 50-й годовщины со дня начала второй мировой войны (1 сентября 1989 года). *Bulletin der Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung. Nr. 84/1989. S. 733—740.*

¹² В новом издании Клауса Хильдебранда, с дополненным послесловием. *Manesse Verlag: Zürich, 1996. S. 341 ff.*

ностей четырех держав относительно Германии как целого и Берлина” Германская империя юридически продолжала существовать “внутри границ по состоянию на 31 декабря 1937 года”¹³, но фактически она исчезла с географической карты мира. В Random House Dictionary of the English Language позже было написано, что Германия — это “a former country in central Europe” (“существовавшая прежде страна в Центральной Европе”).

От раздела к единству

После религиозного раскола в XVI веке и распада Священной Римской империи в начале XIX века год 1945 стал важнейшей вехой в новейшей германской истории, гораздо более важной, чем переход от кайзеровской Германии к Веймарской республике в 1918/19 годах или падение Берлинской стены и воссоединение Германии в 1989/90 годах.

Великогерманская мечта окончательно была дезавуирована. Немцы и австрийцы отдельно друг от друга начали формировать свое собственное национальное сознание. В основных чертах этот процесс завершился к маю 1955 года — когда три западные державы предоставили Федеративной Республике Германии суверенитет (с определенными ограничениями) и когда был подписан государственный договор между Австрией и четырьмя державами-победительницами. Сегодня немцы и австрийцы вполне естественно воспринимают себя как две разные нации, которые — если прибегнуть к каламбуру — “разделены общим языком”. Однако если память о совместном прошлом у них постепенно стирается, то в остальных странах Европы она, безусловно, остается. Такой урок должна была извлечь германская внешняя политика на рубеже 1991/92 годов, когда немцы и австрийцы настаивали на скорейшем международном признании независимости Словении и Хорватии. Из Парижа и Лондона эхом последовал на это обеспокоенный вопрос, не имеет ли здесь место тевтонский рецидив состояния до 1914 года. Летом 2000 года министр иностранных дел Йошка Фишер, обосновывая участие ФРГ в санкциях четырнадцати стран-участниц ЕС против

¹³ Таким образом, это определение вычеркивает все результаты захватнической политики национал-социализма.

Австрии, выдвинул, в частности, следующий примечательный аргумент: позиция германского правительства отличается от позиции Франции своим отношением к Йоргу Хайдеру (как отдаленному потомку пангерманистов); его немедленно стали рассматривать как внутригерманскую проблему “на основании той истории, какая была. И от этого, во имя германских интересов, мы должны себя уберечь”¹⁴.

В конце второй мировой войны и позже миллионы немцев бежали или были изгнаны с территорий восточнее Одера и Нейсе, судетских земель и различных областей южной Европы. Потоки беженцев устремились в американскую, британскую, французскую и — небольшой процент — советскую оккупационные зоны. Как бы цинично это ни звучало, но: направленные против немцев “этнические чистки” в восточной части Центральной Европы, в Южной и Юго-Восточной Европе способствовали тому, что сегодня уже нет проблемы несоответствия границ немецкого государства и немецкого народа. Обращаясь к прошлому, Вилли Брандт как-то справедливо заметил: одной из величайших заслуг Конрада Аденауэра является то, что ФРГ смогла мирно интегрировать почти двенадцать миллионов человек¹⁵ и таким образом предотвратить вероятность возникновения реваншистского заряда. Существенный вклад в этот процесс внесли также руководители объединений беженцев. В 1900 году Германская империя владела площадью в 541 000 кв. км; в 2000 году территория ФРГ составляет 357 000 кв. км. Если сравнивать это с состоянием до первой мировой войны, то территория сократилась на 34 процента, а по сравнению с состоянием до второй мировой войны — на 24 процента (см. карту Германии в XX веке).

До начала восточной политики Брандта в 1969/70 году между всеми демократическими партиями Западной Германии существовало как минимум устное соглашение о том, что вопрос германо-польской границы и статуса северной половины Восточной Пруссии на территории Советского Союза (ныне Калининградской области) остается открытым не только в юридическом, но и политическом смысле. Но эта позиция постепенно стала утрачивать свое влияние.

¹⁴ Из телеинтервью на канале ZDF, 30 июля 2000 года.

¹⁵ Ср.: *Timothy Garton Ash. In Europe's Name. Random House: New York, 1993. P. 227.*

Германия в XX веке

1900



1937



2000



Весной 1990 года, когда идею восстановления государственных границ Германии до 1937 года поддерживали лишь единицы, Гельмут Коль поставил в тупик последних приверженцев этой политической цели следующим риторическим вопросом: смогут ли они взять на себя ответственность и затормозить на неопределенное время процесс объединения ФРГ, ГДР и Берлина; поскольку именно таковы были бы последствия, если бы парламенты и правительства ФРГ и ГДР не заверили со всей ясностью, что общегерманский суверен подтвердит неприкосновенность границ по Одру — Нейсе.

После второй мировой войны вопрос исключительно немецкой вины никем всерьез не оспаривался. Прежде всего для преступления века — Холокоста — нет никакого оправдания, извинения или рационального объяснения. И тем не менее в 1945 году державы-победительницы вели себя по отношению к побежденной Германии в определенной степени великодушнее, чем в 1918-м. Бывший военный противник не был, к примеру, обременен непосильными репарационными платежами; более того, план Маршалла пошел на пользу и немцам (только западным). Возможно, при этом имели место как гуманный альтруизм, так и стремление не повторять психологических ошибок Версаля. Но решающую роль, безусловно, сыграла заинтересованность держав-победительниц в немцах как будущих союзниках в начинающейся “холодной войне”.

Осенью 1945 года, через несколько месяцев после освобождения из Дахау, Йозеф Рован написал свое знаменитое эссе, в котором он следующим образом сформулировал эпохальную задачу победившей Франции: “Благодаря усилиям наций Германия превращена сегодня в кровавую язву в сердце Европы. Судьба завтрашней Германии в такой же степени будет зависеть от наших усилий”¹⁶. Германо-французское примирение означало конец противостояния, которое уже само по себе было частью германского вопроса. Когда сегодня французские туристы стоят перед Бранденбургскими воротами в Берлине и смотрят на железный крест с прусским орлом на квадриге, вряд ли кто-то помнит, что это символ победы над Наполеоном в 1814 году; и тем более никто не задумается над тем, что

¹⁶ L'Allemagne de nos merites. — “Esprit”, № 115 (1 octobre 1945). P. 529–540.

главной предпосылкой возникновения в начале XIX века немецкого национализма было противостояние французскому национализму. Однако сегодня в Аахене, Майнце и Саарбрюккене не испытывают беспокойства из-за того, что французы определяют географическое положение своего немецкого соседа как “*outr-Rhin*” (“по другую сторону Рейна”).

Немцы западных оккупационных зон — в будущей ФРГ — добровольно приняли предложение об интеграции в западно-атлантические структуры, в то время как немцы в советской оккупационной зоне — впоследствии ГДР — были вынуждены под давлением войти в систему Сталина. Эта фундаментальная асимметрия сохранялась до конца “холодной войны”. Позиция ФРГ эвфемистически проявлялась в риторике (как правило, с антиамериканской направленностью) о соблюдении одинаковой дистанции между Востоком и Западом.

По сравнению с Веймарской республикой в молодой ФРГ произошло примечательное перераспределение ролей: “Умеренные левые стали отстаивать национальные интересы, умеренные правые сделали ставку на политику супранациональной интеграции”¹⁷. Христианским демократам удалось добиться исторического достижения — ментально подвести немецких граждан к Западу и отучить их думать об особом культурно-политическом статусе Германии между западной и восточной цивилизациями. Социал-демократы указали немецким рабочим путь к просвещенному патриотизму, который проходил между красной Сциллой интернационализма и коричневой Харибдой германской общности.

А что осталось от “германского вопроса”?

Европейское равновесие. Ни одно из германских государств — ни ФРГ, ни ГДР — не достигло “критической массы”. Они были частью систем, которые, вооружившись до зубов, противостояли друг другу на внутригерманской демаркационной линии. Оба правительства считались наиболее лояльными союзниками ведущей в каждом случае сверхдержавы, то есть Соединенных Штатов Америки и Советского Союза. Но отношение ФРГ к европейскому *status quo* было двойственным: она хотела сохранить его потому, что он гарантировал свободу западным немцам, и хотела его реформировать потому, что он подавлял свободу восточных немцев. Что касалось ее двусторонних отношений с Москвой, то здесь она бы-

¹⁷ H. A. Winkler. Op cit. (см. прим. 7. С. 651).

ла обречена на судьбу жены Цезаря: быть вне подозрений¹⁸ — в первую очередь, не допускать подозрений в новом “Рапалло”.

В экономическом и демографическом аспектах ФРГ была более влиятельна, чем Франция и Великобритания. Но при этом у нее отсутствовали отличительные признаки сверхдержавы (атомное оружие, постоянное место в Совете Безопасности). Присутствие в Берлине четырех держав ежедневно напоминало, что до полного суверенитета ей не хватает очень важного компонента. ФРГ, согласно расхожему определению, была “экономическим гигантом и политическим карликом”.

Значительную часть своей энергии она сконцентрировала на строительстве объединенной Европы. Мотивацией для этого послужила смесь идей идеализма и реализма. Европейская интеграция ФРГ (а со временем и всей Германии) наряду с членством в организации Североатлантического договора закрепила бы за ней право занимать свое место в политической культуре западных демократий. Это всегда было — как сказал Гельмут Коль в своем первом правительственном заявлении от 1982 года — “главным пунктом государственных интересов Германии”. Кроме этого, чрезвычайно важным было стремление преодолеть немецкий “*cauchemar des coalitions*” при помощи стабильного супранационального порядка и одновременно избавить соседей от их *cauchemar de l’unification allemande* (кошмара германского объединения).

Свободная демократия. Вопрос о соотношении демократии и национального государства в эти годы не ставился, так как ни ФРГ, ни ГДР не были национальными государствами. Конституция ФРГ соответствовала конституциям других западных демократий, и ее политический порядок — вопреки всем пессимистическим прогнозам — проявил высокую устойчивость по отношению к болезням политического экстремизма. Невозможно представить более яркого контраста “беспокойной империи” Вильгельма II неустойчивой обстановке Веймарского периода (14 лет) или даже бесправию “третьего рейха” (12 лет): канцлер Аденауэр находился у власти приблизительно столько же, сколько просуществовала Веймарская республика, а Коль даже еще дольше (16 лет). Народ, страдавший в первой половине XX века от избытка нестабильности, стал теперь символом “стабильности”.

¹⁸ Ср. *Timothy Garton Ash. The Uses of Adversity. Granta Books: Cambridge, 1989. P. 65.*

Национальная идентичность. Поскольку ни ФРГ, ни ГДР не были национальными государствами, им пришлось заново искать свою идентичность.

После того как Федеральный Конституционный суд подтвердил “теорию идентификации”, ФРГ в вопросе *правопреемственности* стала считать себя продолжением германской империи. Под этим понималась и официально выраженная готовность взять на себя историческую ответственность за преступления “третьего рейха”. Более того, до конца 60-х годов ФРГ претендовала на роль монопольного представителя всей Германии (имплицитно и ГДР) на внешнеполитической арене.

Хотя восточная политика правительства Брандта признавала европейский *status quo*, ФРГ, тем не менее, придерживалась тезиса: существует только *одно* общегерманское государственное гражданство. Однако этот юридический принцип постепенно перестал соответствовать мироощущению западных немцев. Среди них — по крайней мере, среди выросших после 1945 года граждан — в конце концов преобладающим стало “постнациональное” самовосприятие. Об этом свидетельствовали их заявления: они чувствуют себя больше европейцами, чем немцами. Важным критерием западнонемецкой идентификации стала западногерманская марка. Именно она символизировала стабильность и экономический успех второй немецкой демократии.

ГДР на первых порах также пыталась утвердить свою общегерманскую легитимность в качестве наследницы — как она выражалась — “прогрессивных” элементов прусских традиций, но в последние годы ограничилась идеологическим определением — “социалистической альтернативы капиталистической ФРГ”¹⁹. Ее мифом происхождения было “антифашистское сопротивление”.

Объединенная Германия

Постепенно, однако, стало создаваться впечатление, что германский вопрос решился сам собой. Конец советскому господству по восточную сторону “железного занавеса” не представлялся возможным, и большинство немцев, казалось бы,

¹⁹ Это заявление было сделано главным идеологом восточнонемецких коммунистов Отто Рейнгольдом во время его выступления по радио DDR II 19 августа 1989 года.

уже примирились с разделом Германии. Во всяком случае, для многих западных немцев падение Стены в 1989 году и воссоединение в 1990 году стало полной неожиданностью. Для начала им нужно было привыкнуть к мысли, что “постнациональный” период прошел и ФРГ за одну ночь превратилась в национальное государство. Безусловно, до так называемого внутреннего единства Германии — то есть культурного, экономического и социального сближения обеих частей страны — еще далеко. Современное состояние соответствует грубой формуле “одно государство — два общества”. Но через десять лет после восстановления государственного единства можно рискнуть сделать вывод, что германский вопрос решен.

Национальная идентичность. После того как общегерманский суверен признал западную границу Польши и подтвердил принадлежность к России северной части Восточной Пруссии, было окончательно установлено тождество между границами немецкого государства и границами немецкого народа. В наши дни уже нет резкого противоречия между *nationalité* (национальностью) и *citoyenneté* (гражданством), как это было во время раздела, когда действовала формула “одна нация, два государства”. Это дает начало новому самовосприятию, в котором вместо культурно-этнического подхода определяющим становится понятие республики — с соответствующими перспективами для иммиграционной политики.

Свободная демократия. Традиция конституционно-правовых норм “старой” ФРГ продолжена. Об этом свидетельствуют проявления антиэкстремистских рефлексов в германском обществе, пусть даже на востоке они сейчас не так ярко выражены, как на западе.

Европейское равновесие. Отношение ФРГ к европейскому *status quo* перестало быть двойственным — Германия ничего не хочет менять, а, напротив, стремится сохранить европейский порядок. С тех пор как ФРГ прочно утвердилась в системе ЕС, проблема германского превосходства перестала быть актуальной. Соперничество внутри Союза благодаря созданию совместных институтов приобрело спокойные и цивилизованные черты. У Германии нет как прав, так и заинтересованности обзаводиться собственным атомным оружием, и перспектива занять постоянное место в Совете Безопасности в настоящий момент довольно туманна. Германо-французское примирение устранило один из самых опасных факторов европейской нестабильности; это стоит взять на замет-

ку всем, кто сегодня жалуется на недостаток динамики в отношениях по обе стороны Рейна.

Без сомнения, Германия — это часть Запада, она уже не обречена на судьбу жены Цезаря. Молодые демократии, расположенные между ФРГ и Российской Федерацией, также стремятся присоединиться к Западу. Даже если Германия вновь захочет принять позицию колебаний между Западом и Востоком, ей нужно будет учесть следующий факт: Россия уже не тот партнер, с которым ФРГ могла бы действительно сотрудничать в ущерб западным — или восточноевропейским — интересам. Германские отношения с Польшей сегодня хороши как никогда за последние двести пятьдесят лет. Они построены на основе равноправия, воспоминаний о совместном освобождении от советского диктата и больше не обременены спорными вопросами относительно границ. Поддержка ФРГ политики расширения НАТО и ЕС на Восток свидетельствует о том, что мечта об особой роли немцев в *Центральной Европе* осталась в прошлом: цель германской внешней политики не гегемония Берлина, а Брюссельское сотрудничество. К тому же представители элиты на востоке Европы не говорят уже только на немецком и французском, а главным образом по-английски.

Впрочем, Германия 2000 года — это стареющее, сокращающееся и самодостаточное общество, которое не хочет рисковать и уже не мечтает о новых горизонтах (если не считать летний отпуск на Мальорке). Германия 1900-го, напротив, была молодым, растущим и жаждущим великих начинаний обществом. Возможно, на соседей Германии — как и на самих немцев — это сравнение подействует успокоительно. Или нам следует задуматься о том, что Германия постепенно утрачивает динамику и способность к инновациям?

Историки по-прежнему спорят, можно ли период с 1806 по 1990 год в истории Германии обозначить как “особый путь”. В пользу этой позиции говорит тот аргумент, что немцы — в отличие от англичан и французов — не совершали революций. Но есть и другая точка зрения. Так, правозащитник Йоахим Гаук, один из известнейших правозащитников в бывшей ГДР, полагает²⁰, что “восточные немцы внесли в нашу историю нечто редкое и безусловно ценное: люди в Лейпци-

²⁰ Из интервью, проведенного автором. См. “Rheinischer Merkur”, vom 1. Oktober 1999. S. 3f.

ге, Ростоке и других городах преодолели свой страх и с успехом боролись за свободу, равенство и демократию. Они для всех немцев добыли входной билет в круг тех наций, у которых есть собственная традиция революций во имя свободы. Немцы теперь могут разговаривать с англичанами, голландцами, французами и американцами более уверенно, чем до 1989 года. Это подарок, который мы, восточные немцы, преподнесли нации”.

Гаук, конечно, знал, что пациент может отказаться от предписанной ему терапии: “До тех пор, пока немцам более удобной будет мысль о том, что наша нация способна только на поражения, пока мы видим себя только как нацию преступников, мы не поймем, каким ценным для нашего коллективного сознания был подарок от восточных немцев. И если нам не удастся внести позитивный опыт в наше самовосприятие, то горе нам!”

Сентябрь 2000

Осенью 1999 года, спустя десять лет после падения Берлинской стены, в ФРГ вышла в свет книга Михаила Горбачева, посвященная германскому единству — его предыстории, событиях 1989/90 годов и их последствиях. В Германии Горбачев до сих пор является одним из самых популярных иностранных политиков. Многие считают, что в процессе воссоединения Германии Горбачев сыграл даже более важную роль, чем президент США Джордж Буш (старший).

Михаил Горбачев и германское единство

Первая часть книги — занимающая более четверти текста — рассказывает о событиях, приведших к разделу Германии после второй мировой войны. О себе самом Горбачев говорит, что он никогда не являлся противником германского единства. Он лишь считал, что ответ на германский вопрос должна дать “история”.

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС придерживается ортодоксально-советской точки зрения, утверждающей, что раздел, по сути, инициировали три западные державы — и совсем не случайными, а преднамеренными действиями. При этом он время от времени прибегает к штампам былой кремлевской пропаганды (“правлящие круги США”) и марксистского детерминизма (неизбежная “логика истории”).

Поэтому неудивительно, что Горбачев критикует западные державы и Аденауэра, которые отклонили сталинские ноты весной 1952 года: по его мнению, судить о характере намерений СССР и “проверить искренность идей” Сталина можно было, “лишь согласившись с ними и попытавшись осуществить их на деле. Этого сделано не было”.

Горбачев косвенным образом допускает, что сталинские попытки расширить “сферу влияния социализма” должны были насторожить Запад. Но этой экспансии, пишет он, противостояли бы геополитические интересы Советского Союза, заключающиеся в том, чтобы “иметь в Европе дружественно настроенную, нейтральную Германию, которая уравновесила бы игру противоположных сил на континенте и обеспе-

чивала СССР своего рода прикрытие на тот случай, если бы партнеры в войне превратились в соперников, тем более в противников”.

Во второй части книги Горбачев представляет свое собственное видение процесса воссоединения. Начало этому положили визиты в Москву Вайцзеккера (в мае 1987) и Коля (в октябре 1988). Довольно много места отводится описаниям того, как зарождалось его личное теплое отношение к Колю. Впечатляюще новых фактов в этих описаниях нет. Но интерес представляют те аспекты, которые Горбачев особенно подчеркивает:

— В основном можно выделить три главных действующих лица: самого Горбачева, президента США Буша (с представителем — госсекретарем Бейкером) и Коля (с представителем — министром иностранных дел Геншером). Стратегическое решение Коля после падения Стены полностью делать ставку на поддержку Буша оказалось более чем правильным: советская сторона не могла использовать противодействие Тэтчер и Миттерана для того, чтобы затянуть процесс воссоединения или улучшить свои позиции в переговорах.

— Расширение НАТО на Восток Горбачев, не скрывая гонимости, называет нарушением обещания, которое американцы и немцы неоднократно ему давали во время обсуждения вопроса членства в НАТО объединенной Германии. “Не произойдет распространения юрисдикции и военного присутствия НАТО ни на дюйм в восточном направлении”, — так заверял его госсекретарь Бейкер в феврале 1990 года. И Коля вскоре после этого сказал ему: “Мы считаем, что НАТО не должно расширять сферу действия”.

— Горбачев решительно отвергает заявления о том, что Советский Союз дал свое согласие на воссоединение только при условии неприкосновенности имущества, экспроприированного за период с 1945 по 1949 годы в советской оккупационной зоне. Это “абсурд”, говорит он. “Все претензии на этот счет я категорически отвожу”. В действительности, как он пишет, речь идет о требовании правительства ГДР, которое Кремль по просьбе председателя Совета Министров Модрова хоть и поддерживал, но никогда не выдвигал в качестве “непременного условия”.

— Третья часть книги — ширококомасштабное послесловие — содержит размышления о путях Германии, Советского Союза и Европы после 3 октября 1990 года. Горбачев се-

тует на то, что различные факторы разрушили общеевропейский процесс, придали ему “деформированный, асимметричный характер”. К этим факторам он относит

— намеренный (как он это видит) развал Советского Союза Ельциным;

— распад Югославии, причиной которого стал (как он это видит) чрезмерно поощряемый Германией “этнический сепаратизм” словенцев и хорватов, а также

— расширение НАТО на Восток и “акт прямой агрессии” в Косове.

Однако, несмотря на всю критику, книга является свидетельством глубокого расположения к немцам, а также проявлением особой симпатии и уважения к Гельмуту Колю. И прежде всего она является сознательной попыткой оправдать собственную политику в вопросе воссоединения в глазах русских националистов, “которые считают: надо было с них (*немцев*) “содрать семь шкур”. Я такой подход отвергаю. Он был бы и аморальным, и просто глупым”.

Сентябрь 1999 / март 2001

Тема этой статьи — возникновение Программы из десяти пунктов, представленной Колем 28 ноября 1989 года. В ней нашли отражение события, которые происходили в боннском Ведомстве федерального канцлера в момент решающей фазы германской и европейской политики. Читателю предоставляется возможность проследить, как вопросы внутривнутриполитического характера могут способствовать изменению курса внешней политики и как взаимосвязаны политическое решение и его изображение, реальная и символическая политика в условиях демократии, оснащенной электронными средствами массовой информации. В статье рассматривается последняя редакция доклада, прочитанного 4 ноября 1999 года на международном совещании экспертов по ГДР в Европейской Академии в Отценхаузене.

О Программе из десяти пунктов

1. Источники и главные действующие лица

О появлении Программы из десяти пунктов уже много сказано и написано. Но я полагаю, что смогу добавить к этой теме несколько новых деталей, до сих пор не нашедших места в печати. Это касается прежде всего роли Гельмута Коля, благодаря которому начался весь процесс.

Во время работы над статьей я опирался на следующие источники: документы из моего личного архива¹, свои воспоминания, а также беседы с моим бывшим коллегой Норбертом Приллем, впоследствии прочитавшим этот текст и подтвердившим достоверность описанных событий.

¹ Сюда относятся (1) мои записи, сделанные в ходе обсуждения, которое проводилось 24 ноября 1989 года под председательством Хорста Тельчика; (2) проект речи, представленный федеральному канцлеру Колю во время его пребывания в Людвигсхафене 25/26 ноября (с написанными от руки поправками Коля и тремя дополнительными листами, напечатанными фрау Ханнелоре Коль на портативной печатной машинке — они помещены в конце статьи в качестве Приложения); (3) записи, сделанные мною 29 ноября 1989 года, по поводу работы над программой в период между 24 и 26 ноября 1989 года, в которой я принимал участие; (4) копия записки Клауса Готто.

Прилль, опытный юрист по государственному и международному праву, в свое время в Ведомстве федерального канцлера руководил Отделом 52 (Коммуникация и работа с общественностью; политическое планирование; пресс-бюро), куда входил и возглавляемый мною сектор спичрайтеров (№ 521: Участие в работе с общественностью федерального канцлера). Отдел 52 формально относился к Пятому управлению, которым руководил Эдуард Аккерман, но фактически этот отдел, за исключением пресс-бюро, работал непосредственно на канцлера². Таким образом, можно определить и перспективу моего взгляда при описании этих событий: это был так называемый кабинет мыслителей и писателей, “чердак поэтов и философов”, как с добродушной иронией называл нас Коль.

На “чердаке”, помимо Норберта Прилля и меня, пребывали еще дипломат Мартин Ханц в должности референта и политолог Герберт Мюллер в качестве внештатного сотрудника. Ханц, освободившийся от дипломатической миссии в Токио, примкнул к нашей команде и мог сразу окунуться в кипящий водоворот истории.

Команда по подготовке и планированию выступлений была в области отношений между ФРГ и ГДР своего рода концептуальным противовесом “Рабочему штабу политики разделенной Германии”, который в основном работал для шефа Ведомства канцлера и которому Коль, в силу самых разных причин, не совсем доверял. Из-за этого в отношениях существовала определенная напряженность; особенно остро это ощущалось при подготовке ежегодного сообщения о “положении нации в разделенной Германии”³, с которым канцлер выступал в Бундестаге.

Для Коля было очень важно, чтобы текст об отношениях между ГДР и ФРГ разрабатывался “его” кабинетом мыслителей, при этом дополнительно он постоянно (с 1982 по

² О функциях команды по подготовке и планированию выступлений для канцлера Коля см.: *Michael Mertes. Führen, koordinieren, Strippen ziehen: Das Kanzleramt als Kanzlers Amt. In: Karl-Rudolf Korte/ Gerhard Herscher (изд.). Darstellungspolitik oder Entscheidungspolitik? Über den Wandel von Politikstilen in westlichen Demokratien. München, 2000 (“Berichte und Studien der Hanns-Seidel-Stiftung e.V”). Т. 81). S. 70–73.*

³ В качестве напоминания: Коль сразу же после вступления в должность ввел дополнение “в разделенной Германии”, в то время как сообщения канцлера Шмидта о положении нации всё в большей мере сводились к сообщениям о (экономическом) положении ФРГ.

1987 год) консультировался у профессоров Михаэля Штюмера и Вернера Вайденфельда. В результате участие Рабочего штаба политики разделенной Германии ограничивалось лишь политикой ГДР, где в основном речь шла о том, как прогресс в отношениях между ГДР и ФРГ облегчает возможность “человеческого общения”.

Внутренняя жизнь учреждений всегда бывает отмечена атмосферой интриг и соперничества. Не было исключением и Ведомство федерального канцлера, там, пожалуй, — из-за особой близости к власти — ситуация была более напряженной. Но как бы то ни было, нам необычайно повезло в том, что начальником внешнеполитического Управления был тогда Хорст Тельчик (формально отвечавший и за работу Штаба политики разделенной Германии, который, разумеется, был в прямом подчинении у шефа Ведомства канцлера).

Тельчик, в 70-х годах сам писавший в огромном количестве тексты для Гельмута Коля, прекрасно знал все радости и тяготы этого ремесла и общался с нами, молодыми коллегами, исключительно по-товарищески. Часто бывало, что он вставал на нашу сторону, когда его собственные сотрудники возмущались, что мы, “всезнайки” (каждый из которых, разумеется, обладал собственным суждением в вопросах внешней политики), слишком глубоко вторгались в их так тщательно оберегаемые владения. Впрочем, эти вторжения всякий раз происходили по настоящему требованию канцлера, которому дипломатический жаргон казался слишком напыщенным и во многом чрезмерно профессиональным.

Те волнующие дни осени 1989 года были для нашей команды пусть напряженным, но вместе с тем и особенно прекрасным временем: почти каждое выступление канцлера сопровождало изменению политического курса с последующим воздействием на внешний мир. А это мечта каждого спичрайтера, которому в основном приходится корпеть над приветственными посланиями по случаю более или менее важного юбилея.

2. О возникновении Программы

Прежде чем перейти к деталям, я хотел бы кратко очертить тот внутривнутриполитический контекст, в котором следует рассматривать Программу из десяти пунктов.

После падения Берлинской стены в боннском Ведомстве канцлера царил атмосфера, в которой — так мне, во всяком случае, напоминает — смешались радостное возбуждение и чувство глубокой неуверенности при мысли о дальнейшем ходе событий. Новый председатель Совета Министров ГДР Ханс Модров в правительственном заявлении от 17 ноября предложил идею “договорного сообщества”, которому следует выйти “далеко за рамки Договора об основах отношений между ГДР и ФРГ, равно как и всех ранее заключенных договоров и соглашений между обоими государствами”. Хотя за этими словами ничего конкретного не было, именно в этом — хотел он этого или нет — заключалась сила предложения Модрова. Зато общественность получила пищу для фантазий, а правительство Коля выглядело на этом фоне недееспособным и бездейным. Наиболее болезненной была реакция в Ведомстве канцлера, так как мы уже готовились к выборам в Бундестаг в конце 1990 — начале 1991 года.

Оскар Лафонтен, красноречивый премьер-министр из Саксонии, имел прекрасные шансы стать кандидатом на пост канцлера. Во многих отношениях он олицетворял мировоззрение ФРГ в ее тосканскую осень, когда для большинства работающих избирателей защита окружающей среды была куда более важной проблемой, чем снижение уровня безработицы. Лафонтен обслуживал не только “левые” ожидания. Безошибочное популистское чутье подсказало ему, как затронуть и “правые” струны: после громких предостережений об опасности со стороны немецких переселенцев, опустошающих государственные кассы социального страхования⁴, он приобрел поддержку возрастающего большинства избирателей правоэкстремистской ориентации.

Западнонемецкий шовинизм благосостояния в самый короткий срок распространился и на переселенцев из ГДР. И затем это случилось: в то время как в ФРГ число сочувствующих выходцам из ГДР упало с 59 процентов до 42⁵, Лафонтен во время своей кампании, направленной против переселенцев, набрал очки для убедительной победы СДПГ во время выборов в саарландский парламент 28 января 1990 года.

⁴ Например, он заявлял, что этим людям нельзя “предоставлять доступ к кассам социального страхования ФРГ” — “Die Welt” от 27 ноября 1989 года.

⁵ См.: Allensbacher Jahrbuch der Demoskopie 1984–1992, München/Allensbach, 1993. S. 425.

В период реорганизации правительства в конце апреля 1989 года⁶ и с уходом в отставку с поста Генерального секретаря ХДС Хайнера Гайслера Коль преодолел тяжелейший кризис за всё время своего правления, но затем сумел вновь укрепить свою власть. Тем не менее опросы показывали, что коалиция по-прежнему не находит поддержки у большинства избирателей.

Появление в составе федерального правительства Тео Вайгеля, переход предыдущего руководителя ХСС Фридриха Циммермана из влиятельного Министерства внутренних дел в самостоятельное Министерство транспорта и перевод бундесминистра Ханса (“Джонни”) Кляйна из Министерства экономического сотрудничества на руководящий пост в Ведомство печати и информации — все это, как никогда прежде, связало ХСС строгой кабинетной дисциплиной.

Новым руководителем Ведомства федерального канцлера назначили Рудольфа Зайтерса; его предшественник Вольфганг Шойбле (занимавший этот пост с 1984 года) принял руководство Министерством внутренних дел. Хотя сфера ответственности за оперативную политику разделенной Германии осталась при этом без изменений, перевес в вопросе осведомленности в сторону Коля, безусловно, стал более явным.

Выступая 27 апреля с правительственным заявлением, в котором он представлял рабочую программу нового кабинета, Коль предложил довольно смелое по тем временам решение внутригерманских отношений, которое, впрочем, осталось незамеченным для большинства присутствующих: “Разрушение многолетней ржавчины в Европе дает нам новый повод надеяться на единство нашей Отчизны”⁷. Убедительное подтверждение тому, что Коль был более восприимчив к “winds of change”, чем все остальные представители политического класса Западной Германии.

Беспокойство вызывала СвДП. Ее ведущие представители пытались использовать изменившуюся ситуацию для того, чтобы легитимно приукрасить свой имидж. Дружеские знаки Ханса-Дитриха Геншера, адресованные Лафонтену, усилили недоверие в ХДС относительно намерений своего либерального союзника на предстоящий парламентский срок. Это подозрение было вполне обоснованным, так как СвДП, следуя стратегическому принципу, могла переметнуться на сторону предполагаемого более сильного партнера.

⁶ См.: Bulletin 36/1989. S. 309.

⁷ См.: Bulletin 40/1989. S. 362.

Четверг, 23 ноября 1989 года

В четверг, 23 ноября, Норберт Приль и я по просьбе Коля прибыли в его загородный дом. Там должно было состояться обсуждение на тему: “как нам улучшить работу с общественностью”. В соответствии с этой повесткой были собраны следующие участники совещания.

Федеральное Ведомство печати представляли руководитель Джонни Кляйн (который одновременно олицетворял участие ХСС и, соответственно, “вовлеченность” этой партии) и руководитель отдела внутренней прессы Вольфганг Бергсдорф. Коль пригласил также Вольфганга Гибовски в качестве консультанта от исследовательской группы по вопросам выборов.

От Ведомства федерального канцлера принимали участие его глава Рудольф Зайтерс, руководитель внешнеполитического управления Эдуард Аккерман (обладавший к тому же широкой компетентностью в сфере работы с общественностью), Хорст Тельчик, Бальдур Вагнер (руководитель Управления по вопросам социальной политики), Штефан Айзель (заместитель начальника бюро канцлера, до этого продолжительное время сотрудничавший в секторе спичрайтеров) и, как было сказано, Норберт Приль и я.

Великие дела начинаются с малых. Так было и 23 ноября. Как мне помнится, в загородном доме поначалу преобладала атмосфера беспомощности и досады. Коль был недоволен отчетом представителей Ведомства печати. Работа федерального правительства с общественностью ведется на уровне игры в первом дивизионе, сетовал он, с такой тактикой невозможно победить команду высшей лиги. С одной стороны, критика была правильной, но с другой — не совсем справедливой, так как нельзя формировать общественное мнение при помощи только брошюр и газетной рекламы — классического инструментария правительственного PR.

Оживление наступило после предложения Тельчика: он посоветовал канцлеру воспользоваться предстоящим во вторник 28 ноября выступлением в парламенте, чтобы сделать решительное заявление. Если ему при удобном случае удастся не только поддержать идею Модрова о договорном сообществе, но и развить ее, то таким образом он вернет себе лидерство в формировании общественного мнения в области отношений между ГДР и ФРГ. Эту идею поддержали Приль, Ай-

зель и я, в то время как министр по вопросам оперативной политики в разделенной Германии Зайтерс воздержался.

Затем мы стали свидетелями короткого разговора между Колем и Тельчиком. Двамя днями раньше Тельчик в Бонне беседовал с Николаем Португаловым. Португалов, в частности, сказал, что поддержка конфедерации между ГДР и ФРГ со стороны Советского Союза на первых порах представляется ему возможной. Очевидно, эта тема еще до совещания в загородном доме обсуждалась между канцлером и его консультантом по вопросам внешней политики.

Коль сомневался, стоит ли поднимать идею союза двух немецких государств во время его выступления 28 ноября:

— конфедерация, по сути, означает, сказал он, продолжение состояния двоегосударственности, и напомнил, что еще в середине 50-х годов подобное предложение высказывал Вальтер Ульбрихт; до середины 60-х годов этот план выдвигала СЕПГ;

— поэтому нужно четко заявить, что конфедерация возможна только между странами со схожими государственными, экономическими и общественными системами;

— в заключение Коль подчеркнул следующее: в случае, если он примет идею конфедерации, ни у кого не должно возникнуть сомнений, что речь идет только о промежуточной стадии на пути к воссоединению.

Прильль заметил, что Колю следует пока говорить только о “конфедеративных структурах” — с той целью, чтобы предупредить неправильные ассоциации и продемонстрировать открытость государственно-правового процесса. Коль не дал однозначного ответа, но поручил Прильлю, Тельчику и мне обсудить это на следующий день — он же затем в спокойной обстановке обдумает наше предложение.

Так возник костяк Программы из десяти пунктов, представляющий собой трехэтапный переход от “договорного общества” через “конфедеративные структуры” к “федерации”, то есть государственному единству, который был сформулирован в пунктах 4, 5 и 10.

Я спросил Коля, как он смотрит на то, чтобы в качестве промежуточной стадии на пути к германскому единству принять во внимание возможность участия ГДР в ЕС. В июле 1989 года в газете “Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ) Прильль и я опубликовали статью⁸, в которой развивали эту тему, нашед-

⁸ “Видение Европы” (19 июля 1989 года), см. Часть IV этой книги.

шую тогда одобрение Коля. Но сейчас, четыре месяца спустя, Коль категорически отверг эту мысль: некоторые страны-участницы ЕС слишком горячо поддержали бы эту идею — только по той причине, что всё более возрастающая вероятность воссоединения может тогда оказаться излишеством.

При этом он одобрил другую мысль нашей статьи в FAZ: ЕС должен проявить готовность принимать в свой состав новых членов из бывшего социалистического лагеря стран Восточной и Центральной Европы.

Пятница, 24, и суббота, 25 ноября 1989 года

В течение двух следующих дней мы собирались в конференц-зале главы Ведомства канцлера для совещаний в “узком кругу”; председательствовал Тельчик. Наши консультации и работа продолжались с 10.30 до 19 часов в пятницу и с 9 до 15 часов в субботу. В пятницу мы занимались в основном обсуждением (brainstorming), субботу посвятили корректировке и редактированию отдельных фрагментов текста (некоторые из них были переписаны ночью). Работа по составлению текста была поделена между Управлением 2 Тельчика и Отделом 52 Прилля.

Из Управления Тельчика в работе принимали участие “внешние политики” Петер Хартман и Уве Кестнер (кроме субботы), а также “политики разделенной Германии” Клаус-Юрген Дуйсберг и Рюдигер Касс; в начале заседания в пятницу в течение часа присутствовал руководитель сектора “Европа” в Ведомстве канцлера Йоахим Биттерлих; кабинет мыслителей представляли Норберт Приль и я; кроме того, постоянно привлекался Мартин Ханц — для того, чтобы заниматься поиском сведений или отдавать соответствующие распоряжения, и, помимо этого, он вместе с Гербертом Мюллером составлял полный текст из отдельных фрагментов. Окончательной редакцией текста занимался в субботу сектор спичрайтеров.

Перед началом работы Тельчик изложил свое представление о структуре речи.

Сначала Коль должен рассказать о развитии тех событий, которые привели к современному состоянию, и подчеркнуть активное участие своего правительства. Поскольку результатом этого процесса стало то, “что [существующий] *status quo* [сейчас] уже не отвечает требованиям времени” и таким образом появляется возможность для создания такого евро-

пейского мирного порядка, при котором бы “учитывались интересы всех наций, включая нашу”. В этой связи канцлеру нужно процитировать соответствующий отрывок из сообщения Хармеля в 1967 году⁹ и подчеркнуть, что страны-участницы НАТО в прошлом всегда однозначно объявляли себя сторонниками мирного германского единства.

Основную часть выступления должна занимать программа, состоящая из нескольких пунктов. Количество пунктов мы установили после долгих споров. Сначала получилось “некруглое” число, которое показалось нам недостаточно запоминающимся. Число должно быть “магическим” — и в конце концов мы выбрали десять. Десять пунктов — кто здесь не вспомнит о Десяти заповедях? В целом всё выглядело благородно. Ничто не казалось случайным, а, напротив, создавало впечатление насущной необходимости.

Основная часть программы — трехэтапный период от “договорного сообщества” через “конфедеративные структуры” к германскому единству — вызвала ожесточенные споры с Рабочим штабом политики разделенной Германии. Дуйсберг категорически возражал против опубликования подобных замыслов, в то время как Тельчик, Приль и я настаивали на том, чтобы канцлер обязательно с этим познакомился. Последнее слово всё равно остается за канцлером.

В самом начале обсуждения Тельчик подчеркнул, что идею “конфедеративных структур” желательно сформулировать вне контекста отношений в области внешней политики и безопасности — но это было единственным ограничением.

Приль подтвердил инициативу, высказанную им накануне вечером: вместо слова “конфедерация” использовать понятие “конфедеративные структуры”, и предложил уточнить, что может под этим подразумеваться:

- совместный правительственный комитет для постоянных консультаций и согласования политических вопросов;
- совместные отраслевые комитеты и
- совместный парламентский орган.

⁹ Имеется в виду ставший впоследствии известным как сообщение Хармеля пункт 8 приложения к заключительному коммюнике заседания министров НАТО 13–14 декабря 1967 года в Брюсселе. О значении сообщения Хармеля в политике отношений между ГДР и ФРГ Тельчик рассказывает в статье “Mit Mut und klarem Kurs zur Einheit”, опубликованной в “Berliner Morgenpost” 28 августа 1999 года (www.berliner-morgenpost.de/bm/misc/100Jahre/hun_ep_wende_story01.html).

Он утверждал, что и в прошлом подобные институты использовались в качестве промежуточной стадии для создания федерации.

Встретившись в субботу, мы обнаружили, что это уточнение не было внесено в проект программы, сделанный Рабочим штабом политики разделенной Германии. Тельчик, Приль и я решительно настаивали на том, чтобы это место было включено в проект. Наконец, Тельчик предложил проголосовать: “Пять человек “за”, два “против” — Вы проиграли, господин Дуйсберг!” — таким решением он завершил центральный вопрос повестки дня.

После обеда Мартин Ханц и я составили окончательный вариант текста и со специальным курьером отправили его канцлеру в Людвигсхафен.

Понедельник, 27 ноября 1989 года

В понедельник утром я получил текст назад с поручением Коля внести некоторые поправки. Канцлер в течение уик-энда достаточно интенсивно работал над текстом и дал указание переписать центральные абзацы. Фрау Коля напечатала на портативной печатной машинке три дополнительных листа с исправлениями¹⁰. (Позже я узнал, что Коля консультировался по телефону с двумя компетентными партийными коллегами. Видимо, ему не давали покоя сомнения по поводу политической своевременности и конституционно-правовой обоснованности “конфедеративных структур” в качестве промежуточной стадии. Премьер-министр Гессена Вальтер Вальман полностью поддержал идею конфедеративных структур¹¹; юрист по государственному праву Руперт Шольц не высказал “никаких серьезных сомнений”¹².)

Замечания Коля не затрагивали содержания нашего текста, но значительно усилили убедительный характер речи. Мне хотелось бы особенно подчеркнуть три основных момента.

Во-первых: в пункте 5 речь шла только о “конфедеративных структурах”. Словосочетание “германское единство”, как своего рода торжественное завершение, используется

¹⁰ См. Приложение.

¹¹ Вальман подтвердил это по телефону 5 декабря 1999 года. См. также: *Klaus Dreher. Helmut Kohl. Leben mit Macht. Stuttgart, 1988 (DVA). S. 475, 651.*

¹² См.: *Там же.*

только в пункте 10. Коль же хотел уже в пункте 5 подвести к этой мысли, используя понятие “федеративные структуры”. Я предполагаю, что причиной тому не в последнюю очередь было его беспокойство по поводу “конфедерации”: не должно возникнуть ни малейших сомнений в том, что “конфедеративные структуры” для него — лишь промежуточная стадия.

Во-вторых: Коль использовал слова “воссоединенная” (в пункте 5) и “воссоединение” (в пункте 10). Сегодня это кажется мелочью, но тогда — психологически — было решительным скачком вперед. Так, во всяком случае, воспринял это я с моим опытом руководителя сектора спичрайтеров. Прежде, выступая с речами о политике в разделенной Германии, канцлер предпочитал говорить о “единстве всей нации”, “общей свободе для всех немцев” или о “праве всех немцев на самоопределение”. Эти понятия достаточно четко выражали его конечную цель в отношениях между ФРГ и ГДР. Одновременно это давало простор самым разнообразным представлениям о мирном германском единстве, включая минимум — так называемый “австрийский вариант” для ГДР.

Именно теперь Коль решил использовать слово “воссоединение”, которое было в ходу в 50-х и 60-х годах, но со времен социально-либеральной политики в восточных отношениях стало считаться предосудительным. Коль недвусмысленным образом давал понять, что хочет добиться национального-политического максимума — государственного единства Германии. В понедельник, во второй половине дня, он, если можно так сказать, бросил в бой еще одного человека. Меня вызвали к нему в кабинет. Там сидел премьер-министр Нижней Саксонии Эрнст Альбрехт, которому он как раз показывал рукопись. Альбрехт считал, что после слова “воссоединение” для абсолютной ясности необходимо внести уточнение: целью канцлера является “восстановление государственного единства Германии”¹³. Коль с удовольствием принял это предложение.

¹³ См.: *Ernst Albrecht. Erinnerungen — Erkenntnisse — Entscheidungen.* Göttingen, 1999 (Barton`sche Verlagsbuchhandlung). S. 131 и далее. В этой книге Альбрехт, в числе прочего, упоминает о факте, который выпал у меня из памяти (он убедительно подтвердил это в телефонном разговоре 22 декабря 1999 года): что он убедил Коля в начале пункта 5 расшифровать понятие “федерация” дополнением “то есть федеративное устройство”.

В-третьих: в пункте 7 Коль просил более четко отметить, что Европейское Сообщество должно быть открытым для молодых демократических государств Центральной и Восточной Европы, в частности — для демократической ГДР (что еще вечером 23 ноября он отвергал). Благодаря этим дополнениям баланс между пунктами 7 (ЕС) и 8 (СБСЕ) значительно сместился в сторону пункта 7. Германский бундесканцлер сформулировал для ЕС следующую задачу: “стать основой подлинно всеобъемлющего европейского объединения” и беречь, утверждать и развивать “самобытность всех европейцев”.

На мой взгляд, эти написанные от руки пометки свидетельствуют о том, что Коль был первым среди глав европейских государств и правительств, кто серьезно размышлял о расширении ЕС на Восток — и это в тот момент, когда из всех стран Варшавского Договора только в Польше правительство возглавлял не коммунист. (Кстати, здесь также обнаружилось, что ему больше импонирует конкретная, ориентированная на Запад политика ЕС, чем неопределенная, объединяющая Восток и Запад политика СБСЕ; последняя была любимым хобби министра иностранных дел Геншера, которому Коль с легкостью потакал — видимо, из тех соображений, что это всё равно не причинит никакого вреда.) Одновременно Коль хотел показать, что он тоже мыслит “по-общеевропейски”, но при этом делает ставку на брюссельского скакуна.

Интересная деталь: в том месте, где упоминается о предполагаемых проблемах, связанных с созданием “совместных структур безопасности”, Коль от руки вписывает следующее замечание: одним из наиболее серьезных вопросов является “воля всех немцев к единству нации, то есть воля к воссоединению Германии”. Связав в одном контексте тему безопасности и тему воссоединения, Коль — скорее всего неосознанно, но и не случайно — соотнес это с заявлением Хармеля, в котором говорилось, что германский вопрос составляет “ядро напряженных отношений в современной Европе”. Так имплицитно была перевернута считавшаяся с 70-х годов неопровержимой формула политики разрядки, согласно которой угроза миру исходит не от тех, кто несет ответственность за раздел Германии, а от тех, кто выступает за конец раздела. После некоторых раздумий мы все-таки решили поставить это замечание в начало пункта 10, поскольку оно предельно четко формулировало политическую цель Коля.

3. Воздействие Программы

О воздействии Программы из десяти пунктов было так много сказано, что я хотел бы ограничиться лишь теми замечаниями, которые я сделал как один из создателей документа.

Первое. В рамках нашей работы с общественностью было очень важно, чтобы этот документ продавался как “программа”, а не как “план”, что ошибочно делалось и делается до сих пор.

В плане всегда есть временные ограничения, которые могут превратить его в макулатуру в самый неожиданный момент в самой непредсказуемой ситуации. Программа, напротив, ограничивается определением цели, а также средств и принципов, которых следует придерживаться на пути к достижению этой цели. Решающее преимущество программы заключается, на наш взгляд, в ее большей гибкости.

К тому же мы хотели избежать ассоциаций с прежними германскими планами. Коль постоянно отклонял требования “активной политики воссоединения”, обосновывая это тем, что германского единства нельзя добиться при помощи блиц-плана; гораздо важнее развивать рамочные условия, в которых бы естественным образом возникли предпосылки для германского единства. Так, Коль назвал “чистейшим вздором” заявление депутата Бернхарда Фридмана, когда тот в 1987–1988 годах предлагал при помощи уступок в политике разоружения выторговать у Кремля одобрение воссоединения¹⁴. Даже осенью 1989 года Коль отвергал какие-либо блиц-планы.

Решение в пользу “программы” и против “плана” оказалось верным. Сам Коль с 1990 года во многих интервью неоднократно повторял: в конце ноября 1989 года он полагал, что германское единство наступит не ранее, чем завершится формирование европейского внутреннего рынка, то есть

¹⁴ См. по этому вопросу: *Bernhard Friedmann. Einheit statt Raketen — Thesen zur Wiedervereinigung als Sicherheitskonzept.* Herford, 1987. Письмо Коля с благодарностью за пересылку книги, написанное им 25 января 1988 года, было опубликовано 18 февраля 1988 года (вместе с комментарием Фридмана). О подробностях этого разногласия см.: *Wolf-Rüdiger Baumann. Die deutsche Frage aus der Sicht der CDU.* — Dieter Blumenwitz und Gottfried Zieger (изд.), “Die deutsche Frage im Spiegel der Parteien”, Köln, 1989 (Verlag Wissenschaft und Politik). S. 104.

после 31 октября 1992 года. Но события развивались в таком стремительном темпе, что каждый временной корсет или моментально выбрасывался как мусор, или самым невыносимым образом стеснял свободу действий правительства Коля.

Образно говоря, Коля с Программой из десяти пунктов вывел корабль из тихой гавани в бушующий океан. У него была перед глазами цель, в руке хорошо функционирующий компас, однако никто не знал, какие айсберги нам встретятся в пути и сможем ли мы выполнить все маневры, чтобы остаться на плаву. Только два примера.

Коля с самого начала не подвергал сомнению то, что объединенная Германия войдет в состав НАТО. Но в ноябре 1989 года не было ни малейшего повода надеяться, что федеральному правительству удастся при американской поддержке отвоевать у Советского Союза подобную уступку. Между тем мы должны были и хотели коснуться этой темы. Но сделать это надо было так, чтобы лишний раз не провоцировать Кремль и не создавать у наших союзников впечатление, что мы перед алтарем воссоединения готовы пожертвовать НАТО в пользу СБСЕ. Поэтому в пункте 10 мы остановились на расплывчатой формулировке “общие структуры безопасности в Европе”.

Еще 23 ноября 1989 года мы были твердо убеждены в том, что большинство восточных немцев (тогда их еще так *не* называли) хотят большего, чем демократическое обновление ГДР, — они хотят единства. Но до тех пор, пока не существовало официального акта самоопределения — как это произошло в день выборов в Народную палату 18 марта 1990 года, — Коля должен был говорить об этом в форме условного наклонения будущего времени (которой нет в русском языке. — *Прим. перев.*). Так, в начале Программы было сказано: “Мы проявим уважение к любому решению, которое люди в ГДР примут в результате свободного самоопределения”. Это был необычный акт, поскольку за населением ГДР — то есть, согласно определению в Основном законе до 1990 года, частью “немецкого народа” — признавалось собственное право на самоопределение и выход из состава государства.

Второе. Официально речь Коля называлась “Программа из десяти пунктов для преодоления раздела Германии и Европы”, поскольку адресатом была общественность как внутри страны, так и за рубежом: для канцлера “политика Германии

и политика Европы были двумя сторонами одной медали”¹⁵. За границей речь адресовалась всем тем, кому уже начали являться очертания “четвертого рейха”¹⁶. Внутри страны это были прежде всего критики Коля из национально-консервативных кругов. Начиная с 1987 года они всё сильнее упрекали Коля в том, что тот не видит возрастающих противоречий между целями германского воссоединения и европейского единения. Имелись в виду и сторонники национально-нейтральных взглядов по левому краю политического спектра Германии, которые вместе с национально-консервативными партнерами считали, что политика западной интеграции, проводившаяся Аденауэром, — основная причина дальнейшего раздельного существования Германии.

Третье. Несмотря на значительное число вопросов, Программа на большинство слушателей оказала побудительное воздействие. Разумеется, десять пунктов задумывались как “политика изображения”, если мы вспомним, что у истоков стояли размышления об улучшении работы с общественностью. Но нам выпал редкий случай увидеть, как символическая политика и политика принятия решения не просто соприкасались, но были абсолютно тождественны. Слово мгновенно претворялось в дело. Стремительный темп десяти пунктов передавал решимость, четкая структура текста переиграла неизбежную неясность субстанции. И что самое главное: Коль настолько недвусмысленно обозначил своей политической целью восстановление государственного единства Германии, что никто не мог заподозрить его в формальности.

В этом, по моему убеждению, лежит ключ к пониманию огромного воздействия Программы и, как следствие, — жесткой реакции большей части наших союзников. Они в большинстве своем — равно как и многие представители политического класса в ФРГ — считали, что на германском вопросе уже давно поставлен крест, и вот бундесканцлер вновь открывает эту, казалось бы, забытую книгу. (Достаточ-

¹⁵ Впервые эту формулировку, которая неоднократно повторялась им в разных вариантах, он использовал в своей речи от 18 января 1989 года по случаю открытия конгресса ХДС “40 лет ФРГ”. См.: *Helmut Kohl. Der Kurs der CDU. Reden und Beiträge des Bundesvorsitzenden* (изд. Peter Hintze и Gerd Langguth), Stuttgart 1993 (DVA), S. 334. Эта формулировка в духе Аденауэра вышла из-под пера Норберта Прилля.

¹⁶ См.: *Conor Cruise O'Brien. Beware a Reich resurgent.* — “The Time” от 31 декабря 1989 года.

но вспомнить известное предостережение Эгона Бара в начале октября 1989 года: “Ради всего святого, прекратите мечтать и разлагольствовать о единстве”¹⁷.)

Во время наших совещаний 24 и 25 ноября не было и мысли о том, что Колю следует ставить в известность западные державы-победительницы.

За этим скрывалась не только тактическая уловка: начавшаяся шумиха вокруг инициативы Коля помешала бы произвести эффект разорвавшейся бомбы, что испортило бы ожидаемое политическое воздействие.

Существенно и то, что Программа из десяти пунктов полностью соответствовала статье 7 “Договора Германии”¹⁸, заключенного между ФРГ и тремя державами-победительницами. К тому же многочисленные заявления НАТО о праве германского народа на самоопределение — в том числе цитируемое Кодем сообщение Хармеля — давали нашему спокойствию законное обоснование. Но то, что казалось естественным, перестало быть таковым, и наша надежда, что мы сможем дать отпор всем возражениям, только напомнив о прежних заявлениях в поддержке, оказалась слишком оптимистичной.

Тельчик в конце совещания 24 ноября 1989 года сделал следующее заявление: Программа из десяти пунктов полностью продолжает линию Аденауэра, она часть “органического развития”, “не угрожает миру” и “учитывает все [существующие] интересы безопасности”. Возможно, он недооценил ожидаемый шоковый эффект выступления, но в целом был полностью прав. Впрочем, эти формулировки-заклинания необходимы были и для самовнушения — в качестве ободряющего средства, чтобы преодолеть зарождающийся страх перед собственной дерзостью.

Четвертое. Уже спустя короткое время стал очевиден пробел в Программе, о чем мы, впрочем, знали с самого начала: в ней ни слова не было сказано о западной границе Польши. Коль не допускал сомнений в том, что объединенное германское государство признает действительной гра-

¹⁷ “Bild am Sonntag” от 1 октября 1989 года.

¹⁸ В первую очередь абзац 2 этого документа: до окончания действия мирного договора оба государства должны сотрудничать для достижения мирными средствами общей цели: воссоединенной Германии, в которой действует, как в ФРГ, свободно-демократическая Конституция, и которая интегрирована в Европейское Сообщество.

ницу по Одере — Нейсе, но не хотел, учитывая соответствующие решения Федерального Конституционного суда и чувства конкретных электоральных групп, принимать по этому поводу решение в качестве главы правительства западнонемецкой части государства. Несмотря на то что я затрагивал эту тему во время обсуждения 24 ноября, от нее решено было отказаться из-за предсказуемой реакции Коля.

12 декабря Клаус Готто, руководивший в Ведомстве федерального канцлера отделом 52 “общественного и политического анализа”, сделал Колю следующее предложение: парламентский комитет, образованный в качестве конфедеративной структуры, мог бы на основании резолюции Бундестага (от 8 ноября 1989 года) подтвердить западную границу Польши; таким образом, эту тему можно рассматривать как “органическую часть Программы из десяти пунктов”. В несколько измененном виде идея Готто воплотилась в жизнь после того, как Бундестаг и Народная палата 21 июня 1990 года сделали совместное заявление по поводу западной границы Польши, которое затем было нотифицировано обоими немецкими правительствами.

Пятое. Концепцию трехэтапного периода Коль в последний раз публично подтвердил во время выступления в Бремене 20 января 1990 года. То, что германское единство наступит раньше, чем ожидается, становилось всё более и более очевидным. Коль и Модров еще в Дрездене 19/20 декабря договорились, что встретятся 13 февраля в Бонне для проведения переговоров об устройстве “договорного сообщества”. Но из этого уже ничего не могло выйти. Огромный поток переселенцев из ГДР, очевидное нежелание правительства Модрова проводить реформы и перенос выборов в Народную палату на более ранний срок, 18 марта 1990 года, усилили давление с целью идти до конца. После того как Коль предложил создать внутригерманский валютный союз и все восточнонемецкие партии (за исключением, пожалуй, ПДС) приняли решение голосовать за воссоединение в соответствии со статьей 23 Основного закона, философия десяти пунктов вошла в жизнь. Точнее говоря: десять пунктов достигли своей цели.

Шестое. Несколько слов о роли Рабочего штаба политики разделенной Германии в Ведомстве федерального канцлера. По моему представлению, проблема некоторых специалистов заключалась в том, что они находились в ментальной за-

висимости от Договора об основах отношений от 1972 года. Более полутора десятилетий он составлял базис их деятельности. Этот труд, тяжелый и нередко связанный с разочарованием, можно назвать выдающимся; они оказали решающую помощь многим людям, страдавшим от диктатуры СЕПГ и германского раздела. Преамбула Договора об основах отношений поддерживала фундаментальные разногласия между ФРГ и ГДР “по национальному вопросу”. Когда пришло время сломать это “Agreement to disagree” (“Соглашение о разногласиях”), то всем, кто находился за пределами этих ментальных границ, было просто легче: им не надо было прыгать выше своей головы. Но часто и они за деревьями не видели леса — по сравнению с иностранными наблюдателями, которые с расстояния имели лучший обзор. Это очень хорошо описал в 1994 году Вернон Вальтер в книге “Объединение можно было предвидеть”.

Седьмое и последнее: я хотел бы обратить внимание на иронию судьбы — Ханс Модров, дважды невольно вызвавший лавины, в результате оказался ими же погребен. Его предложение о создании “договорного сообщества” стало существенным стимулом для возникновения Программы из десяти пунктов. Его концепция “Германия, единая Отчизна”, представленная им по возвращении из Москвы в восточном Берлине 1 февраля 1990 года, дала толчок широкой активности, побудившей Коля выступить перед общественностью с предложением о едином валютном союзе¹⁹. Но это уже другая история.

Приложение

В приложение вынесены три листа с дополнениями к пунктам 5 (два листа) и 7 (один лист), которые фрау Ханнелоре Коль напечатала на своей портативной печатной машинке 25–26 ноября 1989 года в Людвигсхафене. Орфография оставлена без изменений, пометки Коля, сделанные от руки, выделены курсивом.

¹⁹ Cp. Deutsche Einheit. Sonderedition aus den Akten des Bundeskanzleramtes 1989/90 (Dokumente zur Deutschlandpolitik). München, 1998 (Oldenbourg). S. 749.

Лист 1

Дополнение к стр. 38

Но мы также готовы сделать еще один решающий шаг вперед, а именно — развивать конфедеративные структуры между обоими государствами, чтобы создать затем федерацию. Обязательной предпосылкой для этого являются легитимные демократические правительства в обоих государствах. При этом вскоре *после свободных выборов* можно представить следующие учреждения:

- совместный правительственный комитет для постоянных консультаций и согласования политических вопросов;
- совместные отраслевые комитеты;
- совместный парламентский орган.

До сих пор политика, проводившаяся по отношению к ГДР, была политикой малых шагов, цель которой заключалась в возможности ведения диалога и смягчения для людей последствий раздела. Эта политика в условиях демократии может открыть совершенно новые перспективы. Новые перспективы, которые можно будет развивать от диалога и сотрудничества к формам

Лист 2

Дополнение к стр. 38/2

институционального сотрудничества, например, в *областях политики* инфраструктуры, защиты окружающей среды, транспорта и телекоммуникации. Такие формы институционального сотрудничества могут привести к формам, которые станут началом обширного внутригерманского договорного сообщества.

Подобное договорное сообщество продолжает традицию германской истории. Государственное устройство Германии всегда носило название конфедерации и федерации. Основные этапы германской истории предлагают для этого все условия.

Сегодня никто не знает, как будет и как может выглядеть будущее воссоединенной немецкой нации. Но я уверен, если люди Германии этого хотят, день единства наступит.

Дополнение к стр. 42 //

Процесс восстановления германского единства является общеевропейским делом. Поэтому его следует рассматривать в контексте европейской интеграции. В этой связи Европейское Сообщество должно быть открыто для ГДР и всех остальных государств Центральной и Юго-Восточной Европы. ЕС не должно кончатся на Эльбе, напротив, оно должно оставаться открытым также на Восток. Только в этом смысле оно может стать основой подлинно всеобъемлющего европейского единения, только в этом смысле оно сохраняет, утверждает и развивает самобытность всех европейцев. Эта самобытность зиждется не только на культурном многообразии Европы, но еще и прежде всего на таких основных ценностях, как свобода, демократия, права человека и самоопределение.

Ноябрь 1999/апрель 2000

*Остается ли Германия *raus légal* (страной на бумаге (фр.)), или это уже *raus geél* (реальная страна)? Имеет ли смысл писать о социальной и политической культуре страны, которая, после нескольких десятилетий разделенности, лишь недавно восстановила государственное единство? Не уместнее ли говорить о двух социальных и политических культурах, которые по-прежнему различны и, скорее всего, еще некоторое время останутся различными?*

Политическая и социальная культура Германии: перемены с помощью консенсуса?

Слова и вещи

В словах очень много неясностей. Но только ли в словах — или в реальности тоже? Взять, например, термин *neue Länder* (новые земли), обозначающий пять восточногерманских земель и восточную часть Берлина. Почему “новые”? В конце концов, какая-нибудь восточногерманская *Land* (земля) вроде Саксонии существует как политическая единица на пятьсот лет дольше, чем, скажем, земля Северный Рейн-Вестфалия, возникшая лишь в 1946 году. Саксония — “новая земля” лишь потому, что вошла в Федеративную Республику Германию в 1990 году. Точнее говоря, ее называют новой, потому что так ее воспринимают западные немцы. Однако и большинство восточных немцев тоже используют термин *neue Länder*; несомненно, *neue Länder* звучит менее обидно, чем *ehemalige DDR* (бывшая ГДР), и более вдохновляюще, чем *Beitrittsgebiet* (присоединившаяся область: уродливое, хотя и юридически верное выражение, выдуманное безымянным западногерманским бюрократам).

Возьмем другой пример. Как следует называть прежнюю ФРГ? Большинство называет ее *die alte* (старая); кое-кто — *die frühere Bundesrepublik* (прежняя Федеративная Республика), как если бы она внезапно куда-то исчезла; а третьи предпочитают внешне нейтральный термин *Westdeutschland* (ко-

торый способен обозначать Западную Германию как со строчного, так и с прописного “з”), составляющий пару к Ostdeutschland (восточная или Восточная Германия) для “новых” земель. Идет ли при этом спор лишь о словах?

Можно долго обсуждать и другой вопрос — называть ли то, что произошло 3 октября 1990 года, Wiedervereinigung (воссоединение), Vereinigung (объединение) или Einigung (непереводимый гибрид между “согласием” и “единством”, одобренный небольшой дозой “сплоченности”). Приверженцы Einigung ссылаются на Einigungsvertrag (букв. договор единения. — *Прим. перев.*) от 31 августа 1990 года — официально принятое краткое название для “Договора об установлении германского единства” между Федеративной Республикой и Германской Демократической Республикой. Большинство немецких журналистов и политиков предпочитают Vereinigung (объединение). Тем самым они — осознанно или неосознанно — дают понять, что нынешняя Германия — это не Reich кайзера Вильгельма и не кое-что еще более неприятное. Скрытая в данном термине предпосылка гласит, что история началась в 1949 году, когда были основаны ФРГ и ГДР: так сказать, из ничего, на ничейной земле. В других европейских странах используют слово “воссоединение”. Там считается, что Германия (“существовавшая прежде страна в Центральной Европе”, как ее определял Random House Dictionary of the English Language) вернулась к жизни. Какая Германия? От этого вопроса нельзя спастись, хватаясь за слова¹.

¹ Эмпирические данные (например, результаты опросов), не снабженные особыми ссылками, взяты мной из следующих публикаций: Институт IPOS (Institut für praxisorientierte Sozialforschung), *Jugendliche und Erwachsene in Deutschland* (Mannheim: IPOS, April 1993); European Commission, ed., *Eurobarometer 37* (Brussels: June 1992); *Elisabeth Noelle-Neumann und Renate Köcher* (eds.), *Allensbacher Jahrbuch der Demoskopie 1984—1992* (München, New York, London, Paris: K.G. Saur Verlag, 1993); *Ronald D. Asmus*, *Germany's Geopolitical Maturation*. In: RAND Issue Paper, February 1993; *Ulrich Becker, Horst Becker und Walter Ruhland*, *Zwischen Angst und Aufbruch. Das Lebensgefühl der Deutschen in Ost und West nach der Wiedervereinigung* (Düsseldorf, Wien, New York, Moscow: ECON Verlag, 1992); INFAS Institute, *Deutschland-Politogramm der Woche; Institut für Demoskopie Allensbach*, *Deutschland im Frühjahr 1995. Die Muster wechselseitiger Beeinflussung von Ost- und Westdeutschen* (Allensbach, 1995); общенациональный институт германской экономики, Кёльн; Федеральное статистическое бюро; Федеральное министерство внутренних дел, Бонн; и немецкое бюро Уполномоченного по делам беженцев ООН (UNCHR).

Восток идет на Запад

В чем же тогда состоит реальность? Самый незатейливый ответ дается в рамках концепции, которую можно обозначить как “четвертый рейх”: “По-моему, немцы как нация повреждены в уме. По-моему, им не хватает какого-то гена — правда, не знаю какого”. Акцент здесь делается на словах “как нация” — перед нами отсылка к вечным мифам о “национальном характере”. Согласно второму ответу, объединенная Германия — это старая добрая Федеративная Республика (или “Боннская республика”, как кое-кто теперь ее называет) в увеличенных размерах, выросшая на пять “новых земель”. Теорема “Боннской республики” предполагает, что в сущности всё осталось по-прежнему. Не является ли это фундаментальной ошибкой?

Воссоединение Германии произошло благодаря присоединению “новых” земель к Федеративной Республике. За вычетом мелких исключений это означает, что конституционная, политическая, юридическая и экономическая система западной части страны была мгновенно принята на востоке. Демократическую легитимацию для этой процедуры обеспечили выборы в восточногерманскую *Volkskammer* (Народную палату) 18 марта 1990 года. Подавляющее большинство, 75 процентов, отдало свои голоса партиям, во время предвыборной кампании активно выступавшим за присоединение как путь к государственному единству. Конкурирующие варианты были, соответственно, отвергнуты: с одной стороны, предложение сохранить разделение Германии и строить подлинно демократическую ГДР, и с другой — создать единое немецкое государство с новой конституцией, в которое восток и запад вошли бы на равных. Оба варианта в той или иной степени вдохновлялись мечтами о “третьем пути”, идеями немецкого *Sonderweg* (особого пути) между “капитализмом” и “социализмом”, пацифистского нейтралитета перед лицом так называемой “Америки Рембо” и того, что тогда еще было Советской Россией.

Теорему о “Боннской республике” подкрепляет и тот — банальный, но немаловажный — факт, что три четверти населения Германии живет в ее западной части и что там производит-

² *Martha Gellhorn*. Ohne Mich: Why I shall never return to Germany. KRAUTS! Granta 42 (Winter 1992): 206.

ся большая доля валового национального продукта. Но, в сущности, основа преобладания Запада — доказанное превосходство свободной демократии и открытого общества над централизованными авторитарными системами. Еще до падения Берлинской стены коллективные желания и мечты немцев были направлены в одну сторону — с Востока на Запад. Маршрут семнадцати миллионов восточных немцев после второй мировой войны можно рассматривать как полное невзгод и лишений отклонение с ведущего к модернизации и вестернизации пути, по которому в этот же период шли западные немцы, во многом благодаря дальновидности американцев.

Претензия на то, чтобы идти по столбовой дорожке послевоенной немецкой истории, с самого начала составляла центральный элемент *raison d'état* — смысла существования Федеративной Республики. Как гласит Основной закон 1949 года, западные немцы строят свободную демократию и открытое общество “также и от имени тех немцев, которые не могут участвовать (в этом строительстве)”. Западногерманская гордыня? Лишь в той мере, в какой надменным будет тезис, что свобода выше угнетения; лишь в том случае, если западные немцы хотели поздравить себя с личной заслугой (что многие из них склонны делать сегодня), а восточных немцев упрекнуть в личном провале.

Восточногерманские правители прекрасно понимали, что “пангерманские” претензии Федеративной Республики составляют постоянную угрозу для их собственной легитимности. Тем не менее прежняя Федеративная Республика не была полноценной нацией³. Поэтому столь многие испытывали неодолимую потребность тратить энергию и чернила, решая загадку подлинной (западногерманской) коллективной идентичности. Несмотря на это, никто всерьез не сомневался в том, что западногерманское государство — лучшая политическая форма за всю немецкую историю: “civil, civilian, civilized” [штатское, гражданственное, цивилизованное. — *Прим. перев.*], по выражению Тимоти Гартона Аша. Но и восточногерманскому государству так и не удалось предъявить основу для национальной идентичности. У ГДР оставался единственный *raison d'état* — представлять собой “социалистическую

³ См., например: *Heinrich August Winkler. Nationalismus, Nationalstaat und nationale Frage in Deutschland seit 1945. — Aus Politik und Zeitgeschichte, 27 September 1991. S. 18–21.*

альтернативу ФРГ⁴, по недвусмысленному выражению Отто Рейнхольда, одного из ведущих восточногерманских идеологов. Слова эти прозвучали в августе 1989 года, когда большинство западных немцев по-прежнему верило, что ГДР простоит еще вечность.

Главное культурное достижение Федеративной Республики — то, что западные немцы ощущают себя частью Запада и его политической цивилизации, частью все более тесного сообщества европейских наций. Сегодня европейская интеграция и атлантические связи лежат в основе *raison d'état* немецкого государства. Главная культурная задача сейчас — внедрить это сознание в умы и сердца восточных немцев: западничество по-прежнему многого — хотя и не радикально — сильнее среди западных, нежели среди восточных немцев.

Разумеется, измерить степень вестернизации нельзя с помощью какого-то одного критерия⁵. Никто не назовет Великобританию менее “западной”, нежели Германия, страной на том основании, что англичане испытывают относительно европейской интеграции не такой энтузиазм, как немцы; датчан не станут обвинять в меньшем космополитизме за то, что они, в отличие от немцев, выступают за ограничение прав иммигрантов в Европейском союзе (ЕС)⁶. Следует использовать несколько взаимодополняющих показателей сразу. Сюда должно, скажем, входить приятие или отвержение “запад-

⁴ *Otto Reinhold* in RADIO DDR II, 19 August 1989 (цит. по: DDR-Spiegel Федерального бюро прессы и информации. Бонн, 2 августа 1989, 7).

⁵ Составители опросов редко вставляют в свои вопросы такие понятия, как “Запад” или “западное”. Исключение можно встретить в *IPOS, Jugendliche und Erwachsene in Deutschland*. S. 91: было ли правильно со стороны восточных немцев стремиться к “западному типу политического устройства”? 71 процент молодых немцев ответили, что это было “правильно” (неправильно — 28 процентов). Но самым интересным, хотя и предсказуемым, результатом оказалось то, что одобрение “западного типа политического устройства” выше среди более образованных (73 процента), чем среди менее образованных (62 процента) молодых людей.

⁶ Среди населения ЕС в середине 90-х годов в целом 34 процента одобрили сокращение прав иммигрантов в ЕС (“за расширение” — 17 процентов). Самую сильную поддержку такой позиции оказывают бельгийцы (48 процентов; “за расширение” — 10), затем идут датчане (43 и 5), британцы (41 и 7), немцы (41 и 12), французы (40 и 12), греки (35 и 14 процентов).

ных” ценностей; одобрение или неодобрение демократии и демократического образа жизни; сила или слабость космополитического (постнационального и ксенофильского) мировоззрения; и — не самое маловажное — позитивное или негативное отношение к европейской интеграции и членству в НАТО — или, говоря конкретнее, к Франции и США. Судя по всему, с точки зрения западничества между “правым центром” и “левым центром” разделительную черту провести невозможно: среди членов и сторонников основных политических партий существует широкий прозападный консенсус, которому соответствует столь же отчетливая антизападная озлобленность по краям политического спектра. Тем не менее представляется, что общественные и политические элиты настроены более проевропейски, чем население в целом; христианские демократы⁷ сильнее сочувствуют НАТО и Америке, чем социал-демократы; и постнациональные и ксенофильские чувства сильнее у молодежи, чем у более пожилых людей.

Через месяц после воссоединения 77 процентов на западе и 48 процентов на востоке заявили, что “в целом удовлетворены нашей (так!) политической системой” (“не удовлетворены”: запад 13 процентов, восток — 26 процентов; “затруднились ответить”: запад — 10 процентов, восток — 26). Среди более молодых участников опроса 47 процентов на западе и 68 на востоке согласились с утверждением: “Я горжусь тем, что я немец” (“не горжусь”: запад — 48 процентов, восток — 31); 97 процентов на западе и 83 на востоке сказали, что они дружат или могли бы подружиться со своими сверстниками — не немцами. Что касается отношения к США, то около 75 процентов немцев настроены проамерикански; 55 поддерживают американское военное присутствие на немецкой территории; 51 проценту на западе и 37 на востоке “нравятся американцы” (“затрудняюсь ответить” или “не знаю”: запад 27, восток 40 процентов).

О чем говорят сравнительно высокие цифры “затруднившихся ответить” или “не знающих” в Восточной Германии? Во-первых, они указывают на очевидную нехватку информации. Говоря в политических категориях, эти цифры означают,

⁷ Под “христианскими демократами” здесь и далее я подразумеваю Christlich-Demokratische Union Deutschlands (ХДС) и Christlich-Soziale Union (ХСС). ХСС — это независимая партия, деятельность которой ограничена Баварией, в то время как ХДС действует во всех землях, кроме Баварии. ХДС и ХСС составляют единую фракцию в Бундестаге — федеральном парламенте Германии.

что Запад выиграет, но лишь при условии, что будут сделаны определенные шаги. Следует заниматься политическим образованием в “новых” землях; следует расширить международные контакты восточных немцев, в первую очередь — молодых⁸. Однако уже сейчас есть обнадеживающие признаки того, что начинают рушиться некоторые давние предрассудки, питаемые восточными немцами против США: например, их поддержка американского военного присутствия в Германии выросла с 12 процентов в 1991 году до 24 в 1992 (на западе она выросла с 43 процентов в 1991 до 63 в 1992 году).

Стабильность превыше всего

Все эти данные могли бы дать возможность вздохнуть спокойно, если бы не тот факт, что в молодом поколении не менее 63 процентов на западе и 72 процентов на востоке выступают против Европейского экономического и валютного союза (ЕМС). Проект Европейской валютной системы предусмотренный Маастрихтским договором, был задуман как главный рычаг дальнейшей европейской интеграции. Были проведены опросы, нравятся ли людям идея замены немецкой марки единой европейской валютой — так называемым “экю” (“валюта эсперанто”, по выражению шовинистских критиков). Большинству эта идея не нравилась. Связано это было с центральной чертой немецкой политической культуры: с отчетливым стремлением к стабильности — или, говоря точнее, с отвращением к нестабильности. Многие национальные цели определяются не в позитивных категориях, а в форме тезиса “Это не должно повториться!”, отсылающего к тем заблуждениям, ошибкам и грехам, которые вымостили путь национал-социалистской тирании и, косвенно, коммунистической диктатуре в ГДР. Если бы в Германии имелось что-нибудь вроде гражданской религии, то в центре ее литургии стояло бы не “Верую”, а “Отрицаюсь”. “В современном мире, — писал американский германист в начале 1993 года, — немцы, безусловно, самые горячие сторонники Закона Мерфи, гласящего, что если что-нибудь может сломаться, то оно сломается”.

⁸ В 1992 году 48 процентов молодых людей в Восточной Германии (против 60 процентов их сверстников в Западной Германии) побывали за границей, причем половина из них была только в восточноевропейских странах.

Страх перед нестабильностью выражается в сильной привязанности — почти любви — к немецкой марке, которая превратилась в своего рода национальный символ. Гиперинфляция 1923 года с ее сокрушительными последствиями для социальной и политической стабильности в Германии входит в число исторических травм, которые глубоко запечатлелись в немецком сознании и во многом ответственны за немецкий принцип “первым делом безопасность”. Сразу после конца второй мировой войны Германию поразила вторая гиперинфляция, с которой в 1948 году покончила проведенная в трех западных зонах радикальная денежная реформа. Из “Тризонии”, как тогда называли три западные зоны, возникло политически стабильное общество — прежняя Федеративная Республика. Категорический императив “Нет экспериментам!” стал самым успешным избирательным лозунгом в Западной Германии и резонировал не только с прагматическим духом пятидесятых. Противоположный лозунг — “Нет страху перед экспериментами!”, провозглашенный в 1965–1975 годах или, говоря конкретней, в годы между “студенческими бунтами” 1968-го и нефтяным кризисом 1973-го⁹, царствовал недолго.

Стремление к гармонии

Любовь немцев к максимальной стабильности, подкрепленная успехом прежней Федеративной Республики, во многом объясняет их стремление к максимально широкому социальному и политическому консенсусу. Свою роль в этом играет и традиционная немецкая “тяга к синтезу”, по выражению Ральфа Дарендорфа, хотя и смягченная духом плюралистической состязательности: поиски компромисса сделались центральной стратегией не для того, чтобы избегать конфликтов, а для того, чтобы улаживать их цивилизованным способом. Лишь самый поверхностный наблюдатель усмотрит в этом сохранение традиций кайзера Вильгельма, то есть склонности не выносить сор внутренних конфликтов из национальной избы. Сохраняется иное: память о губительном воздействии, которое оказали кровавые религиозные конфликты и прочие распри на немецкой земле со времен Реформации на способ-

⁹ Ср.: *Karl Dietrich Bracher et al. Republik im Wandel: 1969–1982* (Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1986). S. 285, 288.

ность нации к единству. Это относится и к воспоминаниям о тех периодах, когда центр Европы раздирали интересы великих держав на Востоке и Западе, Севере и Юге.

Что показывает анализ немецкой политической риторики? Прежде всего любовь к понятиям и словам, предполагающим преемственность и гармонию как во внутренних, так и в международных делах: Friede (мир), наряду с производными sozialer Friede (социальный мир) и innerer Friede (внутренний мир) и Friedenspflicht (буквально — “долг мира”, запрет на “дикие” забастовки); Versöhnung (примирение) и Verständigung (взаимопонимание); Normalisierung (нормализация) и Normalität (нормальность); Dialog (диалог) и Ausgleich (равновесие, компромисс); Partnerschaft (партнерство), наряду с производными Sozialpartnerschaft (социальное партнерство) и Sicherheitspartnerschaft (партнерство по безопасности); Augenmaß (чувство пропорций), Vernunft (здравый смысл) и Mitte (буквально середина, что-то вроде английского mainstream); Kontinuität (преемственность), Berechenbarkeit (предсказуемость), Verlässlichkeit (надежность) и Behutsamkeit (смесь осторожности и мягкости, антоним “резкости”); своеобразные, труднопереводимые неологизмы — такие, как konzertierte Aktion¹⁰ (буквально, согласованное действие), Solidarpakt¹¹ (пакт солидарности) и Streitkultur (культура спора; в этом сочетании миролюбивая Kultur нейтрализует неприятный Streit).

Этот “язык гармонии” выражает как модели поведения, так и приоритеты, которые привели к успеху прежней Федеративной Республики и во внутренней политике и в отношениях с соседями и партнерами и с международным сообществом. В нем отражена и немецкая картина мира, в которой нет места саддамам и скинхедам, Могадисио и Сараево, “этниче-

¹⁰ Этот термин придумал Карл Шиллер в бытность министром экономики в правительстве “большой коалиции” христианских и социал-демократов (Кизингер/Брандт), 1966–1969. В рамках “согласованного действия” он собрал представителей профсоюзов, предпринимателей и правительства на “круглый стол коллективного разума”. Шиллеру, в числе других терминов, принадлежит и неологизм “социальная симметрия”.

¹¹ Этот проект, направлявшийся канцлером Гельмутом Коелем, имел целью консенсус между федеральным правительством, землями, предпринимателями и работниками относительно необходимых в связи с воссоединением перемен в экономической, финансовой и социальной политике.

ским чисткам” и фундаменталистскому террору. Многим современным немцам трудно поверить, что существуют проблемы и конфликты, которые нельзя решить с помощью социальной работы и групп поддержки, призывов к здравому смыслу и позитивного социального действия.

Однако из лексикона немецкой политической риторики мы не можем вычеркнуть и слово *Geborgenheit* (укрытость, защищенность; неперебиваемое сочетание убежища и тепла), идеализирующее бытовые условия в бывшей ГДР. Но тюрьма, даже и с хорошим отоплением, не бывает уютным местом.

В начале 1991 года немецкое движение за мир сделало очень тревожное открытие: безусловный пацифизм — вещь негодная; он лишь поощряет агрессивных диктаторов. Решающий урок 1930-х годов — не просто “Война не должна повториться!”, но “Мюнхенское умиротворение не должно повториться!”. Нельзя уничтожить агрессию, просто ей уступая. Это верно и для внутренней политики: серия ксенофобских поджогов, начиная с событий в Хойерсверде осенью 1991 года, научила многих немецких сторонников безоговорочной терпимости, что успешную борьбу против террористического насилия и политического экстремизма нельзя вести без изрядной дозы “закона и порядка”, опирающихся на эффективную систему правоохранительных органов.

Воссоединение не только не ослабило всеобщую тягу немцев к консенсусу, но даже ее усилило. Конфликтность менее популярна среди восточных немцев, чем среди западных, которые за четыре десятилетия свыклись с холодными ветрами экономической и политической конкуренции. 58 процентов опрошенных на востоке совершенно согласны с утверждением “Вместо того чтобы постоянно сражаться друг с другом, политики должны действовать совместно в общем направлении” (*an einem Strang ziehen*); на западе под этими словами подписалось бы всего 39 процентов граждан. Относительно утверждения “Обязанность политиков — давать гражданам чувство *Geborgenheit* (защищенности)” различия еще разительней: с ним согласны 58 процентов на востоке, на западе — 31 процент. Во время забастовки восточногерманских металлургов весной 1993 года тележурналист спросил прохожего, осуждает ли тот забастовку, срежиссированную западногерманскими профсоюзными лидерами. Простодушный рабочий ответил так (цитирую по памяти): “Нет. В конце концов эти начальники (*Vorgesetzte*) лучше, чем прежние (коммунисты)”. Хотел ли

он этим сказать, что верит в профессиональные качества западногерманских профсоюзных лидеров, когда требуется твердость в переговорах с упрямыми предпринимателями? Любители клише сочтут, вероятно, этот ответ очень немецким: непослушание на основе послушания. Действительно, многие западные немцы считают, что в ГДР сохранился старомодный, мелкобуржуазный вид немецкости, им самим уже совершенно чуждый. Однако, если бы им пришлось столкнуться даже с малой частью тех грандиозных перемен, которые, по их мнению, их восточные соотечественники должны сносить безропотно, они сами такой терпеливости не проявили бы, а иные, наверное, и взбунтовались.

Хорошо известно, что выше всего ценится то, чего нет. Механизмы стабильности и консенсуса, преемственности и гармонии (восточногерманской карикатурой на которые служила обеспеченная государством “защищенность”) на “общегерманском” уровне еще не работают. Поэтому неизбежно возникает чувство тревоги, которое проявляется в разрыве между высоким уровнем удовлетворенности собственной личной ситуацией (особенно среди молодых людей¹²) и обеспокоенностью или неуверенностью относительно общенационального положения. В начале 1993 года 47 процентов опрошенных граждан на западе и 44 на востоке сказали, что смотрят с оптимизмом на личные перспективы (“с частичным оптимизмом”: запад — 40, восток — 48; “с пессимизмом”: запад — 4, восток — 8; напротив, лишь 9 процентов на западе и 12 на востоке смотрели с оптимизмом на “политические перспективы” в целом (“с частичным оптимизмом”: запад — 60 процентов, восток — 61; “с пессимизмом”: запад — 20 процентов, восток — 26)¹³. 28 процентов на западе и 32 на востоке уже не радуются воссоединению;

¹² “(Очень) довольны” собственной жизнью: запад 95 процентов, восток — 83; “(очень) недовольны”: запад — 4, восток 16 процентов.

¹³ Ср. также опрос, проведенный Институтом EMNID (n-tv, 4 июля 1993): “скорее оптимистичны” относительно личных перспектив 59 процентов (запад — 59, восток — 57), “скорее пессимистичны” 35 процентов (запад — 35, восток — 39). Экономическая ситуация на западе “очень хорошая” или “хорошая”: 33 процента (запад — 27, восток — 54); “плохая” или “очень плохая”: 59 процентов (запад — 64, восток — 37). Экономическая ситуация на востоке “очень хорошая” или “хорошая”: 18 процентов (запад — 18, восток — 18); “плохая” или “очень плохая”: 76 процентов (запад — 75, восток — 79).

55 процентов на западе и 41 на востоке сказали, что одобряли и одобряют воссоединение¹⁴.

Прежняя Федеративная Республика как оплот всеобщей гармонии — это такой же ностальгический миф, как и сказка о *Geborgenheit* в ГДР. Однако те, кто в ФРГ занимал ответственные — общественные и политические — посты, научились лечить раны, открывавшиеся во время страстных дискуссий по центральным национальным проблемам. Достаточно привести три примера: 1) введение *Soziale Marktwirtschaft* (социальной рыночной экономики), связанное с Людвигом Эрхардом; 2) *Westbindung* (интеграция Федеративной Республики в Северо-атлантический союз), осуществленная Конрадом Аденауэром; и 3) *Ostpolitik* (восточная политика) Вилли Брандта. В двух первых случаях социал-демократы (СДПГ), а в последнем — христианские демократы (ХДС-ХСС) после долгих внутрипартийных дебатов отказались от “ревизионизма” в этих вопросах, то есть решили продолжать политику партии-конкурентки. Любопытно, что единственным крупным исключением стали жаркие споры, потрясшие Федеративную Республику в начале 1980-х годов, когда предполагалось разместить американские ракеты среднего радиуса действия на немецкой территории в соответствии с “двойным решением” НАТО 1979 года. Именно из-за этой проблемы канцлер Гельмут Шмидт утратил поддержку большинства в собственной партии — СДПГ. Пацифистские проблемы в сущности так и не были решены; они просто устарели после событий 1989—1990 годов. Но наследие нерешенной дискуссии всё еще живо. Должна ли Германия, например, готовиться к поддержке военного миротворчества ООН и миротворческих операций? Федеративной Республике, вероятно, пришлось бы столкнуться с этим вопросом даже в том случае, если бы воссоединение не состоялось.

Общественные договоры (Запад)

Противоположность *Geborgenheit* — *Angst* (тревога, страх), одно из тех слов, которые, подобно *Kindergarten* (детский сад), вошли в английский язык. Это ключевое слово для *Teuto-Pessimismus* (тевтонского пессимизма), как Карл Дит-

¹⁴ См.: INFAS Institute. Deutschland-Politogramm der Woche 22 (1993).

рих Брахер окрестил печально известную склонность своих соотечественников кусать себе локти. Но Angst оказывает не только парализующее воздействие; он пробуждает находчивость, высвобождает творческую энергию, становится двигателем перемен. Стабильность не обязательно означает неподвижность; она способна стать и основой для поразительной динамики. Это регулярно происходило в прежней Федеративной Республике — так был выстроен фундамент для нового общественного договора, заключенного в первую очередь в качестве “пакта о выживании”. “Выживание” означало преодоление бедности и социально-экономического хаоса и — для западных немцев — обеспечение защиты от экспансионизма сталинского Советского Союза. Восстановление разрушенной страны было возможно лишь при грандиозных совместных усилиях всех социальных групп; понимание этой проблемы и ее решение имели длительные последствия.

В бывшей “Тризонии” Soziale Marktwirtschaft создал параметры, в рамках которых из первоначального “пакта о выживании” выросло Sozialpartnerschaft между работодателями и рабочими. Это партнерство действительно установило баланс интересов между двумя сторонами. Mitbestimmung (сотрудничество, участие в управлении) фабричных рабочих сыграло здесь первостепенную роль. “Введенная союзниками беспрецедентная социальная инновация, имевшая целью ослабить немецкую тяжелую промышленность посредством профсоюзного контроля”, со временем превратилась в колоссальное благодеяние для западногерманской промышленности: участие рабочих и их профсоюзных представителей в принятии решений в фабричных комиссиях смягчило тяжесть вынужденных простоев и болезненных реформ; они научились разделять ответственность с предпринимателями¹⁵. Friedenspflicht, предусмотренный в законодательстве, равно как и переговоры о зарплате посредством общепромышленного применения свободных коллективных договоров (между ассоциациями предпринимателей и профсоюзами), снизили конфликтность внутри отдельных компаний. Профсоюзы уже не организовывались, как это было в Веймарской республике, соответственно идеологическим или партийным

¹⁵ См.: *Karl Otto Hondrich. Der Deutsche Weg. Von der Heilssuche zum nationalen Interessenausgleich.* — “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 23 Juni 1990.

предпочтениям; стали возможны крупные образования, структурированные по профессиональному признаку и — по крайней мере, номинально — межпартийные.

Сам термин *Soziale Marktwirtschaft* — одна из тех, по выражению Альфреда Мюллера-Армака, “миролюбивых формул”, которыми так богат лексикон немецкой политической риторики. Он описывает такое социальное и экономическое устройство, при котором конкуренция и социальное равновесие гармонично сосуществуют, более того — представляются двумя сторонами одной медали. Схожий подход лег в основу и так называемого *Produktivitätspakt* (пакта о производительности) между работодателями и работниками, где признается тот факт, что увеличение зарплаты и сокращение рабочего дня должны быть так связаны с ростом производительности, чтобы не пострадали цены и конкурентоспособность. Подобные соглашения и создали тот огромный западногерманский пирог, которого очень долго хватало на всех. И этот процесс, хотя иногда и прерывался, в целом казался чем-то самоочевидным и гарантированным. У людей поменялись потребительские привычки, и после *Fresswelle* (волны обжорства) в пятидесятых Федеративную Республику захлестывали одна за другой волны путешествий, секса и тому подобное. Даже для многих вроде бы постматериальных идеалов восьмидесятых требовался довольно-таки тугой кошелек: пресловутое поместье в Тоскане, где западные немцы, устав от цивилизации, учатся проводить уик-энды в буколической тишине за стаканом красного вина, бесплатно никому не предлагалось.

И всё большее число западных немцев начало понимать, что высокий уровень социальной гармонии, который прославил их часть Германии и сделал ее привлекательным местом для безопасных инвестиций, — вещь тоже не бесплатная. Не менее трети немецкого ВВП перераспределяется на социальные нужды и в общественном, и в частном секторе. Разумеется, большую часть счета за социальную гармонию оплачивают налогоплательщики и потребители социального страхования, но немецкие налогоплательщики кажутся намного более благодушными, чем их американские собратья. Мало кто из них захочет устроить налоговый бунт, который мог бы привести к крупным переменам в немецкой системе бесплатной медицины и университетского образования, щедрых пенсий и пособий по безработице.

Более того, даже прекрасное управление индустриальными конфликтами привело к “новому социальному вопросу”¹⁶: те, кто не мог соответствовать растущим требованиям пакта о производительности, требующего эффективности и профессиональной квалификации, выпадали из производства в *soziales Netz* (в приблизительном переводе — социальная лонжа). В отличие, например, от США, здесь не было менее квалифицированной работы за меньшую плату; здесь одна из причин того, почему безработица никогда не снижалась после периодов экономического спада в той же мере, в какой она во время спадов росла.

В пару к первой усложнилась и вторая проблема: как учесть в корпоративном обществе неорганизованные интересы — интересы тех, кто не принадлежит миру производства, например, безработных или стариков¹⁷. Несмотря на заверения в противном, профсоюзы заботятся прежде всего о собственных членах, то есть о работающих. Профсоюзы, хотя и считают себя “прогрессивными”, подобно всем большим организациям, склонны защищать *status quo*. В этих условиях сложилось молчаливое взаимопонимание между работодателями и рабочими (включая, разумеется, и общественный сектор). Частный сектор обычно обвиняет федеральное законодательство за высокий социальный налог, ослабляющий конкурентоспособность немецкой экономики. Например, в 1992 году на каждую марку зарплаты немецкие работодатели должны были платить дополнительно 0,84 марки различных социальных выплат (включая оплату нерабочих дней). Из этой суммы социальных выплат 0,47 марки предписывались общеотраслевыми коллективными договорами или специальными соглашениями внутри конкретных компаний; лишь 0,37 марки предписывались законами.

Другим крупным риском западногерманского консенсуса стало окостенение — постепенная утрата гибкости и динамики. Согласно расхожему мнению, недавние внутренние проблемы Германии вызваны главным образом воссоединением. Но это даже не половина правды. Хотя государствен-

¹⁶ *Heiner Geissler*. Die Neue Soziale Frage. Analysen und Dokumente (Freiburg im Breisgau, Verlag Herder, 1976).

¹⁷ См.: *Ibid.*, 17–20, а также *Ludwig Erhard und Alfred Müller-Armack* (eds.). Soziale Marktwirtschaft: Ordnung der Zukunft (Frankfurt am Main, Berlin, Wien: Verlag Ullstein, 1972). S. 44–46.

ный дефицит и задолженность резко выросли после воссоединения и хотя экспорт немецкого капитала упал ниже импорта капитала в Германию, ее общая финансовая ситуация по-прежнему лучше, чем у большинства крупных индустриальных стран, которым не пришлось преодолевать коммунистическое наследие. Канцлер Коль и другие пытались убедить своих неговорчивых соотечественников, что многие нынешние трудности Германии, если не большинство, вызваны структурными несоответствиями, накопившимися в прежней Федеративной Республике и состоящими, главным образом, в отставании от конкурирующих экономик, которые вышли на новый уровень развития. Эти проблемы возникли не из-за воссоединения, но сделались более наглядными вследствие воссоединения — и вследствие появления у Германии новых конкурентов в восточной части Центральной Европы. Назовем лишь некоторые из этих проблем: у Германии самое короткое удельное машинное время в Европейском Союзе и самая короткая рабочая неделя. Ее педантичная бюрократия печально известна своими чрезмерно долгими разрешительными процедурами. Ее система высшего образования производит самых старых студентов, а ее пенсионная система — самых молодых пенсионеров; многие немцы первые тридцать лет жизни готовятся к работе, а последние двадцать лет — отдыхают от работы.

И происходит это в то время, когда немецкое общество (на западе и востоке) стремительно стареет. Подобная эволюция, вызванная не в последнюю очередь снижением рождаемости, имеет место и в других индустриальных обществах. Но немецкий случай — один из самых драматичных. В конце XIX века отношение людей старше 75 лет к людям моложе 20 лет составляло 1:79. К концу XX века оно составит 1:14; почти 25 процентов будет старше 60 лет. Если сегодня одну пенсию финансируют трое работающих (которые в 1990 году 18,7 процента своего дохода выплачивали в пенсионные фонды), то к 2020 году на одного пенсионера придется один работающий (то есть на пенсионные выплаты уйдет около 35 процентов дохода работающих).

Высказывалось мнение, что помешать такой эволюции можно с помощью управляемой иммиграционной политики. На это возражают, что она в лучшем случае приведет к смещению проблемы: иммигранты тоже стареют. Так это или нет, но нужно признать, что до сих пор у Германии вообще

не было иммиграционной политики — и тем более политики продуманной. Германия, привыкшая видеть в себе скорее эмигрантское, нежели иммигрантское общество, должна теперь понять, что в будущем переселенцы будут скорее правилом, нежели исключением. До сих пор немецкая иммиграционная политика была почти исключительно реактивной (если оставить в стороне “этнических немцев” из бывшего СССР и таких восточноевропейских стран, как Румыния). Но всё большее число немцев начинает понимать, что якобы временный импорт рабочей силы означает импорт людей — мужчин, женщин, детей, которые через какое-то время приживаются в стране и хотят стать ее полноправными гражданами. Лишь с конца 1992 года федеральное законодательство начало всерьез искать разумный средний путь между неуправляемой массовой интеграцией переселенцев¹⁸ и слишком ограничительной системой натурализации. Настоятельно необходим более либеральный подход к натурализации по крайней мере второго и третьего поколения “иностранных”.

Причин для перемен много, и не только в “новых” землях.

Переполненный центр

Если сравнивать христианских и социал-демократов, то придется признать, что немецкую политическую культуру от культуры многих других стран отличает отсутствие членораздельной дихотомии “левые/правые”. Ориентация западногерманской — а теперь, очевидно, “общегерманской” — политики и ее институтов на политический центр соответствует национальному стремлению к социальному консенсусу и гар-

¹⁸ Около 760 000 человек въехали в Германию в 1991 году. В 1992 году въехавших было уже 1 миллион; 230 000 “этнических немцев”, главным образом из бывшего СССР; 440 000 азилантов (из которых, согласно решениям независимых судов, лишь 5 процентов преследовались у себя на родине по политическим, расовым или религиозным причинам); 260 000 беженцев, главным образом из бывшей Югославии; и 10 000 нелегальных иммигрантов. Если учитывать, что эти категории иногда пересекаются (примерно половина беженцев из бывшей Югославии также обращалась и с просьбой об убежище) и что часть иммигрантов затем покидает Германию, итоговая сумма составляет примерно 1,2 процента населения Германии. См.: Bulletin 85 (13 Oktober 1993). S. 969–970.

монии. В 1950-е годы трехпартийная система (христианские демократы, социал-демократы и свободные демократы) сложилась на федеральном уровне. Лишь в начале 1980-х к этому триумвирату в качестве четвертой партии присоединились “зеленые”.

С достаточной уверенностью можно сказать, что еще долго она будет черпать силу из своих восточногерманских бастионов — прежде всего Восточного Берлина, где число бывших баловней “старого режима” выше, чем в любом другом месте прежней ГДР.

Фрагментация партийного ландшафта, характерная для Веймарской республики и связанная с драматическим коллапсом политического центра, в послевоенные годы была предотвращена не в последнюю очередь избирательным законом, запрещавшим доступ в Бундестаг партиям, набравшим меньше 5 процентов от общего числа поданных голосов. Еще важнее, может быть, было то, что крупные партии — христианские и социал-демократы — сумели вобрать в себя и тем самым нейтрализовать края политического спектра. Более того, социал-демократам — в их собственных интересах, которые они очень хорошо понимали, — нередко приходилось апеллировать к тем избирателям, которые откликнулись на аргументы крайне правых¹⁹.

¹⁹ В 1950-х годах “к ним адресовались в националистических тонах, которые сегодня звучат довольно странно. Бывшие антиреспубликанские и антидемократические силы, после 1930 года примкнувшие к национал-социалистам, следовало включить в систему. Их следовало сделать членами и функционерами новой массовой партии СДПГ”. См.: *Peter Lösche und Franz Walter. Die SPD: Klassenpartei-Volkspartei-Quotenpartei* (Darmstadt: WBg, 1992). S. 135. Там же (с. 376) авторы приводят Франкфурт-на-Майне как пример перехода социал-демократических избирателей к праворадикальным партиям, происходящего в больших городах. В этом городе и в других общинах земли Гессен на местных выборах 7 марта 1993 года от СДПГ к так называемым республиканцам перешло большее число избирателей (23 000), чем к ХДС (9000); дихотомию “правые/левые” подрывает и тот факт, что на этих же выборах от ХДС больше голосов ушло к “зеленым” (23 000), чем к СДПГ (9000). Очень схожая тенденция наблюдалась и во время земельных выборов 19 сентября 1993 года в “свободном ганзейском городе” Гамбурге, где от СДПГ непропорционально большое число голосов в традиционно-пролетарских округах и в социально-маргинальных районах ушло к праворадикальным партиям.

Существует и сильная институциональная тенденция к политическому консенсусу, проистекающая из необходимости кооперативного федерализма (*kooperativer Föderalismus*). Это относится прежде всего к тем случаям, когда в Бундестаге имеет большинство иная партия, нежели в Бундесрате, где земли, представленные своими правительствами, участвуют в законодательном процессе. Но даже когда в обеих палатах большинство у одной партии, земли остаются уверенными и влиятельными политическими субъектами, нередко отдающими голос лишь в обмен на твердую валюту — иногда в самом буквальном смысле. Их интересы нередко пересекают партийные границы и приводят к самым пестрым и зыбким коалициям: “Восточногерманские земли против западногерманских земель” — еще одна возможная конфигурация в этой сложной игре, которая после воссоединения стала еще сложнее.

Христианские и социал-демократы могут победить на выборах лишь в том случае, если подадут себя как *Volksparteien* (общенародные партии), то есть не ограничиваются отдельными сегментами электората. До сих пор как христианским, так и социал-демократам удавалось контролировать правительство лишь с помощью коалиции со свободными демократами. Лишь однажды за всю историю Федеративной республики — с 1957 по 1961 год — отдельной политической группе (христианским демократам) удалось получить абсолютное большинство на федеральном уровне — не в последнюю очередь благодаря остроумному избирательному лозунгу “Нет эксперимента!”.

Борьба за власть свелась к постоянному сражению за центр. Лицо и притягательность традиционных партий практически никогда не определялись их положением на идеологической шкале “левые/правые”. Все зависело, скорее, от того, насколько избиратели доверяли им практическое решение конкретных (главным образом, экономических) проблем. Всякий раз, когда границы между этими партиями стирались — как, например, в период коалиции Кизингер/Брандт в 1966–1969 — или ставилась под вопрос их способность справиться с неотложными проблемами, выигрывали либо популистские партии крайне правого толка, либо внепарламентские левые движения. В последнее время в сознательный протест превратилось и неучастие в голосовании. В 1993 году эта форма протеста достигла беспрецедентных масштабов и на западе (примерно

30 процентов) и на востоке (примерно 40 процентов)²⁰, где — по понятным причинам — приверженность традиционным партиям намного слабее.

Прежняя картина игры с нулевой суммой — когда выигрыш христианских демократов автоматически означал проигрыш социал-демократов и наоборот — уже не применима. С другой стороны, “Нет эксперимента!” остается лозунгом, за который немцы (и западные и восточные) охотно голосуют и который они считают особенно важным. Радикальные перемены на федеральных выборах произошли лишь однажды — в 1953-м; маловероятно, что такое повторится. В долгосрочном плане серьезные кризисы не столько “уменьшили, сколько укрепили веру в политическую систему”²¹. Шествия со свечами в конце 1992 и начале 1993 года, когда миллионы немцев демонстрировали свою солидарность против развязанного праворадикальными бандами террора, — верный знак того, что центристские силы по-прежнему господствуют в Германии после короткого оцепенения, вызванного поджогом в Ростоке. Некоторые полагают, что этого “Aux bougies, citoyens!” [к свечам, граждане!] (*фр.*) — пародия на первый стих “Марсельезы” — “к оружию, граждане!”. — *Прим. перев.*] недостаточно; что весь смысл шествия сводился к заявлению “Посмотрите на нас! Мы — хорошие немцы, можете нас пересчитать”²². Тем не менее Licherketten [свечные цепи, соответствует английскому the parade of lights (шествие со свечами). — *Прим. перев.*] всё-таки можно истолковать как попытку вернуть культурную гегемонию космополитическим ценностям²³.

²⁰ Согласно опросу Института EMNID в марте 1993 года в эту группу входили 40 процентов имеющих право голоса (13 процентов “не знаю”, 27 — “ни за какую партию”) по всей Германии. На местных выборах 7 марта 1993 года в Гессене “партия неголосующих” получила 1,23 миллиона голосов; при этом СДПГ получил только 1,07 миллиона, а ХДС — 0,94 миллиона.

²¹ См.: К. О. Hondrich. *Op. cit.*

²² См.: Jane Kramer. Neo-Nazis: A Chaos in the Head. *New Yorker*, 14 June 1993. P. 59.

²³ Ср.: Helmut Willems, Stefanie Würtz und Roland Eckert. *Fremdfeindliche Gewalt: Eine Analyse von Täterstrukturen und Eskalationsprozessen* (исследоват. отчет, изд. Bundesministerium für Frauen und Jugend & Deutsche Forschungsgemeinschaft), Bonn, Juni 1993. S. 146.

Moralpolitik

Культурно-обусловленная тяга к консенсусу и гармонии, наряду с институциональной тенденцией к политической общей почве, отчасти компенсирует отсутствие той сравнительно однородной элиты, которая формируется в *grandes écoles* (“больших школах” — французские вузы для будущей номенклатуры. — *Прим. перев.*) или в университетах “плюшевой лиги” (самые престижные университеты Новой Англии. — *Прим. перев.*) и стабильно самовоспроизводится в аристократически-меритократических системах. В таких элитах от поколения к поколению передается определенное понимание значения страны, ее роли в мировом сообществе. В 1965 году в работе “Германия после второй мировой войны” Вольфганг Цапф заметил, что “внутри себя отдельные секторы — политика, бюрократия, экономика, профсоюзы, церковь, СМИ — были сравнительно однородны. Но между собой они были разделены значительными разрывами. Взаимообмен внутри секторов бывал порой интенсивным, но резко снижался по направлению “изнутри — вовне”. Не было свободного взаимодействия внутри элиты как целого. Это обстоятельство объясняет некоторые черты послевоенного общества — например, отсутствие в верхах уверенности и сплоченности, отсутствие задающего тон “высшего общества” и сравнительное несовпадение власти, дохода и престижа”²⁴.

За последние три десятилетия мало что изменилось. Правда, термин *classe politique* всё чаще используется для описания властной элиты, особенно в Западной Германии. Но подобные термины уместнее в социополитическом контексте других стран, и использовать их нужно с осторожностью. Хотя взаимопроницаемость между отдельными секторами общества в Германии увеличилась, политические карьеры планируются и осуществляются только в рамках политических партий. В политику входит лишь сравнительно небольшое число *Seiteneinsteiger*, одаренных дилетантов “со стороны”, прежде всего потому, что в современном, непрерывно усложняющемся обществе и политика не защищена от общего движения к специализации и профессионализации. Индивидуализация образа жизни приводит к замыканию в приват-

²⁴ *Wolfgang Zapf*. *Wandlungen der deutschen Elite 1919–1961* (München: R. Piper & Co Verlag, 1965). S. 199–200.

ной сфере; желание занимать общественные должности снижается; сами политические партии превращаются в малопривлекательных “мастодонтов демократии”²⁵.

Как и в большинстве других западных демократий, электронные СМИ в Германии способствуют деполитизации публичной сферы, деградации политики, ее превращению во всё более пошрое развлечение. Поэтому всё сильнее тенденция к превращению политика в лошеного шоумена. Помешать этой тенденции — по крайней мере, на какое-то время — может новый стиль, введенный восточногерманскими политиками. Многие из них (но не бывшие коммунисты) вносят в свою работу элемент подлинности, тесно связанный с их горьким личным опытом при коммунистическом режиме. Никакого жаргона. Никаких клише. Никаких заученных улыбок. Хотя некоторым эта манера кажется отсутствием профессионализма, она способствует очищению общей политической атмосферы.

Иногда утверждают, что именно отсутствие настоящей столицы, где члены кабинета, промышленники, финансисты, церковники, генералы, медиамагнаты, профессора и видные писатели могли бы взаимодействовать в общем пространстве, мешает привлечению в политику новых лиц и преодолению того, что считается немецким провинциализмом в международных делах, так называемой немецкой “культурой умолчания”. Кое-кто возлагает большие надежды на планируемый переезд парламента и правительства в Берлин, где, под сенью Бранденбургских ворот, непременно возникнет уверенный и сплоченный немецкий *classe politique*. Подобные надежды могут оказаться иллюзией, поскольку в них не учитывается, что традиция создается не желанием, а временем. Столичная архитектура, сколь угодно величественная, не заменит нужного для созревания срока. Германия, полностью восстановившая свой суверенитет лишь в 1990 году, еще не обрела того, что можно назвать ментальным суверенитетом. Для этого ее лидеры должны разработать просвещенную концепцию немецких национальных интересов, которые — по всем важным вопросам — шли бы параллельно с интересами ее соседей. Тогда стали бы невозможны как оборонительная, так и наступательная позиция, как дешевое морализаторство, так и циничная *Realpolitik* (реальная политика).

²⁵ См.: *Jürgen Rüttgers. Dinosaurier der Demokratie. Wege aus der Parteienkrise und der Politikverdrossenheit* (Hamburg: Hoffmann und Campe, 1993). S. 239–255.

Отсутствие настоящего политического класса имеет еще одно негативное следствие: у немецких политиков слишком много времени уходит на метаполитические дискуссии по вопросам стиля и нравов. Способность находить средний путь между панибратством и враждебностью никогда не была сильной стороной немцев (если позволить себе огульное суждение). Поэтому нет ничего парадоксального в том, что дискуссии о *politische Kultur* (то есть о правилах честной игры в политике) обычно ведутся в агрессивных и возмущенных тонах. Оппонент неизменно оказывается политически невоспитанным человеком. Борьба за “моральную гегемонию” — это элемент борьбы за власть. Однако вслух никто этого не произносит; власть считается чем-то непристойным, демоническим. Разумеется, стоит человеку самому прийти к власти, как все сразу меняется: тогда власть называется “ответственностью”.

Самое свежее добавление в лексикон внешней политики — несколько оруэлловский неологизм *Verantwortungspolitik* (буквально, политика ответственности), служащая антонимом к *Machtspolitik* (политика силы)²⁶. *Verantwortungspolitik* можно определить как политику слов и символов, верховенство хороших намерений над хорошими поступками (за вычетом раздачи средств, все более скудных, и предоставления убежища²⁷ — это дела неизменно похвальные). Когда немецкое правительство, опираясь на консенсус всех партий в Бундестаге, добилося международного признания Словении и Хорватии (правильный ли это был шаг, мы сейчас обсуждать не будем), это было применением силы, хотя и дипломатической. Но в самой Германии это не расценивалось как силовой акт. Для немцев важны были только их намерения, а они были хорошими, то есть нравственными. Представление, будто Герма-

²⁶ Ввел (или по крайней мере популяризировал) эту антитезу в качестве риторического оборота бывший министр иностранных дел Ханс-Дитрих Геншер.

²⁷ К апрелю 1993 года Германия приняла 300 000 беженцев из бывшей Югославии (Италия — 16 000; Испания — 4700; Великобритания — 4400; Франция — 4200). Доля Германии среди стран ЕС по приему ази-лантов в 1990 и 1991 годах составляла 58 процентов, а в 1992 взлетела до 79. По отношению ко всей Западной Европе 47 процентов в 1990 и 1991, не менее 65 — в 1992 году. В настоящее время по всему миру насчитывается около 18 миллионов беженцев, из которых 8 процентов были приняты Германией.

ния воспользовалась своим укрепившимся после воссоединения положением, в самой Германии воспринимали как обидное обвинение — такое же обидное, как “теория заговора”, согласно которой Германия осуществляла план экспансии на Балканы и вниз по Дунаю. Но и отказ социал-демократов на более или менее символическое немецкое участие в операциях ООН по защите гражданского населения в военных зонах бывшей Югославии тоже считался основанным на чисто моральных соображениях. Противоречие? Нисколько: “Слово *Realpolitik* исчезло из немецкого языка, — писал один сатирик, — и больше не понадобится; оно сохранилось в других языках в качестве заимствования. Вместо него нам необходимо слово *Moralpolitik*, которое обозначало бы то, что мы, из чувства ответственности, не хотим делать”²⁸.

Перемены через стабильность

Социальный и политический путь, на который Западная Германия встала после второй мировой войны, — это непрерывный процесс модернизации, очень похожий на тот, который в это же время проходило большинство других индустриальных западных стран. Однако отсюда не следует, что некоторые черты этого процесса в Германии не уникальны. Национал-социализм и развязанная им война привели к колоссальным изменениям в обществе. Чтобы осуществить претензии на тотальную власть, нацистам пришлось “разрушить традиционные — по сути, антилиберальные — связи с территорией и религией, семьей и корпорациями”²⁹. В Западной Германии традиционные слои — особенно католически-сельские и профсоюзно-промышленные — сумели заново организовать себя после второй мировой войны, но семена фундаментальных перемен были уже посеяны. Так называемая “реставрация” способствовала структурной стабильности, которая сделала возможной социальную модернизацию. Распад традицион-

²⁸ *Johannes Gross*. Notizbuch Johannes Gross. Neueste Folge. FAZ-Magazin, 26 Februar 1993. S. 10. Критический анализ чисто моралистического подхода Германии к югославскому кризису 1991 года см.: *Wolfgang Wagner*. Acht Lehren aus dem Fall Jugoslawien. — “Europa-Archiv”, 2 (1992). S. 31–41.

²⁹ *Ralf Dahrendorf*. Gesellschaft und Demokratie in Deutschland (München: R. Piper & Co. Verlag, 1965). S. 432, 434.

ных слоев, сопровождавший этот процесс модернизации, был справедливо назван “неудачей, вызванной успехом”³⁰.

Отдельного упоминания заслуживают 12 миллионов беженцев и изгнанников, которые попали в Германию главным образом между 1945 и 1947 годами из бывших восточных (ныне польских или российских) немецких территорий, и сегодня, вместе со своим потомством, составляют от 20 до 25 процентов немецкого населения. Но вместо того чтобы стать реваншистской бомбой замедленного действия — или своего рода пятой властью, — они превратились в дополнительный фактор перемен³¹. В принявших их областях резко уменьшилась клановая и религиозная однородность; сами они, благодаря своей оторванности от корней, приобрели большую подвижность и гибкость.

В 1950-е годы доля аграрного сектора в западногерманской экономике уменьшалась в три раза быстрее, чем в течение предыдущих ста лет. Развитие индустрии услуг началось поздно; по этой линии другие западные страны Федеративная Республика догнала только в 1960 году. Возникли новые средние классы, особенно в третичном секторе. Параллельно с распадом традиционных слоев сокращались и ядерные группы, на которые привыкли опираться христианские и социал-демократы³²; выросло число неопределившихся избирателей.

Коммунистический режим советской зоны и впоследствии ГДР иными способами, но тоже продолжил разрушение традиционных социальных структур, начатое национал-социалистами. “Первое государство рабочих и крестьян на немецкой земле”, как оно себя называло, отобрало у пролетариата классовое сознание, у крестьян — землю, у представителей

³⁰ Klaus Gotto. Erosion christlicher Wertvorstellungen? Kritische Anfragen an Kirche und Unionspartei. In: Anton Rauscher (ed.). Christ und Politik (Köln: Verlag J.P. Bachem, 1989). S. 14.

³¹ См.: Albrecht Lehmann. Im Fremden ungewollt zuhaus: Flüchtlinge und Vertriebene in Westdeutschland 1945—1990 (München: Verlag C.H. Beck, 1991). S. 7; Timothy Garton Ash. In Europe's Name: Germany and the Divided Continent (New York: Random House, 1993). P. 227: “Уже в семидесятых годах вспоминая ту эпоху, сам Вилли Брандт отметил, что мирная интеграция миллионов беженцев и изгнанников составила одну из величайших заслуг Конрада Аденауэра перед страной”.

³² См.: Peter Lösche und Franz Walter. Die SPD: Klassenpartei-Volkspartei-Quotenpartei. Kap. II 1–4 (СДПГ); о ХДС см.: K. Gotto. Op. cit.

свободных профессий — независимость. Сегодня отсутствие многочисленного среднего класса резко отличает структуру восточногерманского общества от западногерманского. До постройки в 1961 году Берлинской стены около 3 миллионов немцев, которые нужно прибавить к 12 миллионам послевоенных беженцев и изгнанников, бежали или эмигрировали с Востока на Запад. Среди них непропорционально большую долю составляли обладатели высокой квалификации: предприниматели, инженеры, врачи, адвокаты. Соответственно, восточногерманские руководители “оправдывали” Стену как акт самозащиты против западногерманской “социальной агрессии”. Но даже и после возведения Стены с Востока на Запад происходила постоянная утечка мозгов. Коммунистические правители сами изгоняли, “лишали гражданства” или даже продавали Западу многих из самых талантливых восточногерманских интеллектуалов, писателей, художников в течение 1970 и 1980 годов. Если бы в Германии был свой Вацлав Гавел, он скорее всего жил бы в ФРГ. Но такого человека не нашлось. Из пяти министр-президентов в “новых землях” в какой-то момент трое — все профессиональные политики — были импортированы из западной части. Кстати, внутригерманская “миграция” не прекратилась и после воссоединения. В 1992 году около 200 000 немцев с востока Германии перебрались на запад, в то время как лишь 110 000 “весси” отправились на восток.

К середине 1960-х годов в Федеративной Республике сложился принципиальный консенсус относительно ключевых решений во внутренней и внешней политике, принятых в конце 1940 и в 1950 годы. Западные немцы уже не считали свое государство временным образованием, всего лишь осколком утраченного целого. Нерешенный “германский вопрос” все больше рассматривался как помеха для желанной Normalität. Вследствие растущего благосостояния всё популярнее становились новые идеи, которые кратко можно выразить ключевыми словами — “индивидуализация”, “гедонизм”, “эмансипация”. “Протестантская” этика — уважение к тяжелому труду, дисциплине, строгости — пришла в упадок.

С середины 1960 до середины 1970 годов в западногерманской системе ценностей произошли резкие сдвиги. За этот сравнительно короткий период “независимость и свободная воля” как цель воспитания становились все популярнее; “послушание и субординация”, как и в других индустриальных

обществах, утратили привлекательность³³. “Студенческие бунты” 1968 года были не только причиной, но и следствием того, что некоторые называют “культурной революцией”. За тот же период приобрели влияние антилиберальные идеи новых левых. Именно вследствие этого был поставлен под вопрос фундаментальный консенсус относительно парламентской демократии, социальной рыночной экономики, атлантического альянса. В ГДР заметная перемена ценностей произошла на целое десятилетие позже — между 1975 и 1985 годами. Когда стали популярны “индивидуалистические, неформальные, гедонистические ценности”³⁴ — по крайней мере, среди молодежи.

Фрагментации

В Западной Германии процесс модернизации и его социальные, психологические и экологические издержки постоянно сталкивались со все новыми оппозиционными силами. *Modernisierungsverlierer* (буквально — проигравшие от модернизации), особенно из “нижнего среднего класса”, становились восприимчивыми к антиистеблишменту крайне правых партий антигосударственного толка (то есть в большей мере “пужадистским” — от имени Пьера Пужада, в 1954 году создавшего “Движение в защиту торговцев и ремесленников” и выступавшего против налогов. — *Прим. перев.*). Новые левые конца 1960-х и начала 1970-х годов и движение *Окорак* (защитники окружающей среды и пацифисты) 1980-х, отчасти выросшее из новых левых, защищали антицивилизационный фундаментализм, во многом похожий на правые идеологии более давних времен. С 1993 года появились своего рода элитарные новые правые — в отличие от новых левых, отнюдь не

³³ *Helmut Klages und Thomas Gensicke. Geteilte Werte? Ein deutscher Ost-West Vergleich. In: Werner Weidenfeld (ed.). Deutschland: Eine Nation — doppelte Geschichte (Köln: Verlag Wissenschaft und Politik, 1993), S. 49–50. См. также: R. Dahrendorf. Op. cit., S. 471.*

³⁴ Выросло значение таких ценностных комплексов, как “чаще переживать что-нибудь странное, приключения”, “модно одеваться; позволять себе небольшую роскошь”, “безоглядно наслаждаться любовью и сексом”, “купить машину”, “жить в удобном доме” и тому подобное. Но, в отличие от Запада, связанные с обществом “идеалистические” ценности в тот же период стали терять популярность. См.: *Helmut Klages und Thomas Gensicke. Op. cit., S. 54–55.*

массовое движение интеллектуалов³⁵. Лучшие молодые умы нации им пока что привлечь не удалось; однако ветераны новой левой найдут среди этих рассерженных молодых людей и своих сыновей, и своих бывших студентов.

Неудивительно, что “романтический рецидив” (как выразился Рихард Левенталь) 1968-го сопровождался в том числе и реабилитацией некоторых элементов “германской идеологии”, если воспользоваться термином Фрица Штерна, с ее противопоставлением Kultur (глубокой, идеалистической) и Zivilisation (поверхностной, коммерческой). В самой вульгарной форме эта идеология проявилась (как и тогда, когда она служила основой правого экстремизма) как антиамериканизм³⁶. Под вопрос были поставлены и основные принципы демократии, включая, например, правление большинства и государственную монополию на насилие. “Зеленые” — пусть и невольно — способствовали усилению тех, кто видит в модернизации только темные стороны.

Германию — до недавнего времени ее западную часть, но теперь и восточную — объединяет общий с другими западными демократиями фундаментальный опыт. С одной стороны, “современность” расширяет для индивида пространство выбора; с другой — она ослабляет социальные связи и ведет к исчезновению сознательного *citoyen* [гражданина]. Даже в Германии, с ее репутацией мирового лидера по *Vereinsmeierei* (“клубизм” — очень примерный перевод), всё большее число людей, чтобы сохранить форму, обращается к услугам коммерческих центров “фитнесс”, предпочитая эти центры постоянному членству в каком-нибудь *Sportverein* (атлетическом или спортивном клубе). Религиозные узы, намного более важ-

³⁵ В качестве раннего примера см.: *Rainer Zitelmann, Karlheinz Weißmann und Michael Grossheim. Westbindung. Chancen und Risiken für Deutschland* (Frankfurt a. M./Berlin: Propylaen Verlag, 1993); критику см., напр.: *Heinrich August Winkler. Westbindung oder was sonst? Bemerkungen zu einem Revisionsversuch. Politische Vierteljahresschrift* 1(1994): 113–117; *Ulrich Raulff. Auch eine geistige Welt. Rechte Replikanten oder Junge Leute in alten Traditionen. FAZ, 13 April 1994, S. 33.*

³⁶ Блестящий анализ идеологических пересечений между “новыми левыми” и “новыми правыми” и между “старыми правыми” и *Ökoraх* см.: *Richard Herzinger und Hannes Stein. Endzeit-Propheten oder die Offensive der Antiwester. Fundamentalismus, Antiamerikanismus und Neue Rechte* (Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1995).

ные, тоже ослабевают. В этом отношении существует колоссальная разница между западными и восточными частями страны: среди молодежи 43 процента на западе и 4 процента на востоке считают себя католиками; 43 процента на западе и 17 процентов на востоке — протестантами; и 11 процентов на западе и 79 процентов на востоке заявляют, что не принадлежат ни к какой религиозной общине.

Серьезные проблемы возникают тогда, когда распад — воображаемый или реальный — привычных моделей превращается в новый источник Angst'a. Страх создает плодородную почву для новых видов насилия, среди которых ксенофобские выходы молодежи — лишь одна, хотя и особенно тяжкая и наглядная форма насилия. Ксенофобское насилие, вопреки предположениям некоторых кабинетных социологов, оказалось отнюдь не чудовищем, обитающим только в больших городах. Оно распространено и в маленьких городках и в сельской местности, которые прежде оставались (или считали себя) свободными от подобных проблем, поскольку лишь недавно испытали массовый приток иммигрантов. Из совершенных в 1992 году актов ксенофобского насилия 39,2 процента были совершены в маленьких городках (от десяти до пятидесяти тысяч жителей), 20,5 процента в сельской местности, 22,3 процента в крупных городах и 18 процентов в средних городах³⁷.

В нынешней Германии проблемы социальной фрагментации очень заметны. Во-первых, заживление разрыва между востоком и западом оказалось очень медленным процессом. Непрерывно открываются новые раны, которые замедляют процесс преодоления взаимного отчуждения между "весси" и "осси". Последние справедливо упрекают "весси" в надменности, первые упрекают "осси" в нытье (эти упреки, возможно, отражают отношение самих наблюдателей). Проект der inneren Einheit (буквально: внутреннего единства — что-то вроде социального слияния, в отличие от staatliche Einheit — уже достигнутого государственного единства) охватывает не только экономическую проблематику; он направлен на "ментальные" различия, которые могут сохраниться еще в течение поколения, а то и дольше.

Во-вторых, восточная часть немецкого общества оказалась принципиально атомизирована за более чем четыре десятиле-

³⁷ См.: *Willems, Wurtz und Eckert. Fremdfeindliche Gewalt. S. 41–42, 113–122.*

тия коммунистической диктатуры, считавшей любую неподконтрольную ей ассоциацию угрозой для ее тотальных притязаний на власть. Прославленные социальные “ниши” в бывшей ГДР — включая и обеспеченную ими *Geborgenheit* — на самом деле служили только временным убежищем именно от этих тотальных притязаний государства. Они не способны служить строительными элементами гражданского общества. Даже анклавов, будто бы свободных от государственного контроля, — прежде всего те, которые протестантская церковь предоставляла оппозиционерам, — не были защищены от агентов Штази (службы госбезопасности). Сегодня неизбежные структурные трансформации в “новых” землях грозят разрушить даже ту минимальную социальную ткань, которую вроде бы создавала интеграция в упорядоченный трудовой мир.

Наконец, значительные слои немецкой элиты — как на востоке, так и на западе, — от которых ждали духовного руководства, в настоящее время заняты прежде всего самокритичным анализом собственного недавнего прошлого — а именно, своего молчания в ответ на угнетение личности в бывшей ГДР. Дело не только в том, что многие западные политологи и социологи закрывали глаза на реальное положение в ГДР³⁸. Слово “стабильность” служило кодовым обозначением для грязного секрета, который многие западные немцы хранили наряду с другими западноевропейцами, — для молчаливого согласия со *status quo*, называвшегося внешне невинным словом “Ялта”. Уже началась — и не только в Германии — идеализация “хорошего старого времени”, когда конфликт Востока и Запада задавал ясный расклад международных сил, позволявший всем, кому повезло жить к западу от железного занавеса, наслаждаться приятной жизнью. Это умиротворенность, основанная на политике умиротворения, — *trahison des clercs* [предательство клерков — название книги Жюльена Бенда о политической безответственности интеллектуалов] (и не только клерков) — превращает восточногерманскую историю в неотъемлемую часть общенемецкой истории, как и вообще историю Восточной Европы следует рассматривать как неотъемлемую часть истории Европы. Руководители ГДР пытались создать восточногерманскую “на-

³⁸ См.: *Klaus Schröder und Johann Staadt. Der diskrete Charme des status quo: DDR-Forschung in der Ära der Entspannungspolitik. Leviathan, März, 1993, S. 24–63. См. также: T. G. Ash. Op. cit. P. 312–342.*

циональную” идентичность, возлагая моральную ответственность за нацистское прошлое на прежнюю Федеративную Республику и претендуя на монопольную роль “подлинных антифашистов”. Сегодня же кажется, что уже многие западные немцы считают: преодолевать коммунистическое прошлое — это задача только их восточных соотечественников. Их позиция, принципиально неискренняя, хотя и хорошо замаскированная под великодушие и своего рода политическую корректность, формулируется так: “Мы не должны относиться к ним свысока и вмешиваться в их проблемы. Пусть те, кого это касается, жертвы и исполнители, сами поищут выход”.

Патриотизм

Как же установить новый консенсус, если исходная ситуация настолько сложна? Какой клей свяжет — или мог бы связать — воедино немецкую нацию? Существуют ли статьи веры, которые могли бы составить “общенемецкое” политическое кредо, которое не сводилось бы ни к основанному на Angst экзорцизму, ни к культуре немецкой марки? Ответ зависит от того, сумеют ли немцы создать спокойный патриотизм, основанный не только на общей истории (не исключая и самых темных ее глав) и на общих культурных традициях, но также — и это самое важное — на общих демократических ценностях, на гражданской ответственности за свою *res publica*, на деятельной солидарности и сплоченности.

Это настоящее “испытание нормальностью” — ситуация, с которой ни Германия, ни Европа не сталкивались на протяжении почти всего XX века. Достоинно внимания то, как Ханс-Магнус Энценсбергер определяет потенциальный смысл нормальности в современной Германии:

“Поскольку мы перестали быть чемпионами мира по Злу, мы считаем, что обязаны стать чемпионами мира по Добру. Мы будто бы должны прокладывать путь, подавая хороший пример; мы должны быть (морально) лучше остальных. Мне все это кажется несколько извращенным. Я был бы рад, если бы мы могли стать просто нормальным народом — не лучше и не хуже прочих. Мне вполне хватило бы нормальных гражданских условий. И даже остальной мир удовлетворился бы этим”³⁹.

³⁹ *Hans Magnus Enzensberger. Die Schwierigkeiten der Deutschen mit sich selbst. Интервью в: Der Tagesspiegel, 19 Januar 1993.*

Немецкий патриотизм ослабляется с двух сторон. В том, как Германия воспринимает собственную национальную идентичность, есть и пре- и постмодернистский элемент. Премодернистский элемент можно назвать “регионализмом” или “регионалистским трайбализмом” — компонент так называемого “мультинемецкого общества”. Ограничимся лишь одним примером: веймарская Reichsverfassung [имперская конституция] 1919 года определяла немецкую нацию (Volk) как единство немецких “племен” [einig in seinen Stämmen (единый в своих племенах). — *Прим. перев.*]; соответственно, немецкое гражданство было не прямым, а складывалось (несмотря на исключения) из саксонского, баварского, прусского гражданств и гражданств других земель, пока национал-социалисты не ввели прямое немецкое гражданство посредством печально известного Reichsbürgergesetz (закона об имперском гражданстве. — *Прим. перев.*), исключившего немецких евреев из “имперского” гражданства⁴⁰. А постмодернистский элемент можно найти в распространенных постнациональных взглядах, которые воспринимаются как попытка избавиться от эмоционального бремени тяжелого национального прошлого. В них содержится позитивный элемент — подлинный космополитизм.

“Патриотизм” — слово, которое постнационально настроенные немцы встречают с огромной сдержанностью. За ней лежит страх, что патриотизм примут за шовинизм или джингоизм [агрессивный милитаризм; от рефрена любимой песни антирусской партии, выступавшей за участие Англии в русско-турецкой войне 1877–78 годов. — *Прим. перев.*]. На самом же деле реальной, хотя и непризнаваемой проблемой воссоединенной Германии может оказаться слабость гражданской сознательности, поэтому большую пользу здесь способен принести просвещенный патриотизм. Проиллюстрировать эту ситуацию можно таким эпизодом: чтобы компенсировать увеличение социального налога на Pflegeversicherung (страхование социальной помощи престарелым), было предложено отменить какой-нибудь выходной и тем самым увеличить рабо-

⁴⁰ Более подробный анализ истории немецких законов о гражданстве и их значения для концепции национального единства см. в блестящей монографии: *Hubertus von Morr. Der Bestand der deutschen Staatsangehörigkeit nach dem Grundvertrag* (Berlin: Duncker & Humboldt, 1977).

чий год на один день. Церкви выступили против отмены Духова дня; профсоюзы не согласились с отменой Первомаея. И тогда было предложено пожертвовать Третьим октября, то есть Днем германского единства — *единственным* отмечаемым в Германии общегражданским праздником. Можно ли представить французских *citoyens*, которые согласились бы отдать за новую страховку, сколь угодно разумную и необходимую, свое Четырнадцатое июля? Разве американцу пришло бы в голову пожертвовать Днем благодарения или Днем независимости?

Немцы постнациональных взглядов, возможно, возразят, что не бывает патриотизма без *patria* [отечества (*греч.*)]. А что такое немецкая *patria*? Специфической немецкой чертой кажется вечная озабоченность вопросом “Что такое немец?”. Примерно через сто лет после того, как этот вопрос задал Фридрих Ницше, Тимоти Гартон Аш в блестящем разборе немецкого воссоединения 1990 года заметил, что “в течение прошедших сорока — иные скажут: в течение прошедших двухсот — лет вопрос о немецкой идентичности давал повод таким пространным, глубокомысленным и витиеватым рассуждениям, которые никакой другой вопрос в истории человечества не вызывал”⁴¹. Может быть, мы наконец нашли немецкий “недостающий ген”? Может быть, Германия — *malade imaginaire* [мнимый больной]?

И да, и нет. Проблема идентичности указывает на реальную проблему новейшей немецкой истории — несовпадение государства и нации. Для немецкого слуха *Staat* и *Nation* остаются двумя различными понятиями. Но верно и то, что о “немецком вопросе” наконец можно забыть, если сравнить нынешнюю Германию с тем, чем она была последние десятилетия. Ее недавнее прошлое описывается формулой “одна нация, два государства”; ее сегодняшняя ситуация — формулой “одно государство, два общества”. В 1990 году (бывший восточногерманский) писатель Райнер Кунце сказал о Германии, что “после Третьего октября она начнет готовиться к этому дню”⁴². Этот парадокс можно уточнить, сказав, что немцам еще предстоит стать нацией посредством *plebiscite de tous les jours* [ежедневного плебисцита (*франц.*)]. — *Прим. перев.*, посредством практического обучения, которое едва

⁴¹ Timothy Garton Ash. *Germany Unbound*. — “The New York Review of Books”, 22 November 1990. P. 15.

⁴² *Ibid.*, P. 12.

началось. Фриц Штерн ввел термин “второй шанс” для описания немецкой ситуации после второго государственного объединения. Даже не разделяя тезиса, будто перед нынешней Федеративной Республикой стоит та же дилемма, что и перед бисмарковским рейхом, следует признать это сравнение полезным в эвристическом плане.

Одно из главных различий между двумя историческими ситуациями — в том, что нынешняя Германия перестала быть заложницей ирредентизма [стремления объединить нацию в одном государстве (*итал.*). — *Прим. перев.*]. И внутри самой страны, и среди ее соседей существует принципиальный консенсус относительно того, что теперь границы немецкого государства совпадают с границами немецкой нации. Платой за это совпадение стало обусловленное прежде всего немецкой ответственностью изгнание и переселение 12 миллионов немцев из Центральной и Восточной Европы. Остались лишь сравнительно небольшие меньшинства “этнических немцев” в Восточной Европе. Пока что Федеративная Республика не отказывается от особых гуманитарных обязательств по отношению к этим людям. Притязание на немецкое гражданство со стороны тех, кто его утратил из-за того, что живет на территориях, ныне принадлежащих Польше и России, считается их конституционным правом. То же верно и для тех “этнических немцев”, главным образом из Сибири и Центральной Азии (куда их выслали при Сталине), а также из Румынии, которые — вследствие политики национал-социализма — страдали от обвинений в нелояльности по отношению к “принявшей” их стране. Интересно отметить, что большинство правых экстремистов в нынешней Германии и многие их сторонники считают “этнических немцев” иностранцами — точно такими же, как беженцы из Шри Ланки или из Боснии.

Сравните все это с рейхом Бисмарка: в те дни ирредентизм был общим настроением и относился прежде всего к Австрии, немецкоязычное население которой считалось неотъемлемой частью немецкой нации. Сильные польское и датское, а также крупные католическое и еврейское меньшинства подзревались в нелояльности к рейху. Эльзас и Лотарингия оставались яблоком раздора между Францией и Германией. Немецкими властными элитами после Бисмарка владела неутолимая жажда “места под солнцем”. Таким образом, трудно вообразить больший контраст, чем тот, какой имеется между той эпохой и нынешним положением дел — благодаря в том

числе и беспрецедентному успеху европейской интеграции после второй мировой войны.

Есть, однако, одна унаследованная из прошлого крупная проблема, которую немцам нужно решить: утверждение “я немец” все еще не равнозначно утверждению “я гражданин ФРГ”. “Общенемецкое” гражданство, которое (с точки зрения прежней ФРГ) включало и жителей ГДР, четыре десятилетия служило важной скрепой, объединявшей разделенную нацию. Дело отнюдь не в этом. *Jus sanguinis* (лат.) — то есть право на гражданство по рождению от граждан данного государства, — как уже отмечалось, норма для большинства стран; например, дети американских родителей — граждане США, даже если родились за границей. *Jus soli* [букв. право почвы (лат.)] — право на гражданство по месту рождения на территории данного государства. — *Прим. перев.*] и, разумеется, натурализация — просто дополнительные способы наделения гражданством. Наряду с *jus sanguinis* натурализация всегда была способом получить немецкое гражданство; около пятисот тысяч поляков, накануне первой мировой войны иммигрировавших на постоянное жительство в Рур, — лишь один пример. Но бесспорно то, что немецкие законы о натурализации должны стать либеральнее. При правительстве Коля в этом направлении был сделан первый шаг: новые правила от 1 января 1991 года — нуждающиеся, конечно, в дальнейших поправках⁴³ — предоставляют право на натурализацию без учета “этнических” критериев, таких, как происхождение или полная ассимиляция.

Формальная натурализация — необходимое, но недостаточное условие для полной интеграции “иностранцев”. Относительно этой проблемы немецкое общество также находится посередине процесса обучения, который потребует терпе-

⁴³ Новые легальные процедуры пока что редко применяются должностными лицами, поскольку Германия, как и еще несколько европейских стран, требует, чтобы те, кто просит о натурализации, отказывались от своего прежнего гражданства; ср.: *Der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der Ausländer, Ausländerinnen und Ausländer in europäischen Staaten* (Bonn: August 1994), S. 39–45. Планы дальнейшей либерализации — в том числе и относительно проблемы двойного гражданства (которая прежде всего затрагивает 1,8 миллиона живущих в Германии турецких граждан) — были подтверждены после выборов в Бундестаг осенью 1994 года в соглашении между ХДС/ХСС и СвДП.

ния и руководства со стороны общественных лидеров. Volk (народ) имеет в немецком языке, как уже говорилось, тройное значение: demos, laos, ethnos. В конечном счете приемлемым смыслом должен остаться один ethnos. Немцам нужно научиться принимать друг друга и самих себя — как соотечественников, как имеющих одно общее отечество.

Стабильность через перемены

История западногерманского успеха после второй мировой войны основана на том, что кажется парадоксом: именно поразительная, пусть и скучная, стабильность прежней ФРГ сделала возможными невероятные перемены в западногерманском обществе. Лозунг “Нет экспериментам!” оказался рецептом для последовательного и драматичного модернизационного эксперимента. После воссоединения прежняя схема уже не работает: приверженность западногерманскому status quo не годится как ответ на величайшее испытание в послевоенной истории страны. Это урок, который обязаны выучить прежде всего западные немцы; для их восточных соотечественников колоссальные перемены сделались повседневностью.

Лишь при осуществлении грандиозных перемен в Западной Германии станет возможным сохранить действенную силу стабильности прежней ФРГ внутри и для воссоединенной Германии. Прежняя ФРГ была лучшим государством в немецкой истории. Всякому, кто ценит ее гуманность, хотелось бы дать западным немцам бесполезный, если не вредный совет — действуйте в прежнем духе.

Прусско-протестантская Staatsidee (в приблизительном переводе raison d'état, или государственная идея), руководившая первым немецким национальным государством, мертва так же, как и сама Пруссия. Верить, что она может воскреснуть в Берлине — либо прекраснодушие, либо основанный на невежестве страх⁴⁴. В любом случае, ее истинный дух нашел более адекватное отражение в этике Иммануила Канта или в смелом покушении на жизнь Гитлера 20 июля 1944 го-

⁴⁴ Ср.: *Wolf Jobst Siedler*. *Erkenne die Lage! Rechne mit Deinen Beständen! Ende einer Hauptstadtprüfung: Die Debatte über Berlin muss eine Illusion nach der anderen aufgeben*. FAZ, 22 April 1995.

да, нежели в наглом тевтонстве кайзера Вильгельма или в карикатурных клише вроде “Jawohl, Herr Hauptmann!” [Так точно, господин гауптман! — *Прим. перев.*]. Но почему вообще заходит речь о новой Staatsidee для воссоединенной Германии? Ведь эта идея уже налицо: именно она построила прежнюю ФРГ — “также и от имени тех немцев, которые не могут участвовать (в этом строительстве)”. Теперь задача состоит в том, чтобы экспортировать “боннскую республику” в Берлин — прежнюю и новую немецкую столицу.

Но смогут ли в таком случае и восточные немцы внести свой вклад в воссоединенную Германию? Может быть, после более чем сорока лет коммунистической диктатуры у них не осталось ничего, кроме памяти о бессмысленных страданиях? Нет: на этот вопрос самый убедительный и поучительный ответ дал Тимоти Гартон Аш, имея в виду европейцев вообще, но его слова применимы и к немцам: “Европейцы оттуда подарили нам, самое меньшее, с ясностью и твердостью, рожденными из тяжелого опыта, новое подтверждение ценности того, чем мы уже обладаем. А именно — подтверждение старых истин и проверенных образцов, трех главных элементов либеральной демократии и Европейского сообщества как единственного действительно существующего общего европейского дома”⁴⁵.

И они снова нам доказали, что имеет смысл защищать открытое общество от его врагов, среди которых апатия и равнодушие занимают не последнее место.

Это не дешевое утешение. Ежедневный плебисцит, посредством которого немцам предстоит стать полноценной нацией, — это тернистый путь. Точка возврата уже пройдена. Объединенная Германия состоится в том случае, если немцы не утратят чувства изумления и благодарности перед тем, что произошло в дни падения Стены, когда единство родилось из свободы, а не из железа и крови. Память о времени, когда сбылось невозможное, память о страданиях 17 миллионов восточных немцев и несчетных миллионов в остальной Восточной Европе скажет им, что перемены стоят труда.

1996

*Перевел с английского
Григорий Дашевский*

⁴⁵ Timothy Garton Ash. *We the People* (Cambridge: Granta Books, 1990). P. 155–156.

Зимой 1999–2000 года главной темой германских газет были парламентские дебаты, связанные с так называемыми “черными кассами” христианских демократов. Речь шла о пожертвованиях 90-х годов, по которым Гельмут Коль, возглавлявший ХДС до 1998 года, вопреки закону не представил отчета. Закон о партиях и соответствующая статья Конституции¹ требуют прозрачности бюджета партий, с тем чтобы не допустить влияния “теневых” спонсоров на политику. Благотворительные отчисления, совершенные на глазах у общественности и критически настроенных СМИ, не дают возможности спонсорам принуждать политиков к каким-либо ответным действиям; во всяком случае, это должно сдерживать любые намерения подобного рода. Требование прозрачности финансовых поступлений защищает и адресата — от чрезмерной завышенности и необоснованных подозрений.

В связи с предъявленными Колю обвинениями была создана специальная парламентская комиссия, которая в марте 2001 года всё еще продолжала свою работу. Обвинения в коррупции, то есть в том, что Коль “продавал” спонсорам политические решения, до сих пор не подтвердились, несмотря на интенсивные расследования. Но, тем не менее, встает вопрос, какая роль отводилась тайным счетам в системе правления Коля. Я пытался это проанализировать в представленной здесь статье, которая была опубликована в ежемесячном британском журнале “Prospect” в марте 2000 года.

Мои оптимистические предположения, связанные с тем, что германская политика становится всё более открытой и меньше фиксируется на гармоничности, оказались преждевременными. По-видимому, неформальные соглашения за закрытыми дверями по-прежнему являются одним из инструментов эффективного правления. А германские избиратели продолжают поддерживать неторопливую политику в духе “круглого стола”, идеалом которой является общественный консенсус.

¹ В статье 21 Основного закона (германской Конституции) говорится, что партии обязаны публиковать отчеты об источниках денежных поступлений, их использовании, а также о размерах партийного состояния. Закон о партиях (§ 23) требует ежегодного отчета о происхождении и использовании средств, равно как и данных о партийном бюджете. В § 25 отмечается, что при пожертвованиях, размер которых превышает 20 000 марок, необходимо указать общую сумму вклада и имя благотворителя.

Германия движется дальше

Веймарская республика просуществовала лишь 14 лет. Гельмут Коль был канцлером Германии в течение 16-ти. Федеральной Республике уже более полувека. Половину этого срока — с 1973 по 1998 год — Коль занимал пост председателя ХДС. Так он стал олицетворением того стабильного процветания, которым славится вторая эпоха немецкой демократии. К тому же его консервативная центристская партия обладала достаточной силой, чтобы нейтрализовать правый экстремизм. Крайне правые партии, известные нам по Италии, Франции, Бельгии и, конечно же, Австрии, не проникли в органы законодательной власти ФРГ. Это было хорошим достижением для Германии, которая, как никакая другая европейская страна, нуждается в доверии своих соседей.

Сегодня мы знаем, что эта стабильность нам дорого обошлась. Коль оставил в наследство Христианско-Демократическому Союзу не только гордую память об исторических триумфах, но и скандал, в котором проявились как его собственный стиль управления, так и немецкая политическая культура.

Что же произошло? В двух словах: миллионы дойчмарок неизвестного происхождения хлынули на секретные счета партии между 1989 и 1998 годами. Эти поступления не были оглашены в ежегодных отчетах ХДС, как того требует закон. Похоже, что Коль пустил большую часть этих средств на предвыборную борьбу в бывшей Восточной Германии. Даже среди его политических противников мало кто подозревает бывшего канцлера в том, что он пользовался этими деньгами для личного обогащения.

Коль утверждает, что средства были получены им от уважаемых граждан, которым он обещал анонимность. Однако такие пожертвования партиям противозаконны, и, нарушив принцип прозрачности, Коль, возможно, привел ХДС на грань политического и финансового краха (партия потеряет немалую часть государственных денег, на которые она имела бы право, не случись скандала). Отказ Коля назвать имена жертвователей вызвал лавину спекулятивных обвинений, от которых ХДС не в состоянии защититься. Даже кое у кого из бывших почитателей канцлера возникают вопросы: если эти жертвователи относятся к ХДС с таким уважением, почему бы им не освободить Коля от его обещания хранить секрет? Существуют ли вообще эти жертвователи?

Какой бы ни оказалась истина, мы определенно являемся свидетелями шумного падения так называемой “Das System Kohl”. Многие члены нынешнего руководства ХДС принадлежали к этому сообществу — именно поэтому скандал нанес такой огромный косвенный ущерб. Прежде всего это не дает возможности преемнику Коля Вольфгангу Шойбле убедительно играть роль главного следователя в “деле о пожертвованиях”.

Однако, что бы ни говорили многие о Коле (в Германии и в мире), он не был ни авторитарным политическим боссом, ни грубым хулиганом. Система управления Гельмута Коля была весьма изощренной. Он находился в центре целого общества преданных людей — сети личных связей, которую создавал в течение многих лет. Вся информация (лишь отдельными фрагментами которой обладали входившие в систему люди) сходилась к нему. Важнейшими способами общения для него были частные беседы, с глазу на глаз либо по телефону, а не доклады или письма. Ключевым инструментом его власти был пряник, а не кнут. Вознаграждение, а не наказание. Сделки, а не приказы. И, соответственно, он рассматривал критику со стороны своих же соратников не как неподчинение, а как неблагодарность и недостаток преданности. Коля управлял не при помощи органов власти, а скорее с помощью наперсников. Комитеты, которые он возглавлял, часто служили лишь для того, чтобы подтверждать решения, уже принятые в неофициальных кругах. Так называемые “коалиционные совещания”, на которых встречались ведущие представители трех коалиционных партий, обладали в решительные моменты большим политическим весом, чем правительство.

Этот индивидуальный политический стиль проявился в полную силу в ходе воссоединения страны в 1989–90 годы. В то счастливое время Гельмут улаживал основные разногласия в частных беседах с Джорджем и Михаилом, тогда как Франсуа и Маргарет с досадой наблюдали за ними, а дипломатическая машина с трудом поспевала за американо-советско-немецким триумвиратом.

Выдающиеся способности Коля к заключению союзов идеально подходили к немецкой политической культуре, с ее склонностью избегать конфликтов. Коалиционным правительствам нужен канцлер — хороший психолог, превосходно умеющий подводить “соперничающих партнеров” к компро-

миссу. Для самого же главы правительства безоговорочная поддержка собственной партии (самого крупного члена коалиции) является ключевым источником власти. Поэтому Коль и не оставил пост председателя ХДС даже после того, как стал канцлером.

В качестве главы ХДС Колю тоже необходимо было быть искусным аппаратчиком и кадровиком. Союз представляет собой объединение пятнадцати региональных ассоциаций, некоторые из них сильны и самоуверенны. В регионах председателю ХДС приходится, как средневековому королю, иметь дело с князьями и герцогами, которые не всегда готовы следовать инструкциям сверху. (Коль сам в свое время был таким “герцогом”, когда руководил ХДС в земле Рейнланд—Пфальц.) При необходимости “король” Коль стремился заключать союзы с местными баронами против региональной высшей знати.

До воссоединения положение Коля как партийного лидера едва ли не каждый год оспаривалось членами самого ХДС и ХСС, руководимого Францем-Йозефом Штрауссом. Однако после 1990 года ни один противник или оппонент не мог больше соперничать с ним. Только с этого момента ХДС стал по-настоящему патриархальным.

Но Коль продолжал соблюдать осторожность, сводя к минимуму риск для своей власти. За кулисами он выступал посредником в политических конфликтах, и, лишь убедившись в поддержке явного большинства, объявлял о своем решении. (Когда вопрос был для него особенно значимым, он не избегал столкновения. Так было с развертыванием американских крылатых ракет в 1983 году и с введением евро несмотря на сопротивление общественного мнения в 1998-м.)

Однако центральное положение, которое занимал ХДС в сознании Коля (а также первостепенная важность Союза как источника его власти) объясняет, почему он нарушил закон и, по-видимому, не жалел об этом. Он чувствовал, что имеет на это право, поскольку служил высшей цели. Разумеется, его поведение подтверждает также и старую истину о том, что после многих лет во власти сильные мира сего теряют способность различать свои собственные интересы, партийные интересы и общественные интересы: что хорошо для меня, хорошо для моей партии, а что хорошо для моей партии, хорошо для страны. Добавьте к этому убеждение, что никто никогда не обнаружит совершенных вами нарушений, и вот вы уже чувствуете себя непобедимым.

Крушение сообщества Коля является частью более широкого сдвига в немецкой политической (и деловой) культуре — сдвига в сторону большей прозрачности и более открытого обсуждения конфликтов. Этот сдвиг подкреплён сменой поколений, поскольку бразды правления переходят к людям в возрасте от сорока до пятидесяти лет.

Схожие сдвиги можно наблюдать и в другой крупнейшей немецкой партии. Группа близких друзей, управляющая СДПГ в земле Северный Рейн—Вестфалия, и их злоупотребления в государственном банке Westdeutsche Landesbank также выплывают на свет, хотя и остаются в тени более драматичного кризиса ХДС. Не стоит забывать и о трудностях канцлера Шрёдера, которому приходится создавать “альянс ради занятости” между государством, профсоюзами и ассоциациями работодателей. Глобализация подрывает функционирование тех союзов и соглашений, которые могут работать только в сравнительно закрытых системах. Германия больше не замкнута на себе, что еще раз подтверждает поглощение компании Mannesmann группой Vodafone.

Общественное согласие было одной из основ успеха ФРГ. Сегодня мы видим окончание той эпохи, когда трудные решения могли быть отложены единогласным решением за круглым столом. Политикой частных договоренностей Гельмута Коля удовлетворяться больше нельзя.

*Перевел с английского
Александр Мансилья-Круз*

О немецких революционерах говорили, что они без разрешения полиции революций не начинают. Еще говорили, что революционером можно стать только тогда, когда прольется достаточно крови. Оба стереотипа были впечатляюще опровергнуты осенью 1989 года. Разумеется, воодушевленные граждане Лейпцига, восточного Берлина или Ростка, которые, скандируя “Мы — народ!”, вышли на демонстрацию во имя свободы, справедливости и демократии, вряд ли смогли бы добиться своей цели, если бы в тот исторический момент мировые политические условия не были на их стороне. Но справедливости ради следует отметить и то, что они проявили высокое гражданское мужество в ситуации, когда еще безотказно действовал репрессивный аппарат коммунистического режима.

Осенью 1999 года представилась возможность спустя десять лет подвести итог: что же осталось? В статье, опубликованной 1 октября 1999 года в “Rheinischer Merkur”, я попытался сформулировать собственный ответ на этот вопрос. Наиболее важным выводом я обязан правозащитнику Йоахиму Гауку. Он является первым из руководителей той организации, которая занимается хранением и научной обработкой документов секретных служб ГДР. По его мнению, результатом мирной революции осени 1989 года стало изменение самовосприятия у всей немецкой нации. Немцы на западе, утверждает Гаук, должны осознать, “что восточные немцы внесли в нашу немецкую историю нечто необыкновенное и безусловно ценное”. Они “приобрели для всех немцев входной билет в круг тех наций, которые имеют собственную традицию революций во имя свободы”.

Немецкая революция...

Такое возможно?

“Мы — народ!” — памятник “человеку на улице”

7 октября 1999 года Германской Демократической Республике исполнилось бы 50 лет. Но ее больше нет. Кто-нибудь это оплакивает? Немногие. Остались мрачные кадры ее сорока-

летнего юбилея. Десятилетней давности. В далекую эпоху. Из небытия ушедших времен до нас доносится дрожащий голос Эриха Хонеккера. Канцелярский пафос, бюрократический текст послания, наглухо застегнутый воротник. Все напрасно: кто опоздал, того наказывает жизнь¹.

История не знает пощады. История? Разве те, кто положил конец существованию ГДР, не были обыкновенными людьми? Никому не известными людьми со своими мечтами и надеждами. Одни повернулись спиной к своей родине. Другие остались. Решились на открытый протест против ежедневного унижения их достоинства. Отказались быть подданными и захотели немедленно стать гражданами.

Немецкая осень 1989 года. Революция без привычных предводителей. Если кто-то и заслужил памятник, так это мужчина и женщина с улицы. Не политик, не генерал, не мыслитель.

Когда 9 ноября пала Стена, самое большое чудо успело уже свершиться. Йоахим Гаук напоминает, что пелена упала с глаз гораздо раньше: правозащитники, среди которых был и он, испытали огромное счастье, когда в октябре они преодолели страх перед государственной властью. Когда они в своих городах впервые вышли на демонстрацию: во имя свободы, против порабощения. Призыв же к германскому единству прозвучал несколько позже.

Неожиданный поворот? Для большей части элиты на Западе — да, пусть даже они это и отрицают сегодня. А между тем в Центральной и Восточной Европе многие интеллектуалы предвидели, что позиции коммунистической диктатуры неустойчиво рушатся. Мирная революция в ГДР была частью эпохального политического потрясения. Повсюду оно заставило рухнуть бетонные стены “реального социализма”. Изменение парадигмы германской, европейской и глобальной политики началось десять лет назад. Последствия событий 1989 года еще долго будут давать о себе знать. Они будут определять повестку дня внутренней и внешней политики вплоть до XXI века. Старым убеждениям наступил конец.

¹ Здесь обыгрывается ставшее афоризмом высказывание Михаила Горбачева, сделанное им в восточном Берлине во время празднования сорокалетней годовщины ГДР в начале октября 1989 года.

В мае десять лет назад ФРГ отмечала свое сорокалетие. Пенсия была гарантирована. Кто бы мог подумать, что уже в следующую годовщину западногерманское социальное государство погрязнет в трясине проблем! Западные немцы в последний раз насладились тем, что граждане “постнациональной демократии” составляют авангард европейского просвещения.

Претензии Европейского Сообщества на монопольное право называть себя сокращением “Европа” оказались семантической нелепостью, самообманом. Лейтмотивом революции 1989 года было “возвращение в Европу”. Это напомнило западным европейцам их старое обещание: “Как только освободитесь, можете войти в наши ряды!” С тех пор идет процесс объединения того, что непосредственно друг другу принадлежит². С усилиями и вздохами. Но процесс продолжается.

Антагонистическое деление глобуса на Восток и Запад исчезло. Вместе с ним исчезло и казалось бы четкое различие между “правыми” и “левыми”. Разоблаченные перед всем миром идеологии отступают под натиском прагматичного реализма.

Уроки 1989 года остаются актуальными и — путеводными для будущего:

- прежние ценности свободы, справедливости и самоопределения утвердятся надолго: против несвободы, несправедливости и навязывания чужой воли. Эти ценности присущи человеку, составляют неделимую часть его достоинства. Они универсальны, а не просто являются особенностью западной цивилизации;

- стоит преодолевать пассивность и трусость. Стоит отстаивать в обществе собственные убеждения. Стоит проявлять гражданское мужество в борьбе за перемены. Даже в свободном обществе возможен дефицит гражданской смелости. Даже в демократическом обществе правящие склонны недооценивать готовность населения к реформам. Пример осени 1989 года по-прежнему в ходу в объединенной Германии. Он должен оставаться стимулом для всех;

² Еще один парафраз: 10 ноября 1989 года, в день, когда пала Берлинская стена, Вилли Брандт произнес в своей речи фразу, ставшую впоследствии тоже крылатым выражением: “Сейчас объединяется то, что друг другу принадлежит”. Это касалось немцев “востока” и “запада” — здесь же, разумеется, имеются в виду европейцы.

- для внутреннего единства этот пример имеет неоценимое значение. “Восточные” и “западные” немцы могут на равных говорить друг с другом. И те, и другие создали нечто такое, чего в германской истории до сих пор еще не было: восточные немцы свершили революцию во имя свободы, западные немцы построили демократию. И то, и другое может составить гордость нации. Так могут между собой побрататься патриотизм и космополитизм;

- немецкая осень 1989 года была частью европейской революции. То, что немцы, поляки, чехи, словаки и венгры, а также другие народы Центральной и Восточной Европы тогда сообща завоевали, необходимо сейчас сообща оберегать. В Европе, если перефразировать известную поговорку, свобода — это всегда еще свобода соседа.

В книге Исхода говорится, как израильтяне, изнуренные длительным походом через пустыню, стали роптать и сокрушаться, что покинули Египет. Сегодня этот феномен называют “остальгия”. Кто поддается такому настроению, пусть вспомнит момент величайшего счастья 1989 года: когда народ направился к земле обетованной Свободы.

Подданный становится гражданином Интервью с Йоахимом Гауком

Михаэль Мертес: Господин Гаук, что значит для Вас 9 ноября 1989 года — день, когда пала Берлинская стена?

Йоахим Гаук: Для большинства тех, кто участвовал в революции 1989 года, исторической кульминацией было не 9 ноября. Важнейшей датой для них является в каждом случае именно тот день, когда в их городе люди впервые вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против диктатуры СЕПГ.

В Лейпциге это был понедельник, 9 октября, у меня в Росток — 19 октября, четверг. Для людей, которые тогда скандировали “Мы — народ!”, в первую очередь важно было обеспечить свободу, справедливость и демократию в пределах своего непосредственного окружения.

М. Мертес: Единство Германии было следствием свободы.

Й. Гаук: Да, и если мы не поймем фундаментального значения свободы на нашем пути к единству, то мы упустим шанс, который сейчас особенно нужен нашей нации.

Неумение ценить свободу — слабое место нашего национального самосознания. Это находит выражение в вульгарных разговорах про политику, в которых осмеиваются потерпевшие поражение герои свободы XIX века. Именно поэтому нам необходимо осознать, что произошло в 1989 году: тогда немецкие подданные, которых в течение трех поколений ничему другому, как склонять голову, не учили, ощутили такое сильное стремление к свободе, что начали революцию.

М. Мертес: Когда требование свободы превратилось в требование единства?

Й. Гаук: Сначала вряд ли кто-то мог себе представить такой поворот. Когда Гельмут Коль, через три недели после падения Стены, представил свою Программу из десяти пунктов, на это отреагировали со скепсисом. Однако представления восточнонемецких интеллектуалов резко расходились с требованием большинства населения ГДР. Среди правозащитников шли споры о том, как нам демократизировать наше общество. В центре наших интеллектуальных дебатов стояли вопросы о человеческих и гражданских правах, возможности коммуникации между подчиненными и правящими, о надежде на свободные выборы и, как следствие, — легитимную государственную власть.

Многие хотели сохранить двоегосударственность, так как у них перед глазами был вариант “третьего пути”, некоего демократического социализма для ГДР. Но народ становился нетерпелив. “То, к чему вы стремитесь, — свобода, демократия, соразмерная оплата тяжелого труда — уже давно осуществлено, а именно в ФРГ. Символ этому уже есть — черно-красно-золотой флаг, которого нас лишили. И есть имя, с которым связаны наши надежды, — это Гельмут Коль. Мы хотим германского единства!”

Это интуитивное суждение народного большинства было рациональнее, чем мечта о третьем пути. Никто не в состоянии был определить экономику третьего пути. Поэтому поздней осенью 1989 года я с лозунгом “Мы — один народ!” стал выступать за изменение курса.

В начале декабря на пленуме ростокского Нового Форума большинство высказалось за германское единство. С таким вотумом я прибыл на всеобщую для ГДР конференцию Нового Форума в январе 1990 года. Решением подавляющего большинства из нашей программы вычеркнули слово двоегосударственность. Подобное развитие событий наблюдалось и до, и после этого на заседаниях других правозащитных объединений и партий ГДР.

М. Мертес: Ваше учреждение — результат требований правозащитников. Вы не считаете, что после успеха ПДС³ на прошедших выборах ветер стал дуть вам в лицо?

Й. Гаук: Ветер дул нам в лицо с самого начала. Часть восточнонемецкого населения так и не уяснила истинного характера диктатуры СЕПГ. Еще десять ближайших лет мы будем ощущать раскол в восточнонемецком населении. Большинство хочет распрощаться со всеми формами репрессий. Оно настроено на европейский демократический проект.

Но поскольку для СМИ только плохие новости являются хорошими, мы постоянно говорим о тех, кто голосует за ПДС. Так возникает впечатление, будто бы восточные немцы в массе своей слишком отсталые, чтобы достойно воспользоваться плодами политической свободы.

М. Мертес: Вам не мешает сопротивление ветра?

Й. Гаук: Нет, было бы ненормально, если бы у меня не было достойных врагов. Я не могу и не хочу пытаться всем угодить. Кто полагает, что после диктатуры сразу может воцариться внутренний мир, тот не понимает характера диктатур, тот ничего не знает о стратегиях власть имущих для подавления безропотных. Просвещение и открытая дискуссия о механизмах подавления порождают споры — но это нужные и целительные споры.

³ ПДС (Партия демократического социализма) сформировалась из СЕПГ, государственной коммунистической партии ГДР. В настоящее время она находит одобрение у почти 20 процентов восточнонемецких избирателей (к которым, прежде всего, относится номенклатура прошлого коммунистического режима), в то время как на западе число сторонников не превышает 1 процента.

М. Мертес: Критики упрекают Вас в том, что элитную мораль горстки диссидентов Вы возводите в ранг всеобщей нормы.

Й. Гаук: Да, так тогда писали в некоторых журналах для интеллигентной публики. Но это совершенно неверно. Кто так думает, не замечает одного существенного момента: такое решение вынес немецкий парламент, то есть Народная палата, летом 1990 года: “Мы хотим попроситься с диктатурой, открыв глаза и открыв архивы”.

Одновременно это было драматической сменой перспективы: “Достоинство человека, его личностные права мы делаем масштабом политики”. Таким образом, возникло это эпохальное и, пожалуй, беспрецедентное в политической истории решение парламента, которое было подтверждено Бундестагом в 1991 году: репрессированные имеют доступ ко всем архивам секретных служб.

Это был отказ от образа мыслей, предполагающего, что подобные данные поступают только в руки спецслужб. Было сказано “да” убеждению в том, что граждане являются членами общества, а не подданными властей. И в соответствии с новым пониманием к правам граждан относится и основное право на информационное самоопределение.

М. Мертес: В чем заключается общественный целевой эффект тех споров, которые всё еще вызывают эти документы?

Й. Гаук: В том, что те, которые были “внизу”, могут теперь сказать тем, которые были “наверху”, какой произвол учиняла диктатура СЕПГ на протяжении целых десятилетий. В том, что бывшие порабощенные могут спросить своих работодателей: “Зачем вам нужны были 90 тысяч спецagentов для всего лишь 16 миллионов человек?” Обсуждать это нужно — нация повзрослела с тех пор, как стали проводиться открытые дискуссии на подобные темы.

Особая проблема возникает в связи с тем, что к разногласиям внутри восточнонемецкого общества добавляются еще одни напряженные отношения, а именно противоречие между Востоком и Западом. Восточным немцам одновременно приходится делать две вещи: выяснять между собой, кто на чьей стороне тогда стоял, кто в чем провинился. А в отношениях с западными немцами им нужно добиваться,

чтобы их признавали равноправными гражданами ФРГ, немцами среди немцев.

На западе страны некоторые не понимают, что восточный немец не является прирожденным доносчиком. В осведомителях состояло около одного процента “осси”. Остальные хоть в большинстве своем и приспособлялись, но предателями не были.

М. Мертес: Означает ли существование “Гаук-комитета”, что немцы пошли своим особым путем, в отличие от других молодых демократий Восточной и Центральной Европы?

Й. Гаук: Нас часто в этом упрекали, но если приглядеться, можно увидеть, что мы, немцы, выбрали не плохой путь. Остальные — поляки, венгры, болгары — уже начинают на нас ориентироваться. Например, поляки непосредственно после революции решили подвести “жирную черту”. Но очень быстро они пришли к выводу, что своей главной цели — внутреннего мира — они так и не добились.

У нас Райнхардт Хеппнер⁴ и Фридрих Шорлеммер⁵ заявляли, что разоблачение преступников препятствует их готовности к возвращению и покаянию. Это оказалось серьезным заблуждением. Во всех обществах, где бывших угнетателей оставляют в покое, поощряется, как выяснилось, не радость признания со стороны преступников, а их упорное молчание.

Естественно, каждая страна должна идти тем путем, который наиболее соответствует ее специфическому прошлому. Просто в производстве архивов ГДР проявила больше усердия, чем остальные страны Варшавского Договора. Когда иностранные коллеги спрашивают у меня совета, я отвечаю: “Для нас в Германии самое важное не расследование дел, а тот факт, что бывшие угнетатели утратили монопольное право на информацию”.

М. Мертес: Вы советуете бывшим угнетенным проявлять непримиримость?

⁴ Премьер-министр федеральной земли Саксен—Анхальт, социал-демократ. ПДС проявляет “терпимость” к его правительству меньшинства в Магдебурге.

⁵ Протестантский пастор, бывший правозащитник, часто выступает в СМИ как левый интеллектуал из Виттенберга.

Й. Гаук: Нет, я советую придерживаться скепсиса, когда бывшие угнетатели требуют “примирения” и “внутреннего мира”. Вот две темы, с которыми мы постоянно сталкиваемся, общаясь с бывшими чиновниками власти. Иногда может даже показаться, что лишь диктатура не позволяла им открыто проявлять любовь к общественной гармонии.

М. Мертес: Но разве нации не должны быть готовы забыть произвол в прошлом?

Й. Гаук: Есть только один способ преодолеть прошлое — то, что немцы отучились делать: через боль, через жаркие дебаты. “Гордость за грехи” — как иронически называет Херманн Люббе стремление немцев возглавить список величайших злодеев всех времен — отчасти носит невротический характер. С другой стороны, нам следовало бы усвоить, что вытеснение чувства вины в жизни как отдельного человека, так и нации в целом, подавляет или вызывает конфликты, которые бурно дадут о себе знать впоследствии. Так было в 1968 году в ФРГ.

Я думаю, наша нация в своих же интересах должна стараться как можно осторожнее затрагивать эту тему. Но это не значит, что я против забвения. Нужно лишь провести различие между недобрым и благословенным забвением. Недоброе то, которое мы сейчас форсируем — когда сознательно закрываем глаза. Благословенное должно прийти неожиданно, когда мы совсем не ждем этого. Оно наступит, когда мы наше бездействие, нашу вину пропустим через голову и сердце, и даст о себе знать как чудотворное облегчение.

Этот глубокий христианский опыт — присутствующий, впрочем, и в других религиях — освободительного воздействия покаяния, к сожалению, исчез из нашего общества вплоть до пределов церкви. Вместо этого мы все больше и больше рассуждаем в категориях имиджа: “Следи за имиджем, и ты будешь о.к.!”

М. Мертес: Какой вклад внесли восточные немцы в создание общего прошлого нации?

Й. Гаук: Многие на западе Германии воспринимают восточных немцев прежде всего как источник расходов. В своих земляках они видят отражение самих себя двадцатилетней или тридцатилетней давности. Эти обои, эти запахи, эти ав-

торитарные представления — всё это как-то слишком старомодно и где-то даже постыдно. Ну да, восток действительно требует огромных затрат. Но виноваты в этом власть имущие, которые довели его до такого состояния.

И если сейчас вспомнить осень 1989 года, то немцы на западе должны также осознать, что восточные немцы внесли в германскую историю нечто необыкновенное и чрезвычайно ценное: люди в Лейпциге, Ростоке, повсюду, преодолели свой страх и с успехом вели борьбу за свободу, справедливость и демократию. Они приобрели для всех немцев входной билет в круг тех наций, которые имеют собственную традицию революций во имя свободы. Они добыли нам новую ценность.

Немцы могут теперь разговаривать с англичанами, голландцами, французами и американцами более уверенно, чем это было до 1989 года. Это подарок, преподнесенный нации от нас, восточных немцев. Мы сами всё еще в растерянности, что смогли совершить нечто подобное. Можно считать историческим чудом то, что при всем нашем страхе и готовности приспособляться мы претворили наши стремления в политические программы, которые затем фактически привели к демократии.

До тех пор, пока немцам более удобной будет мысль, что наша нация способна только на поражения, пока мы видим себя только как нацию преступников, мы не поймем, каким ценным для нашего коллективного сознания был подарок от восточных немцев. И если нам не удастся внести позитивный опыт в наше самовосприятие — горе нам!

М. Мертес: Когда Ваш комитет прекратит свою деятельность?

Й. Гаук: Это произойдет тогда, когда материал станет настолько историческим, что им будут пользоваться только историки. Но этого не предвидится в течение еще двадцати или тридцати лет.

В ближайшие годы учреждение существенно уменьшится, поскольку часть функций отпадет. Одна из них завершится уже в этом году — помощь в уголовном преследовании. Текущие предварительные расследования будут доведены до конца, но курирующая их прокуратура II Отдела под руководством Кристофа Шефгена при федеральном судебном округе Берлина свою деятельность заканчивает.

Второй этап завершится, так сказать, подведением жирной черты. Только в течение пятнадцати лет мы, члены общественной организации, имеем право на расследование по запросу юридических лиц. На вопрос о возможном сотрудничестве со Штази (*Staatssicherheit* — служба госбезопасности) мы можем сказать только “да” или “нет”, о последствиях — при положительном ответе — решать юридическому лицу; более половины бывших сотрудников Штази остаются на своих постах.

Наконец, продолжает существовать право на просмотр архивов у пострадавших от режима граждан — непосредственно для себя или для умерших родителей. Мы видим, что некоторым требуется довольно много времени, несколько лет, прежде чем решить, действительно ли они хотят это знать. Иногда дети хотят этого больше, чем пережившие те времена родители. Поэтому возможность личного просмотра архивов остается основной сферой нашей деятельности.

С этим непосредственно связана следующая задача: активная обработка рассекреченных архивов для СМИ и исторических исследований. До тех пор, пока мы занимаемся вопросом, какой ущерб наносит обществу диктатура, интерес к этой теме будет не только историческим. Речь идет о фундаменте нашей демократии.

Октябрь 1999

Часть III
Политическая культура
и религия

Согласно Карлу Попперу, суть политики состоит не в том, чтобы найти ответ на вопрос “В чьих руках должна быть власть?” или “Чья воля должна быть превыше всего?”. Ключевой проблемой политики является вопрос демократического устройства: “Как организовать наши политические институты, чтобы плохие и некомпетентные правители не имели возможности нанести нам непоправимый ущерб?” Или: “Как нам организовать политические институты, так чтобы мы всегда могли без кровопролития избавляться от плохих и некомпетентных правителей?”

Демократические изменения

Основной вопрос политики

Мы задаем себе такие вопросы, потому что убеждены: на свете нет непогрешимых людей. Каждый человек подвластен заблуждениям и может оказаться виновным. Следовательно, необходимо позаботиться о качестве нашего демократического устройства. Хорошие институты важнее хороших правителей. Конечно, всем хочется, чтобы власть находилась в хороших руках. И значит тем более требуются надежные гарантии против недобросовестных людей. Эти гарантии необходимы также потому, что и хорошие люди могут превратиться в добрых диктаторов, которые будут стремиться навязывать нам свое собственное представление о нашем счастье.

Вопрос “В чьих руках должна быть власть?” не дает объяснений, почему всем другим формам правления мы должны предпочесть именно демократию. Хорошо, когда мы отвечаем: “Народ!” (или “Большинство!”). Но в течение последних 2500 лет предлагались и другие варианты ответов: “Лучший!”, “Умнейший!”, “Прирожденный руководитель!”. Или: “Volonté générale!” (“Высшая воля!”), “Пролетариат!”, “Нация!”, “Высшая раса!”, “Эксперты!” — и так далее.

Даже при ответе “Народ” не удастся избежать проблемы, которую когда-то предсказал современным демократиям Алексис

де Токвиль: демократическая форма правления может вступить в конфликт со свободой отдельного человека — вследствие тирании большинства или тирании демократической бюрократии. Другими словами, даже в условиях демократии неизбежно встает вопрос: “Как нам помешать плохим и некомпетентным руководителям причинить слишком большой ущерб?”

Процесс выборов: Справедливость или функциональность?

Если основной вопрос политики формулировать по Карлу Попперу, станет очевидным, почему курс по истории демократии не должен ограничиваться обзором того, как менялись организационные основы государственной власти. Вопрос “Как подчинить государственную власть системе сдержек и противовесов (“checks and balances”)” требует к себе не меньше внимания.

Одним из самых важных факторов, контролирующих власть, является ограничение сроков полномочий. Все демократические конституции каким-то образом предусматривают ограничение срока правления для исполнительной власти и ограничение срока легислатуры для законодательной власти. Но в вопросе, в какой степени тот или иной порядок проведения выборов благоприятствует смене правительства или затрудняет его, наблюдаются заметные расхождения.

В условиях парламентаризма определение избирательного права должно отвечать либо требованиям справедливости, либо целесообразности, либо исходить из комбинации этих двух компонентов (см. *табл. 1*). Пропорциональная избирательная система (выборы по принципу пропорционального представительства) *более справедлива*, чем мажоритарная система выборов, так как все голоса обладают равным весом и одинаково учитываются при подсчете. В парламенте, таким образом, отражается весь спектр политических сил страны. Недостаток пропорциональной избирательной системы заключается в том, что чрезмерная дробность политических группировок в парламенте негативно сказывается на его дееспособности.

Пропорциональная избирательная система практически всегда приводит к созданию коалиционных правительств — и чем больше партий в коалиции, тем менее стабильным будет

Таблица 1

**Сравнения
мажоритарной и пропорциональной системы выборов**

Следствие	Мажоритарная	Пропорциональная
Двухпартийная система	да	нет
Разрастание мелких партий	нет	да
Однопартийное правительство	да	нет
Коалиционное правительство	нет	да

Справедливость

Диспропорциональность ("потерянные голоса")	да	нет
Парламент как "отражение" воли избирательного корпуса	нет	да

Функционирование

Стабильное парламентское большинство	да	нет
Стабильное правительство	да	нет
Четкое распределение полномочий	да	нет
Смена власти, произшедшая в результате выборов	более вероятно	не так вероятно

правительство. Кроме того, в коалиции сложно осуществить избрание нового главы правительства, даже если того требует большинство избирателей. Представим себе парламент с тремя фракциями — партией *A* (48 процентов мандатов), партией *B* (40) и маленькой партией *C* (12). *C* состоит в коалиции с *A*. Во время выборов партия *A* проигрывает (теперь имеет 39 процентов мандатов) и выигрывает *B* (теперь 49). Для получения парламентского большинства партии *B* необходимо вступить в коалицию с партией *C*; но *C* сохраняет верность *A*, и прежний руководитель правительства от партии *A* остается на своем посту. Если придерживаться критерия Поппера (“Как нам без кровопролития освободиться от плохих и некомпетентных правителей?”), то это можно считать самым серьезным недостатком пропорциональной избирательной системы и самым убедительным аргументом в пользу мажоритарной избирательной системы.

Игры с коалициями: большая или маленькая?

Как происходит смена правительства в условиях пропорциональной избирательной системы? Я хотел бы ответить на этот вопрос не абстрактно, а обращаясь к германским рамочным условиям.

- Пятипроцентный барьер существенно снижает вероятность негативных последствий при пропорциональной избирательной системе. Он препятствует, прежде всего, чрезмерной дробности партийных групп в парламенте.

- Правоцентристский блок в германском Бундестаге представляют христианские демократы и либералы, а левоцентристский — социал-демократы и зеленые. Кроме того, есть еще одна группировка, занимающая откровенно левую позицию, — партия бывших коммунистов Восточной Германии.

- Христианские демократы и социал-демократы являются “народными партиями”, то есть идеологически умеренными группировками, которые ориентируются на избирателей из всех профессиональных групп и социальных слоев, всех конфессий, всех регионов и всех поколений.

Предполагаемое число партий, способных в подобных условиях участвовать в создании коалиционного правительст-

ва, соответствует — теоретически — показателю между “1” и “4” (табл. 2). “Маленькой коалицией” называют у нас правительство, в состав которого входят одна из двух больших партий и одна из двух маленьких. С 1998 года в Германии правит маленькая коалиция из социал-демократов и “зеленых”, до этого у власти находилась коалиция христианских демократов и либералов.

Таблица 2

**Возможные варианты коалиций
в условиях многопартийной системы**

Количество партнеров	Когда возможно и/или имеет смысл	Хорошо или плохо для демократии
1. Все партии, представленные в парламенте	<ul style="list-style-type: none"> • В переходные периоды от диктатуры к демократии • Национальный кризис 	Плохо, поэтому категорически исключено
2. Большая коалиция	<ul style="list-style-type: none"> • Национальный кризис • Внесение поправок в конституцию (необходимо одобрение двух третей) • Нет союзников среди маленьких партий 	Пятьдесят на пятьдесят, поэтому исключается
3. Маленькая коалиция	Партнер — мелкая демократическая партия (У сильной фракции “стратегическое большинство”?)	Хорошо
4. Однопартийное правительство	Абсолютное большинство мандатов в парламенте	Хорошо

С 1998 года социал-демократы имеют в Бундестаге “стратегическое большинство”. Относительное большинство мандатов получает название “стратегического” в том случае, если против самой сильной фракции в парламенте де-факто невозможно создать коалицию. Теоретически возможен союз между христианскими демократами, либералами, зелеными и посткоммунистами, но на практике это исключено — из-за принципиальных политических разногласий между христианскими демократами и либералами, с одной стороны, и “зелеными” и посткоммунистами, с другой.

Тот, кто располагает стратегическим большинством, может позволить себе выбирать союзников. Так, в современном парламенте социал-демократы могли бы — тоже теоретически — помимо “зеленых” создать коалиционное правительство с либералами или христианскими демократами. Союз между социал-демократами и христианскими демократами, то есть двумя большими народными партиями, назывался бы “большой коалицией” (в народе также в ходу определение “свадьба слонов”).

Федеральный канцлер Шрёдер умело использует — как и его предшественник Коль — потенциальную возможность смены партнера в качестве скрытой угрозы, чтобы приучить к дисциплине маленького партнера по коалиции. Этот инструмент власти является чрезвычайно ценным для каждого руководителя правительства. В условиях германской мажоритарной избирательной системы большие народные партии практически не имеют никакого шанса добиться абсолютно-го большинства; поэтому они стремятся к варианту стратегического большинства, как наиболее приемлемому в существующих условиях.

Почему “большие коалиции” должны быть исключением?

Создание больших коалиций возможно только в исключительных случаях, например во времена национального кризиса, когда для применения радикальных мер необходим широкий парламентский консенсус. Внесение серьезных поправок в конституцию (для утверждения которых требуется одобрение двух третей парламентских голосов) тоже может оправдать существование больших коалиций — хотя этот ар-

гумент менее убедителен, чем вариант с национальным кризисом. Большие коалиции становятся политической необходимостью и в тех случаях, когда единственной альтернативой им являлось бы объединение одной из двух народных партий с право- или левоэкстремистской группировкой или когда более сильная из двух народных партий образует правительство меньшинства.

Если ни один из четырех случаев не имеет место, то против “свадьбы слонов” есть возражения как принципиального, так и практического характера.

- Большие коалиции представляют собой картельные соглашения, исключая демократическое соперничество. Это вызывает негативные изменения в политической культуре, идеалом которой при демократии должен быть цивилизованный спор. Постоянный обмен аргументами и контраргументами является источником прогресса; демократия не означает стремления к единодушию, она призвана защищать идеологический плюрализм, создавая необходимые условия для мирного разрешения конфликтов. Впрочем, межпартийные политические дискуссии и открытые столкновения интересов редко находят одобрение у многих немцев.

- Большие коалиции обладают подавляющим большинством голосов в парламенте (от 70 до 90 процентов). Им противостоит крошечная оппозиция. Разумеется, это ослабляет парламентский контроль над правительством, что в свою очередь не согласуется с демократическим принципом ограничения власти.

- Большие коалиции — так, по крайней мере, учит германский опыт — способствуют возникновению популистских партий и внепарламентских движений протеста. Эти группировки находят поддержку со стороны всё возрастающего числа избирателей, которые считают, что “те там наверху” образовали закрытую картель в целях сохранения собственной власти. Уже нет воззваний, требующих мирного сосуществования больших партий. Протест против чрезмерной концентрации власти соответствует здоровому демократическому инстинкту; но, к сожалению, следует подчеркнуть, что популистские партии, как правило, возникают на правом и левом краю политического спектра. А это снова нарушает стабильность политической системы.

- Большие коалиции любят устраивать закрытые и утомительно долгие совещания. Им нужно учесть интересы всех

своих многочисленных участников. Оппозиция слишком слаба, чтобы хоть как-то ускорить неторопливую поступь слонов. Это может привести к роковым последствиям в ситуации национального кризиса, когда необходимо проводить самые смелые реформы. Парадоксальным образом именно в этот период в обществе громче всего раздаются призывы к созданию больших коалиций.

Стабильность вопреки изменениям

Стагнация вызывает — как бы странно это не казалось — длительную нестабильность. Стабильность есть результат эволюционных изменений. Эволюционный характер демократических изменений обеспечивается рядом факторов, которые гарантируют континуальность независимо от дискретности власти.

Самым важным фактором является сильный центр — широкий социально-экономический средний слой, против которого невозможно бороться на выборах. Существование этого центра сдерживает радикализм партийных программ, благодаря чему смена власти не приводит к радикальным изменениям политической континуальности.

Не менее важную роль играет способность демократических партий привлекать на свою сторону радикально настроенных избирателей правого или левого крыла. Но одновременно демократические партии должны отвергать любые формы сотрудничества с экстремистами, не говоря уже о создании с ними коалиций, — пусть даже это будет стоить им места в составе правительства.

Чиновничий аппарат, представители которого подчинялись бы только конституции, может стать хорошим подспорьем для поддержания континуальности. Следующее условие — единодушное признание всеми партиями правил корректной игры в условиях демократического соперничества. Политическая культура демократии нуждается в честных проигравших даже в большей степени, чем в честных победителях. Все демократии словом и делом должны демонстрировать, что никакое, даже самое ожесточенное, соперничество за власть не может подорвать основ демократического строя.

Как объяснить, почему правительства приходят и уходят? Не спрятан ли где-нибудь гигантский часовой механизм, определяющий неизменный цикл приливов и отливов, неуловимый маятник триумфов и падений, — или есть более простые объяснения? Если этот процесс подчиняется закономерности, то нельзя ли хотя бы приблизительно установить его периодичность? Что общего и каковы различия в конъюнктурах власти Германии, Франции, Великобритании и Соединенных Штатов Америки? Эти вопросы стали предметом научно-политического коллоквиума на тему “Успех и крушение правительств”, который состоялся в апреле 2000 года при организационной поддержке “Исследовательской группы Германии” от Центра прикладных политических исследований в Мюнхене (САР) и фонда Ханса Зайделя. В своем докладе — представленном здесь в кратком варианте — я рассматриваю политику как некую саморегулирующуюся систему. Безусловно, эта модель слишком абстрактна, чтобы полностью соответствовать действительности. Демократическое соперничество за власть — это всегда еще соперничество за поддержку большинства по определенным политическим содержаниям, во всяком случае, таким оно должно быть в первую очередь. Для реалистического понимания политики необходимы и условие правильного политического содержания, и условие обретения и утверждения власти. Последнее стало темой моего доклада; я полностью отдаю себе отчет в одностороннем характере такого подхода.

Циклы правления

Колебания маятника

Попытки определить в исторических водоворотах конъюнктуру власти существуют уже давно. Большую часть этих определений можно подвести под “теорию маятника”. Так, авторитетный американский историк Артур М. Шлезингер выдвинул тезис, согласно которому смена политической власти проис-

ходит каждые тридцать лет¹. Этот отрезок времени определяет расстояние между поколениями: инкубационный период от зачатия до прихода к власти, который символически можно обозначить как качание идеологического маятника. Похожим образом интерпретирует триумф “красно-зеленых” во время парламентских выборов 1998 года Элизабет Ноэлле-Нойманн: как запоздалую победу мятежного студенческого духа 1968 года².

Если такие идеологические циклы существуют, то их, по видимому, непросто будет втиснуть в схему “левые” против “правых” или “прогрессивное” против “консервативного”. Сегодня это заметно как никогда. Риторика социал-демократов о “третьем пути” и “новом центре”, пожалуй, самым убедительным образом доказывает, что по завершении “холодной войны” и с началом глобального победного шествия рыночной экономики идеологическая поляризация уступила место трезвому прагматизму. По крайней мере, сейчас. Такой лозунг, как “свобода вместо социализма”, ставший в 1976 году избирательным слоганом ХДС, в ближайшее время звучать уже не будет. Более того, американский республиканец Джордж В. Буш во время своей избирательной кампании посчитал целесообразным выдвинуть центристский лозунг “compassionate conservatism”, чтобы расположить к себе умеренно настроенных избирателей³.

Но что еще, кроме идеологии, может отличать партии друг от друга? Сегодня популярен следующий ответ: определяющим в демократическом соперничестве стало умение компетентно решать проблемы.

Но это только часть правды. Избиратели задают не только вопрос “Как делается политика?”, но и “Куда она ведет?”. Элизабет Ноэлле-Нойманн предлагает заострить привычный антагонизм левых и правых антагонизмом “равенство против свободы”. Шлезингер тоже не желает так просто отказываться от идеологических противоречий — он пытается заменить

¹ См.: *Arthur M. Schlesinger, Jr. The Cycles of American History.* Boston/New York 1999 (Mariner Books). P. 29–31. Cp. *Ludger Kühnhard. Rhythmen der Politik.* — “Frankfurter Allgemeine Zeitung” от 14 мая 1996 года. С. 12.

² См.: *Elisabeth Noelle-Neumann. Später Sieg des linken Zeitgeistes.* — “Die politische Meinung” Nr. 349 (декабрь 1998). С. 13–14.

³ Cp. *Felix E. Müller. Compassionate Conservatism. Der Kernbegriff des Wahlprogramms von George W. Bush und seine Hintergründe.* — “Neue Zürcher Zeitung”, от 5 августа 2000 года.

устаревшие формулы более утонченными оппозиционными парами. По его убеждению, общество (по крайней мере американское) движется по циклам, в которых попеременно доминируют либо личные интересы, либо общественное благополучие.

В Германии канцлер Шрёдер выступает наиболее авторитетным защитником тезиса, согласно которому конъюнктура власти подчинена тридцатилетнему ритму поколений и идеологий. 10 ноября 1998 года он в своем правительственном послании заявил, что приход к власти красно-зеленой коалиции является “также сменой поколений в жизни нашей нации”. Одного взгляда на состав правительства достаточно, чтобы понять, “что именно стало политической закалкой для большинства из нас”. Он и его министры были свидетелями и участниками “культурного прорыва из времен реставрации. Это поколение формировалось в атмосфере протеста против авторитарных структур и в процессе испытания новых общественных и политических моделей”.

Предполагать, что конъюнктуры власти подчинены диалектическим скачкам мирового духа, по-своему заманчиво, но против этой гипотезы можно выдвинуть ряд практических возражений.

Во-первых, подобные теории достаточно расплывчаты, чтобы быть в состоянии объяснить одновременно все и ничего. Каждый год наши ток-шоу и газетные публикации открывают новое поколение — двадцать лет назад это было “Null-Bock-” и “No-Future-Generation” (“поколение без будущего”), затем пришли “Neunundachziger” (поколение 89 года), “Generation Kohl”, “Generation Berlin” и “Generation Golf”⁴. До недавнего времени последним криком моды считалось не вылезавшее из Интернета “Generation @”, пока в мае 2000 года “Шпигель” не обнаружил “Generation Ich” (“я”-поколение). Что из всего этого правда — неважно. Важно то, что

⁴ Названием обязано модели “Golf” фирмы Volkswagen. Речь идет о возрастной группе с 1965 по 1975 год рождения. Редактор публицистического отдела газеты “Frankfurter Allgemeine Zeitung” Флориан Иллиес, 1971 года рождения, увековечил это поколение в своем автобиографическом произведении “Generation Golf”, ставшем бестселлером. Моя коллега Кристиане Флорин, которая по возрасту тоже относится к этому поколению, дала философии Иллиеса довольно меткое определение: “Эстетика вместо этики” (см. “Rheinischer Merkur” от 17 марта 2000 года).

число наших социологов постоянно растет, а вместе с ними набирает темп и карусель поколений.

Во-вторых, факты опровергают некоторые интуитивные суждения, построенные на теории закономерной смены поколений. Возьмем в качестве примера смену правительств Коля и Шрёдера. В знаменательный день 27 октября 1998 года средний возраст последнего кабинета министров Коля составлял 54, 4 года, а у первого кабинета министров Шрёдера 52,5 лет. Разница не впечатляет, и, разумеется, нет никаких оснований говорить о “смене поколений”. Оптический обман объяснить просто: у канцлеров разница в возрасте составляет 14 лет.

В-третьих, область применения теорий маятника ограничена. Они могут способствовать лучшему пониманию причин “смены власти”, но едва ли в состоянии объяснить, почему происходит смена правительств или смена канцлеров при одном и том же правительстве.

В Германии о “смене власти” принято говорить в том случае, если происходит смена коалиций с наиболее представленной фракцией — христианскими демократами или социал-демократами. Таких переломных моментов в Германии было три:

- в 1969 году Курта Георга Кизингера (ХДС) сменил Вилли Брандт (СДПГ),
- в 1982–1983 годах Гельмута Шмидта (СДПГ) сменил Гельмут Коль (ХДС),
- в 1998 году на смену Гельмуту Колю (ХДС) пришел Герхард Шрёдер (СДПГ).

И отдельно следует рассматривать смену правительства в 1966 году, когда на смену Людвигу Эрхарду (ХДС) пришел Георг Кизингер (ХДС), и смену канцлеров в 1974 году, когда Вилли Брандта (СДПГ) сменил Гельмут Шмидт (СДПГ).

Теории износа

“Теории износа” лучше приспособлены объяснять причины смены правительств и канцлеров. Их основная предпосылка состоит в следующем: смена власти происходит не оттого, что в выборах выигрывает оппозиция, а оттого, что проигрывает правительство.

Только “теории износа” достаточно убедительно объясняют, почему в мире, где исчезает идеологическая поляризация,

продолжают существовать циклы правления. Эта теория подтверждается таким безусловно универсальным фактом, что власть с течением времени изнашивается, исчерпывается, деградирует и исчезает.

Давайте наглядно представим себе жизненный путь правительства.

В начале первого избирательного срока царит атмосфера перемен. Новое правительство полно решимости действовать. Его представители так чисты и свежи, что даже искушенные журналисты поддаются под обаяние их невинности. Когда новички сталкиваются с первыми трудностями, они могут сослаться на тяжелый груз, доставшийся им в наследство от предшественников: задолженности, не доведенные до конца реформы и множество других проблем. Великодушная общественность выдает дебютантам кредит, по крайней мере, на пресловутые сто дней.

В одном из стихотворений Германа Гессе говорится: “В каждом начале есть волшебство, которое хранит нас и помогает нам жить”. Оппозиции это, разумеется, не касается. Она зализывает раны и анализирует, что стало причиной поражения. раздаются призывы к обновлениям персонала и программы. Здесь заняты, в первую очередь, самими собой.

Теперь давайте перемотаем пленку в конец второго избирательного срока: правительственный лагерь погряз в банальностях рутины. Былые герои, кажется, пресытились. Внутренние трения и соперничество уже не производят впечатления бьющей через край энергии, а наводят на мысль о прогрессирующем параличе. Ссылки на тяжелое наследство уже не срабатывают. Теперь общественность почти за каждую неудачу винит тех, “которые там, наверху, в Берлине” (раньше в Бонне), даже тогда, когда ответственность лежала не на правительстве, а виной тому, что и вызывает недовольство, были упущения со стороны федеральных земель или Европейского Союза (коротко: “Брюсселя”⁵).

А за это время регенерировалась оппозиция — после тяжелых дебатов по вопросам программы и персонала. Юные голодные таланты рвутся к кормушкам власти. Полные энергии и новых идей, они выдвигают себя в качестве достойной альтернативы измотанному правительству.

⁵ Почти три четверти экономических законов (директив) издается на уровне Европейского Союза, а не национальных государств.

Между тем — как правило, после серьезных потерь правящих партий на выборах ландтага, — всегда существует возможность для так называемого нового старта. Он должен воскресить волшебство начала. Если речь идет о масштабных акциях, то изощренные наблюдатели начинают говорить о “смене парадигмы”. Канцлер заявляет: “Мы все поняли” — и превращает поражение на выборах во второй шанс для себя. Происходит реорганизация кабинета министров. Коалиция отказывается от непопулярных законопроектов. При умной дозировке новый старт может стать эффективным средством для того, чтобы затормозить неизбежный процесс старения и коррозии власти.

Прекрасно, но рискнем ли мы определить, сколько времени длится это кино? Существует ли эмпирическое правило, закон буравчика, в определении конъюнктуры и сроков правления?

Давайте проведем эксперимент. Попробуем предположить, что на федеральном уровне

- нормальный период правления составляет два избирательных срока, то есть восемь лет;
- период в один избирательный срок возможен в случае, если правительство экстремально плохое;
- и три избирательных срока — при полной недееспособности оппозиции.

Ограничение “федеральным уровнем” не случайно, поскольку на уровне земель стрелки, кажется, ходят по-другому. Теории такта в два избирательных срока откровенно противоречит необычайная продолжительность правления, скажем, в Норд-Рейн-Вестфалии (с 1966 года у власти в Дюссельдорфе СДПГ) или в Баварии (в Мюнхене ХСС правит с 1945 года, с двумя небольшими перерывами в первые годы существования).

Ну, а теперь приступим к тесту.

Первая фаза правления в федерации длилась с 1949 по 1963 год.

Эпоха Аденауэра продолжалась более трех избирательных сроков и с потерей абсолютного большинства фракции завершилась в 1961 году — если не считать отсрочку, которой дедушка пользовался до 1963 года. Период в двенадцать лет еще не выходит за пределы допустимых отклонений от нормы.

Вторая фаза правления охватывает период от 1961/63 до 1969 года, то есть время пребывания в должности канцлера

Эрхарда и затем Кизингера. Это соответствует такту в два избирательных срока, но никак не соотносится с представлением о маятнике, колебания которого происходят справа налево и обратно. Это скорее напоминает большой эпицикл — как передышку между эпохой Аденауэра и эпохой Брандта/Шмидта. Впрочем, не исключена и другая интерпретация: канцлерство Людвига Эрхарда как подведение черты эпохе Аденауэра — и Большая коалиция как предвестник эпохи Брандта/Шмидта.

Третья фаза, социал-либеральная, длилась более тринадцати лет, с 1969 по 1982 год. Чтобы объяснить это отклонение от такта в два периода, мы можем снова сослаться на эпицикл и связанные с ним колебания: во время парламентских выборов 1976 года, то есть после семилетнего правления социал-либеральной коалиции, христианские демократы, собрав 48,6 процента голосов, практически добились абсолютного большинства депутатских мандатов, однако СвДП пока еще не хотела расставаться с СДПГ.

В экономической и финансовой политике, а позже и в политике безопасности, у СвДП было больше единодушия с ХДС, чем с СДПГ, но борьба вокруг политики Брандта относительно Востока и ГДР развезла такую огромную бездну между христианскими демократами и СвДП, что преодолеть ее стало возможным только после парламентских выборов 1980 года.

Четвертая фаза, с правлением Коля, длилась шестнадцать лет (или четыре избирательных срока). Однако, если присмотреться, в этом нет никаких аномалий. Здесь мы имеем дело скорее с двумя нормальными фазами — с 1982 по 1990 и с 1990 по 1998 год. Их разделяет падение Берлинской стены и германское единство.

До падения Стены было достаточно оснований сомневаться в том, что Гельмуту Колю удастся заново отстоять звание канцлера во время парламентских выборов конца 1990 — начала 1991 годов. В период реорганизации правительства в конце апреля 1989 года и после отставки Хайнера Гайслера с поста генерального секретаря ХДС Коль пережил тяжелейший кризис за все время своего правления, который ему удалось затем успешно преодолеть и ненадолго вновь укрепить свою власть. Но опросы показывали, что у коалиции по-прежнему не было большинства во время выборов.

Оскар Лафонтен, премьер-министр из Саара, имел прекрасные шансы стать кандидатом в канцлеры от СДПГ. Он во

многих отношениях олицетворял мироощущение ФРГ тосканской осени. Дружеские знаки Ханса-Дитриха Геншера, адресованные Оскару Лафонтену, усиливали недоверие ХДС относительно намерений либеральных партнеров коалиции на предстоящий парламентский срок. Подозрение было вполне обоснованным, так как СвДП, следуя стратегическому принципу, вполне могла переметнуться на сторону предполагаемого более сильного противника.

Впрочем, тогда Геншер и пустил в оборот выражение “Gezeitenwechsel” (“смена прилива и отлива”), суггестивное понятие, вызывающее представление о циклах; согласно ему новый приход социал-либеральной коалиции должен выглядеть как неизбежный результат действия закона природы. Но — будь то прилив или отлив — сине-желтый буй всегда остается на плаву. (*Сине-желтый — цвета партийного знамени СвДП.*)

Как бы там ни было, бесспорно одно: известные политические события, произошедшие в мире, дали Колю второй шанс стать канцлером и возглавить правительство.

Доказательства тому, что такт длится два избирательных срока, можно найти не только в истории послевоенной Германии. В Америке президентское правление ограничено периодом в два избирательных срока. Во Франции два септената, то есть четырнадцать лет (что у нас соответствовало бы более чем трем избирательным срокам) удалось выдержать только Миттерану — де Голль поднял белый флаг в 1969 году, то есть через десять лет правления. Недавно был принят указ о сокращении президентского срока до двух так называемых квинкенатов, то есть до десяти лет. Даже Маргарет Тэтчер продержалась всего одиннадцать лет (или почти три германских избирательных срока) — то, что тори смогли продержаться в общей сложности восемнадцать лет, вероятней всего свидетельствует о катастрофически затянувшейся слабости “Old Labour”.

Почему власть исчезает

Как объяснить то, что власть с неумолимой закономерностью уходит? Вот список причин, которые, впрочем, не претендуют на всеохватность. (К тому же, не все причины действуют одинаково и одновременно.)

Первое: возрастает число разочаровавшихся сторонников правительства. Избежать этого невозможно. Суровая реальность, вынужденные компромиссы с партнером по коалиции (или между двумя группировками одной правящей партии) и закономерные неудачи политических будней приводят к тому, что многие ожидания не оправдываются.

Второе: со временем деятельность правительства всё больше сводится к таким решениям, принять которые невозможно, не ударив при этом лицом в грязь. Правительство всё чаще стоит перед дилеммой: что делать — поступать действительно правильно, то есть ценой позора исправлять собственные ошибки, или с поднятой головой последовательно идти до конца заведомо ложного пути?

Третье: каждое правительство с течением времени теряет первоначальную свежесть. Ничто так не впечатляет, как притягательная сила харизмы — и ничто так стремительно не исчезает, как эта разновидность ауры. Правительство представляет собой сотрудничество избираемых политиков и чиновников — или, если воспользоваться терминологией Макса Вебера, микстуру, состоящую из харизматической и рациональной власти. В этом напряженном соотношении сначала доминируют политики, но в конце концов победу одерживают чиновники. Через какое-то время чиновничий менталитет подчиняет себе и мышление руководителей правительства.

Рациональная власть подразумевает гласность. Но в свете дня сияние харизмы пропадает — мистерия вдруг оказывается мистификацией, появляется эффект “дежа-вю”. Бывшие юные герои все сильнее запутываются в сетях бюрократических проволочек.

Профессионалы власти проблему знают и пытаются, по крайней мере для общественности, изобразить ее решение. Как правило, канцлер любит выдавать себя за того, кто находится вне бюрократического истеблишмента и готов объединиться с народом против оторванного от жизни чиновничьего аппарата. Если он еще руководитель партии, то у него есть возможность объединиться с рядовыми членами против “ономенклатурированной” верхушки. Однако чем дольше канцлер или руководитель партии пребывает в должности, тем менее убедительно выглядит он в роли простого парня (или женщины) из народных и партийных масс, который подобно Святому Георгию побеждает драконов бюрократии и номенклатуры. Вместо этого он всё более воспринимается

таким, каков он есть на самом деле: как часть государственного и партийного аппарата.

Быть одновременно правительством и оппозицией — в таком шпагате трудно продержаться. Лучший тому пример демонстрирует мексиканская “партия институционализованной революции”. Революция и институты — что за противоречие! С 1929 года эта партия практически монопольно определяет политику Мексики, и за это время в ней не осталось ничего “революционного”, все “институционализовалось”.

Четвертое: у главы правительства возникают проблемы после того, как он одержит окончательную победу над “врагом в собственных рядах”. Борьба с внутренним врагом — испытанное средство для демонстрации власти и возвращения былой харизмы. Это знал еще Макиавелли⁶. Удача, как полагал он, посыпала князю врагов, чтобы дать ему случай “победить их и подняться выше по лестнице, поставленной для него врагами”. На худой конец князь должен сам хитро возбудить против себя некоторых врагов, чтобы “одолев их, еще больше увеличить свою славу”⁶.

Пятое: к инфекциям, которыми бюрократический менталитет поражает мышление политика, относится, в частности, неминуемое жесткое распределение полномочий, которое затем ревностно блюдут. Каждое новое правительство ступает на девственную почву. В естественном состоянии нет тщательно выверенных участков компетенции, все воодушевлено общим успехом. Но потом начинают один за другим вводиться заборы с колючей проволокой.

Наконец, всю систему охватывает потенциально смертельная болезнь, которую можно было бы назвать “институциональным склерозом”. Парадоксальным образом эта дестабилизирующая болезнь является следствием длительной стабильности. А у беды законов нет — ее не трогает чья-то возня за сферу компетенции.

Шестое: испытание успехом. Немного напоминает то, что сказал однажды Оскар Уайльд: “В этом мире бывают только две трагедии. Когда наши желания не сбываются и когда они сбываются. Второе хуже”.

Что делать, если начальная повестка с эпохальными вопросами уже исчерпана и больше нет вершин, требующих покорения? И когда раздаются требования: “Нам нужна новая

⁶ Государь, глава XX.

цель!”, — уже бывает поздно, а когда звучит призыв: “Вперед!”, — всё уже кончено. В той же мере это относится и к утверждениям, что “запас согласия” в коалиции уже на исходе и что его нужно срочно пополнять.

Седьмое: герои устали. Возрастает чувство пресыщения. Я напомним здесь только то, что правительство Эрхарда потерпело неудачу в 1966 году отчасти оттого, что партнеры по коалиции — ХДС и СвДП — просто-напросто перестали друг друга выносить.

Восьмое: свита вознаграждена. Новое правительство предлагает своим сторонникам заманчивые перспективы карьерного роста. Когда-нибудь наступит момент, когда все высокие посты будут уже распределены. Одни получают то, что хотели, другим же рассчитывать будет уже не на что. Таким образом, исчезает стимул, порождавший динамику.

Девятое: потеря чувства реальности. Макиавелли и здесь высказал важную мысль⁷: князья, которые властвуют в течение многих лет, перестают чувствовать угрозу своему господству, как вообще свойственно человеку — “в ясную погоду забывать о буре”. Тот, чья жизнь слишком часто висела на волоске, в конце концов, начинает верить в собственное бессмертие.

Кроме того, концентрация (как правило, неминуемая) ресурсов власти в руках одного человека (канцлера или председателя партии) может изменить его трезвое отношение к жизни. Другая причина, которая со временем тоже приводит к потере чувства реальности — сокращение потока информации, вследствие чего возникает парализующее волю состояние неуверенности. Считать, что на это не стоит обращать внимания — слишком примитивное решение. В политике необходимо обладать искусством самовнушения: кто не верит в свои шансы, уже заранее проигрывает борьбу за власть. Но и тот, кто нереально смотрит на вещи, тоже проигрывает. Выход из этого тупика неизвестен, разве что, следуя испытанному приему Мюнхгаузена, можно попытаться выкарабкаться из трясины плохих новостей, опираясь на собственный оптимизм.

Десятое: время перемен — против этого определения, против этого слогана уже ничего не скажешь, по крайней мере, начиная с того момента, когда на горизонте замаячила новая надежда.

⁷ Государь, глава XXXIV.

Подтверждение этому — борьба на парламентских выборах в Германии 1998 года, когда вся избирательная кампания строилась на одном лозунге “Шрёдер — наша надежда, Коль — вчерашний день”. Что именно способствовало успеху этого выражения, подробно объяснять сейчас не имеет смысла. Одно не вызывает сомнений: людям не так важен исторический характер событий, как то, чего они хотят в будущем. Они, как точно заметил Макиавелли⁸, “намного больше заботятся о сегодняшнем дне, чем о вчерашнем, и если сегодня находят нечто полезное, то удовлетворяются им и не гонятся за другим; к тому же они непременно вступятся за нового государя, действующего нужным образом. Двойной славы добьется тот, кто создаст государство и упрочит его хорошими законами, хорошими союзниками, хорошим войском и хорошими примерами, так же как вдвойне опозорит себя тот, кто являясь по рождению государем, из-за недостатка мудрости потеряет власть”.

В демократии всегда приходит конец чьей-то власти. Рано или поздно. Но с такой же вероятностью, как “аминь” в церкви. Разве это плохо?

⁸ Там же, глава XXIV.

В 1999 году ФРГ отмечала две важные даты в истории германской Конституции. Во-первых, 80-летие Веймарской конституции, которая стала фундаментом первой немецкой демократии, разрушенной в 1933 году с приходом к власти национал-социалистов во главе с Гитлером. Во-вторых, 50-летие Боннской конституции, Основного закона, на котором построена вторая немецкая демократия. Первый демократический эксперимент длился не более четырнадцати лет, в то время как второй (если слово “эксперимент” здесь уместно) продолжается уже более половины столетия.

Роль политических партий в стабильности демократической системы

Традиционные предубеждения против “партийного государства”

У меня на книжной полке стоит “Большой Гердер”, энциклопедия в двенадцати томах, которую я получил в наследство от моего деда по материнской линии, родившегося в 1891 году. Энциклопедия вышла в свет в 1934 году, через год после прихода к власти Гитлера. Издательство, выпустившее этот труд, было католической ориентации и придерживалось, говоря политическим языком, умеренно консервативной позиции. Авторы энциклопедии отнюдь не поддерживали Гитлера, но когда речь шла о политических или идеологических вопросах, вели себя крайне осторожно. Критику режима Гитлера, если она присутствует, можно прочесть только “между строк”. Очевидно, издательство стремилось избежать прямого конфликта с национал-социалистскими властями.

Что можно прочесть в “Большом Гердере” под заглавным словом “Партия”? Соответствующая словарная статья¹ начинается с примечания, что слово “партия” происходит от ла-

¹ Абзацы и курсивы мои. — *Авт.*

тинского пагс (часть). “Политическая партия — сплоченная организация единомышленников, которые стремятся проводить в жизнь или отстаивать перед другими партиями определенные мировоззренческие, социальные, экономические, региональные принципы или интересы”. Но при этом: “Чем крепче у членов партии связь с народом и общинный дух” (чем они национальнее и социальнее), тем более они способны взять на себя “ответственность за все”.

“В конституционной монархии здоровым противовесом партиям выступают король и правительство, они образуют надпартийный орган; в демократии *без* парламентской системы таковым является президент (Соединенные Штаты Америки) или правительство (Швейцария)”. А в демократиях с парламентской системой общее руководство государством целиком зависит от произвола партий.

В *государствах с двухпартийной системой* (классический пример — Англия) также есть гарантии для “сильного и единого правления”, так как не входящая в правительство “партия при всей своей критике знает, что в случае недееспособности правительства ей предстоит самой взять на себя ответственность перед народом и государством”.

Государства с партийной раздробленностью “лишены этого зрелого политического мышления, и там из-за отсутствия стабильного парламентского большинства возможны только слабые и, как правило, недолговечные коалиционные правительства. (...) Страх потерять избирателей и зависимость от экономических групп, удовлетворяющих их финансовые потребности, приобретают более важное значение, чем забота о всеобщем благе; исчезает чувство ответственности; политическое лавирование и торгашеский дух вместе с деловой, а по сути бессмысленной, суетой и порой даже принципиальное стояние в стороне, а также прямое неповиновение затрудняют целенаправленную и созидательную деятельность в области государственной политики. Особенно опасным это становится во времена внутри- и внешнеполитической напряженности. Народ же под воздействием агитации раскалывается на враждующие между собой группировки.

В Германии в тяжелые послевоенные годы партийная борьба имела наиболее роковой характер. В выборах 1932 года участвовали 32 партии, из которых 13 были действительно представлены в парламенте. Победа национал-социализма в 1933 году положила конец существованию старых политиче-

ских партий Германии, и “закон от 14.07.1933 допускает только НСДАП как единственную партию, олицетворяющую народную волю и идею государства”, и вместе с тем “запрещает под страхом сурового наказания дальнейшее существование или формирование других политических партий”.

Эта статья потому мне кажется интересной, что она совершенно произвольно повторяет стереотипные рассуждения по поводу многопартийной системы, которые в свое время были распространены не только среди правых или левых радикалов, но и даже среди демократов. Традиционную критику “партийного государства” обобщенно можно представить в следующем виде.

Только государственные органы имеют достаточную свободу для служения общему благу; они занимают независимую надпартийную позицию. Партии, в противоположность им, отстаивают эгоистические интересы отдельных групп и ограниченные цели определенных идеологий.

Суть партийных политиков составляет отсутствие компетенции и коррумпированность. Эти недостойные качества должны нейтрализоваться при помощи компетенции и неподкупности государственных экспертов.

Государство сплачивает общество. Партии своим соперничеством и конфликтами общество раскалывают.

Государство гарантирует континуальность, стабильность и функционирование общественной жизни. Партии вызывают противоположные явления; в худшем случае это приводит к разрушению политической системы.

Подобные рассуждения встречаются и сегодня. Они касаются политической системы ФРГ, в которой центральную роль играют партии. Чаще всего критика исходит от консерваторов, желающих защитить величие государства от всего того, что воспринимается ими как недостойная брань партийных плебеев. Некоторые из этих критиков, видимо, мечтают о возвращении модели парламентаризма, более уместной в XIX, чем в XXI столетии: по их представлениям, идеальными парламентариями могут быть представители из числа зажиточной, то есть экономически независимой местной знати, для которых политика была бы временной почетной должностью, но не постоянной профессиональной деятельностью.

Предубеждения против “партийного государства” свойственны и тем, для кого общественная гармония важнее обще-

ственного диспута — как бы цивилизованно он ни проводился. В Германии существует старая, но устойчивая традиция “стремиться к синтезу”, как охарактеризовал эту особенность германской политической культуры Ральф Дарендорф².

Впрочем, среди восточных немцев общественный диспут еще менее популярен, чем среди западных. Восточные немцы в качестве “идеальной демократии” скорее предпочли бы модель консенсуса в духе “круглого стола”, они не приветствуют столкновения различных мнений, как это уже стало характерным для парламентской демократии. Трое из каждых пяти немцев считают, что политики должны идти в одной упряжке, вместо того чтобы постоянно враждовать друг с другом; лишь двое из пяти западных немцев придерживаются подобного мнения. Объяснить это можно тем, что западные немцы за многие десятки лет уже успели привыкнуть к холодному духу экономического и политического соперничества; у восточных же немцев более отчетливо наблюдается стремление к гармонической защищенности, которая бы чувствовалась индивидом в течение всей его жизни.

Более пятидесяти лет назад, в 1948/49 годах, отцы Боннской Конституции в первую очередь должны были решить, какие уроки им следует извлечь из крушения первой немецкой демократии. В частности, они пришли к такому выводу, что причиной падения Веймарской республики стала не многопартийная система как таковая, а следующие ее недостатки:

— во-первых, она была слишком *слаба*, если иметь в виду ее неспособность держать в стороне от власти радикально настроенных противников демократии, и

— во-вторых, была слишком *сильна*, если иметь в виду ее огромную партийную раздробленность, которую она сама же и создала.

Демократия и ее враги

Чтобы решить тем самым главную проблему, авторы Конституции ввели понятие “обороноспособная демократия”. В ча-

² Ralf Dahrendorf. Gesellschaft und Demokratie in Deutschland. 4. Auflage München, 1975. S. 151.

стности, это означало, что Конституционный суд имеет право запретить партии, “цели и действия которых направлены на насильственное изменение или разрушение либеральной демократической системы или нарушение целостности Федеративной Республики Германии” (ст. 2 абзац 1). До сих пор в истории второй немецкой демократии партии два раза подвергались подобному запрету: в 1952 году противозаконной была объявлена Социалистическая рейх-партия (СРП), преемница гитлеровской НСДАП; в 1956 году за ней последовала Коммунистическая партия Германии (КПД). В настоящий момент в Конституционном суде рассматривается дело о запрете неонацистской Национал-демократической партии Германии (НПГ). Запрет партии — самое суровое средство, к которому демократия может прибегнуть в борьбе против политического экстремизма; поэтому его следует применять крайне осторожно.

Решения Конституционного суда о запрете СРП и КПД совсем не случайно относятся к тому периоду, когда вторая немецкая демократия была еще недостаточно стабильна. Та интенсивность, с которой демократическое государство прибегает к репрессивным мерам, зависит не только от степени опасности, исходящей от определенных партий правого и левого крыла политического спектра. Существенную роль играет и то, в какой мере в политической системе присутствует “демократическая уверенность в себе”: чем сильнее эта уверенность, тем снисходительнее будет реакция. Так, в 1969 году Коммунистическая партия Германии возникла под новым именем — Германская коммунистическая партия. Но повторных попыток добиваться ее запрета уже не последовало — отчасти оттого, что во время выборов в Бундестаг число голосов ее избирателей никогда не превышало отметку 0,2 или 0,3 процента.

Что касается Партии демократического социализма — ПДС, преемницы восточнонемецкой коммунистической партии СЕПГ, то здесь имеет место совершенно небывалый для ФРГ прецедент. ПДС имеет корни исключительно в восточной части Германии; там она регулярно собирает около 20 процентов голосов. Отличает ее от запрещенной в 1956 году КПД прежде всего то обстоятельство, что она не ставит перед собой цель насильственным путем отменить “либерально-демократический порядок” Федеративной Республики Германии.

Демократия и ее друзья

Понятие обороноспособной демократии подразумевает не только использование репрессивных средств для защиты от политических экстремистов; отказ демократических партий сотрудничать или даже вступать в коалицию с антидемократическими партиями тоже не совсем исчерпывает это понятие. Таким же важным — если не более важным — фактором является то, что Артур М. Шлезингер (младший) назвал однажды “жизненным центром”. Иначе говоря: демократия нуждается в активных сторонниках. Как наиболее эффективно поддерживать демократический порядок? Авторы Боннской конституции были убеждены, что лучше всего это могут сделать политические партии.

Теодор Хейс, первый федеральный президент, очень красиво сформулировал это в одном из своих писем в 1948 году³: “Возможно, Вы улыбнетесь, когда я скажу: меня в сегодняшней партийной жизни больше всего радует то, что я вижу мужчин и женщин, которые просто там существуют, чем-то занимаются, выполняют свои маленькие обязанности. Это было их вкладом в процветание общественной жизни. Они не были снобами или честолюбцами, у них не было никакой корысти, они были обыкновенными людьми с правыми взглядами. Партия для них не была чем-то вроде церкви или средством, с помощью которого можно было бы с важным видом изображать организаторскую деятельность. Она была для них данностью, в которой они формировали свое отношение к государственной жизни в ответственное волеизъявление”. В другом месте Хейс подчеркивал значение партий как “начальной школы политической ответственности”. “Стараясь и ошибаясь, как это свойственно людям”, они отражали, “если позволить себе пафос, последовательные ступени активного патриотизма”.

Партии не являются государственным органом и не предназначены только для того, чтобы подчиняться обществу. Они образуют мостик между обществом и государством. У них нет никакого монопольного права на роль посредника между обеими сферами. Но в своей посреднической функции

³ Цитата — в слегка сокращенном виде — взята из статьи Гельмута Коля “Die Parteien in der freiheitlichen Gesellschaft”. — “Welt am Sonntag” vom 19. Juli 1992.

они играют очень важную роль, которая была четко выражена Боннской конституцией.

Партии являются, так сказать, неправительственными организациями, которые выполняют общественные функции в государственной сфере — будь это в правительстве или в оппозиции. Было бы наивностью считать, что процесс посредничества должен идти снизу (из общества или от простых членов партии) вверх (к партийной верхушке и государству). В действительности партийные руководители пытаются изменить его направление, то есть утверждать свою волю сверху вниз. Поэтому Боннская конституция требует от всех политических партий демократической организации своих внутренних структур. Это не исключает наличия руководящих органов, но они — по крайней мере, в идеале — должны подчиняться контролю со стороны простых членов партии.

Кто уже привык к мысли, что членство в демократической партии есть форма гражданской ответственности и активного патриотизма, тот скорее одобрит членство государственного чиновника в рядах демократической партии, чем станет возражать против этого. (Многие чиновники вступают в партию лишь потому, что надеются извлечь из этого выгоду для собственной карьеры. Но такие случаи неизбежны. Впрочем, карьеризм и оппортунизм в многопартийной системе встречаются не чаще, чем в других системах.) Безусловно, каждый член партии, находящийся на государственной должности — как и любой другой государственный служащий, — должен выполнять свои обязанности независимо от своей партийной принадлежности. Другими словами, они не должны из партийных соображений кому-то отдавать предпочтение, а кого-то обделять. Это вытекает из принципа равенства перед законом.

Понятие обороноспособной демократии предполагает также, что каждый государственный чиновник должен активно поддерживать демократический порядок. В ФРГ это привело к результатам, которые постоянно подвергаются критике: членам экстремистских партий может быть отказано в профессиональной деятельности на государственной службе (или они могут быть уволены с государственного поста). Подобные решения, конечно же, всегда подвергаются проверке независимых судебных органов.

Первая немецкая демократия пострадала и от того, что значительная часть ее административной элиты презирала

партийную политику и к партийным руководителям относилась чрезвычайно пренебрежительно, считая их гораздо ниже себя. Себя же они воспринимали как аристократов, которых не должна волновать площадность демократического соперничества и задача которых состоит только в служении на благо общества. Но то, что в их глазах выглядело благородным нейтралитетом, в действительности являлось следствием авторитарного менталитета. Ибо кто в действительности может определить, что такое общественное благо? Либеральная демократия придерживается убеждения, по которому определение общественного блага должно достигаться в процессе демократических дебатов; это ни в коем случае не догма, которая должна оберегаться первосвященниками государства.

Проблема партийной раздробленности

В условиях демократического плюрализма возможно существование от, как минимум, двух партий до некоторого максимального числа “х”, которое, возможно, зависит от таких факторов, как политическая традиция и политическая культура страны. Оптимальное число “х” неизвестно.

Но мы можем с определенной уверенностью сказать, когда число партий в парламенте превышает показатель “х”. Это те случаи, когда становится чрезвычайно сложным или вообще невозможным образовать стабильное правительство. Наряду с недостаточной обороноспособностью по отношению к экстремистам это было одной из главных проблем Веймарской республики. В ней действовало неограниченное право на выборы по принципу пропорционального представительства. Для того чтобы пройти в рейхстаг, необходимо было набрать 60 000 голосов — то есть 0,2 процента. Вследствие этого парламент был переполнен мелкими партиями, которые зачастую представляли лишь локальные интересы отдельных групп по специфическим региональным, социальным и экономическим вопросам — например, “Германско-Ганноверская партия”, “Польская партия”, “Баварский крестьянский союз”, “Вюртенбургский союз крестьян и виноградарей” или “Экономическая партия”. И в крупных демократических объединениях тоже преобладали отдельные сегменты общества — рабочие, крестьяне, протестанты, католики, жители определенных регионов и так далее.

Создатели Боннской конституции не принимали никаких специальных мер предосторожности против раздробленности партийной системы. Но через четыре года после вступления в силу Основного закона, в 1953 году, федеральный избирательный закон установил так называемый пятипроцентный барьер⁴ для представительства в парламенте. Один комментатор иронично заметил по этому поводу, что несмотря на всю простоту этого закона, он представляет собой одно из самых важных положений германского конституционного права. Если под “конституцией” понимать не просто изложенный на бумаге свод правил, а определенные традиции, которые для высших государственных органов имеют первостепенное значение, тогда это замечание надо признать действительно очень метким.

Мелкие партии уже много раз выступали с критикой закона о пятипроцентном барьере, заявляя, что он нарушает принцип равенства избирателей, согласно которому все голоса должны оцениваться одинаково; на практике же происходит обратное: голоса, отданные за партию, не преодолевшую пятипроцентного барьера, не учитываются. Федеральный Конституционный суд постоянно отклоняет эти жалобы, обосновывая свои решения тем, что приоритетное значение имеет дееспособность парламентской системы, а не принцип абсолютного равенства голосов всех избирателей.

Народные партии

Второе обстоятельство, приведшее к исчезновению партийной раздробленности, возникло в течение первых десятилетий действия Боннской конституции. В самом начале, в 1949 году, в Бундестаге было представлено чуть более десяти партий. Но постепенно они стали вытесняться или поглощаться новым типом партий, который в Германии получил название “народная партия” (по-английски *catch-all party*). Народные партии обра-

⁴ См. Избирательный закон ФРГ, § 6 Абзац 6: “При распределении мандатов принимаются во внимание только те партии, которые во время выборов набрали не менее 5 процентов от общего числа всех учтенных (голосов) или получили один мандат как минимум в трех избирательных участках. Положение 1 не распространяется на списки партий национальных меньшинств”. (Это второе предложение пока имеет значение только для партии датского меньшинства на севере Германии.)

шались не только к отдельным кругам общества; они пытались найти новых членов, сторонников и избирателей во всех слоях населения — во всех социальных группах, религиозных конфессиях, регионах, во всех поколениях. В той степени, в какой они интегрировали эти элементы, они становились более умеренными.

Почему это происходило? Прежде всего потому, что народная партия была своего рода коалицией или федерацией. Она должна была приводить к общему знаменателю многочисленные течения внутри себя. Для идеологической чистоты пространства уже не оставалось. “Философия” народных партий представляла собой прагматический набор либеральных, социальных и консервативных элементов, эта была комбинация таких ценностей, как свобода, равенство и культурная идентичность. Специфический состав этих элементов определял позицию относительно центра — справа или слева. Постепенно стала разрушаться классическая дихотомия “правый-левый”. Поскольку идеология партий носила центристский характер, частично совпадал и потенциальный состав их электората. Миллионы избирателей, отдавшие предпочтение правоцентристской партии “А”, во время опросов сообщали, что на втором месте у них левоцентристская партия “Б”, и наоборот. Таким образом предотвращался или исчезал традиционный раскол общества (по-английски *cleavages*). В Германии наблюдались два основных антагонистических противоречия, которые в течение прошедших десятилетий, в основном благодаря интеграционной силе народных партий, полностью исчезли: существовавшее с XVI столетия противоречие между протестантами и католиками и конфликт между рабочей силой и капиталом.

Первая народная партия в истории Германии была основана в 1945 году христианскими демократами. Они поставили перед собой цель преодолеть существующие антагонистические противоречия и потому открыли свои ряды всем в равной степени: протестантам и католикам, рабочим и предпринимателям (впрочем, отсюда и слово “союз” в названии партии ХДС — Христианский Демократический Союз.) Христианско-демократическая модель народной партии с каждыми выборами становилась все более успешной. Между тем социал-демократы до конца 50-х годов называли себя партией рабочего класса. В конце концов, и они со своей “Годесбергской программой” стали второй немецкой народной пар-

тией и тем самым подготовили почву для собственных успехов на выборах в Бундестаг.

Отличительная черта народной партии состоит в том, что в ней интегрированы самые разные уровни государственной системы — коммунальный, региональный и национальный. Почти все германские бундесканцлеры делали свои первые политические шаги на коммунальном уровне (Аденауэр, к примеру, во время Веймарской республики был обербургомистром Кёльна), а Кизингер, Брандт, Коль, Шрёдер в начале своей карьеры были руководителями земельных правительств. Популярные движения приходят и уходят. Только широкий коммунальный базис дает партии стабильность и долговечность. Именно он открывает возможность для постоянного притока новых поколений руководящих работников.

Народная партия, оказавшаяся на национальном уровне в оппозиции, не сможет разучиться искусству руководить, так как остается править на региональном уровне (в Германии это значит в отдельных или нескольких из 16 земель). Национальные выборы она может убедительно выиграть только в том случае, если будет иметь успех на региональном уровне. Немецкие избиратели не имеют привычки без особой необходимости менять правительство. Но они любят его наказывать, голосуя за оппозицию на региональном уровне, тогда через какое-то время положение оппозиции на региональном уровне может упрочиться до такой степени, что национальное правительство окажется вынужденным подать в отставку.

Потенциал избирателей

Действительно ли народные партии обращаются ко всему населению, то есть к 100 процентам избирателей? Нет, это лишь условное определение, которое, применительно к практике, я должен теперь скорректировать.

В Германии социал-демократы и христианские демократы вместе собирают около 80 процентов голосов; этот показатель в последнее время слегка снижается. Если учесть, что группы их приверженцев пересекаются, то предполагаемый реальный потенциал обеих партий составляет около 50 процентов. Этого достаточно для образования стабильного большинства в коалиционной демократии, однако намного меньший уровень

уже недопустим, если социал-демократы и христианские демократы хотят оставаться народными партиями.

Вторая корректировка: у народных партий тоже есть традиционные связи с определенными слоями общества; отсюда они рекрутируют свой постоянный электорат. Но это нельзя назвать результатом раздробленности (пример которой — социальные классы в традиционном смысле). Скорее здесь идет речь о “среде”, то есть частях общества, которые характеризуются определенными социально-экономическими и культурными признаками, а также имеют соответствующие предпочтения в системе ценностей.

Будущее многопартийных систем

Любая многопартийная система, разумеется, всегда подвергается изменениям. В Германии поначалу существовало, как было уже сказано, чуть более десяти партий. К началу 60-х годов из них остались только три партии — две народные и одна либеральная. Поскольку ни христианские демократы, ни социал-демократы не набирали большинства голосов в парламенте, то либералы играли очень важную роль в качестве “довеска”. Такое положение сохранялось до начала 80-х годов, когда в Бундестаге появились “зеленые”. Вместе с ПДС, возникшей после германского воссоединения, теперь в национальном парламенте заседают уже пять партий.

Можно назвать, как минимум, три причины, почему процесс изменений будет продолжаться дальше.

Во-первых, традиционные партии не так быстро реагируют на проблемы нового порядка. Например, успеху “зеленых” в конце 70-х годов существенно способствовало то, что традиционные партии довольно долго не воспринимали серьезного значения экологических тем. Крупные народные партии, объединяющие в себе многообразные течения, постоянно подвергаются опасности превратиться в застывшую систему распределения власти.

Во-вторых, изменения в системе ценностей внутри общества приводят к тому, что традиционные социальные группы — а вместе с ними и традиционные группы избирателей — постепенно теряют свои очертания.

В-третьих, в результате возрастающего индивидуализма в образе жизни люди всё больше начинают испытывать антипа-

тию к крупным организациям — будь то профсоюзы, церкви, политические партии или что-нибудь в этом роде. Вместо этого они предпочитают новые формы деятельности — больше конкретных действий, меньше отчетливой коллективной привязанности.

Народные партии должны всё это учитывать и искать возможность преобразоваться в “гражданские партии” — то есть в такие организации, которые в гораздо большей степени, чем когда-либо, были бы открыты для участия людей со стороны. Кроме того, им нужно помнить следующее: роль посредников между общественной и государственной сферами нужно понимать не только как средство для захвата политической власти, но и как структурную составляющую цивилизованного общества. Мы не должны забывать: быть членом демократической партии прежде всего означает — быть активным гражданином и иметь желание служить своей стране.

Май 1999 / март 2001

Политическая ситуация в Западной Европе и Северной Америке в 90-х годах была отмечена новым внушительным подъемом левых демократов после долгих лет оппозиции. Символами этого ренессанса стали три имени: в 1992 году американский демократ Билл Клинтон сменил республиканца Джорджа Буша (старшего); в 1997 году лейбористский политик Тони Блэр одержал победу над премьер-министром от консервативной партии Джоном Мейджором, а год спустя социал-демократ Герхард Шрёдер победил на выборах христианского демократа Гельмута Коля.

Во всех трех случаях победители выбрали стратегию “третьего пути”, которая

- *делает ставку на прагматический, то есть идеологически умеренный, политический курс,*
- *в социологическом отношении ориентируется на многочисленных представителей среднего класса населения,*
- *ловкими семантическими приемами утверждает в сознании общественности связь между этими элементами. В Соединенных Штатах приверженцы Клинтона именовали себя “новыми демократами”, в Великобритании “новые лейбористы” отождествляются с именем Блэра, а в Германии успеху Шрёдера сопутствовал предвыборный слоган “новый центр”.*

Под впечатлением побед на выборах этого “интернационала третьего пути” некоторые опрометчивые пророки поспешили заявить, что XXI век будет социал-демократическим. Но насколько можно назвать этот “третий путь” социал-демократическим или вообще социалистическим? Более того: не является ли устаревшим классическое разделение на “левых” и “правых”?¹ Можно ли говорить о каких-то существенных различиях между право- и левоцентристским правлением? Можно ли предположить, что консервативные и христианско-демократические партии начнут в свою очередь развивать стратегию “третьего пути” с той целью, чтобы отвоевать потерянные позиции в центре?

¹ Я использую понятие “правый” в том смысле, в каком это принято в Германии: “правым” считается тот, для кого понятие нации (как культурно-этнического целого) относится к высшим ценностям. Это включает в себя коллективистские представления о некотором социальном сплочении внутри нации. То, что в России считается “правым”, в Германии скорее бы носило обозначение “либерально-консервативный” или позиция “центра”.

Политическая культура в XXI веке

Антагонизм вчера и сегодня

Давно признано, что в наиболее развитых, так называемых “постмодернистских”, промышленных странах серьезные антагонистические противоречия XIX и XX веков преодолены.

При этом имеются в виду страны,

- в которых растет уровень автоматизации производства и сфера услуг начинает играть более важную роль, чем производство товаров;

- в которых идеи и знания становятся синонимами экономической власти и гражданин все чаще рассматривается как потребитель, а не как рабочая сила;

- в которых расширяется процесс децентрализации в области менеджмента и производства — развитие, в результате которого снижаются авторитет и значение государства.

Но значит ли это, что политика в будущем потеряет свою привлекательность и будет вызывать интерес лишь в качестве одного из многочисленных видов “шоу-бизнеса”? Я так не думаю. Политика по-прежнему будет оставаться захватывающим театром конфликтных действий, пусть даже в большинстве стран ОЭСР внутривнутриполитические столкновения перестанут быть такими острыми и ожесточенными, как это было в недавнем прошлом.

Серьезные нравственные вопросы, на которые мы пытаемся найти политический ответ, никуда не исчезнут. Но в свете изменившихся обстоятельств нужно будет заново искать ответ на эти вопросы. Наряду с вечными темами свободы, справедливости и мира сегодня центральное место в повестке дня занимает проблема ответственности живущих поколений перед потомками. Речь идет не только о предотвращении экологической катастрофы — например, бережном использовании природных ресурсов и сохранении здоровой окружающей среды — но также и о границах государственной задолженности, вместе с которой мы передаем нашим детям и внукам финансовые обязательства, или о грядущих последствиях биотехнологии в сельском хозяйстве и медицине.

На глобальном уровне антагонизм между Востоком и Западом за последние десять лет практически исчез, но контраст

в уровне жизни между “севером”² и “югом” до сих пор впечатляет. Это уже не просто идеологические противоречия, а кошмарный сон. Польский футуролог и писатель-фантаст Станислав Лем описывает этот конфликт в следующих мрачных видениях: если говорить глобально, то в будущем нас ждет не бесклассовое процветающее общество, а “кучка индустриальных государств, затворившихся в крепостях благосостояния от миллиардов жалких, больных, на грани голодной смерти людей третьего мира, штурмующих в предсмертной агонии ворота этих крепостей, в которых благосостояние богатого “севера” поддерживается за счет содержащихся в чистоте резерваций и специально очищенной воды”³.

XX век — социал-демократический?

Если обратиться к истории левых демократов в Германии, то можно понять, каким фундаментальным было изменение нашей политической культуры в XX столетии.

Прошедший век получил определение “социал-демократическое столетие”. В 1978 году Ральф Дарендорф высказал провокационную мысль: “Нет никакой случайности в том, что правые социал-демократы были наиболее последовательными консерваторами в современной политике”⁴. Действительно, сегодня социальные проблемы XIX века уже решены — по крайней мере в “постмодернистских” индустриальных странах. Социал-демократы, консерваторы, христианские демократы и либералы единодушно это подтверждают. Нет уже угнетенных и бесправных пролетарских масс, капитализм удалось укротить при помощи законов, государства всеобщего благосостояния отдают приблизительно пятую или четвертую часть валового национального продукта на социальные нужды, безработица сегодня никого не обрекает на горькую нищету.

Интересно, что понятие “консервативный” у Дарендорфа носит полемический характер. В германских дебатах уже не-

² Кавычки нужны, поскольку речь идет не о географическом понятии; в этом смысле Австралия тоже относится к “северу”.

³ *Stanislaw Lem. Die Vergangenheit der Zukunft.* — Peter Sloterdijk (Hrsg.), “Vor der Jahrtausendwende. Berichte zur Lage der Zukunft”, Frankfurt a.M., 1990 (Suhrkamp), Band I, S. 185.

⁴ *Ralf Dahrendorf. Lebenschancen. Anläufe zur sozialen und politischen Theorie,* Frankfurt a.M., 1979 (Suhrkamp). S.147.

сколько лет проводится различие между понятиями “идейно-консервативный” и “структурно-консервативный”:

- **Идейно-консервативный** тот, кто придерживается **традиционных этических ценностей**. Но эти ценности могут вступить в противоречие с существующим порядком; следовательно, идейные консерваторы способны проводить реформы и — при определенных обстоятельствах — даже революционные преобразования.

- **Структурный консерватор**, наоборот, придерживается **существующего порядка** — и способен примириться с тем, что это состояние может привести к противоречию с традиционными ценностями. В этом смысле, например, Леонида Брежнева в германской прессе часто называли “консерватором”. Но это не значило, что он идеологический собрат Маргарет Тэтчер, имелось в виду только то, что он символ застоя.

Если XX век можно назвать “социал-демократическим”, то с таким же правом он заслуживает и обозначения “либеральное столетие”. Сегодня в Европе общепризнанно, что каждый индивид наделен неотъемлемыми правами, значение которых выше всяких коллективных целей. Частная собственность на землю и средства производства также не подлежит сомнению. В течение последних двадцати лет у частных лиц существенно возросли возможности для приобретения акций — отчасти благодаря приватизации железных дорог, авиалиний, почтовой связи и телекоммуникаций, энерго-снабжения и коммунальных услуг.

В Западной Европе XX век вполне мог бы называться и “христианско-демократическим”. Ведь после второй мировой войны именно христианские демократы, например, француз Робер Шуман, немец Конрад Аденауэр и итальянец Альcide де Гаспери, начали процесс интеграции и, поставив под свои знамена эту эпохальную цель, добились таких результатов, что сегодня Европейский Союз считается образцом мирного объединения свободных наций.

Ситуация в начале XXI столетия

Таким образом, нет особых причин называть XX век “социал-демократическим”. Но что можно сказать о наступившем XXI веке? По крайней мере, в Европейском Союзе он стартовал как социал-демократический. Когда в Германии в 1998 году

Герхард Шрёдер и затем Массимо д'Алема в Италии приняли руководство правительством, в 15 странах ЕС 12 глав правительства были социал-демократами или социалистами. После ухода бельгийского христианского демократа Жан-Люка Дехаена в середине 1999 года их число возросло до 13, и после образования в начале 2000 года коалиции между Австрийской народной партией и Австрийской партией свободы их снова стало 12. Из 20 членов Брюссельской Комиссии ЕС (под руководством Романо Проди) 12 считаются левыми и 8 христианскими демократами или консерваторами.

Но следует заметить: христианские демократы и консерваторы после успеха на европейских выборах в июне 1999 года впервые за двадцать лет создали самую представительную фракцию в Страсбургском парламенте. Поэтому давайте внимательнее посмотрим на ситуацию в 5 наиболее крупных государствах Европейского Союза.

- Италия во время парламентских выборов в апреле 1996 года левоцентристское объединение “Олива” во главе с Романом Проди одержало победу над правой коалицией “Полюс свободы” под руководством Сильвио Берлускони. Христианские демократы, с конца второй мировой войны по 1981 год непрерывно поставлявшие премьер-министров, в 1993 году после сенсационных разоблачений в коррупции объявили о самороспуске.

- Великобритания: в мае 1997 года лейбористская партия во главе с Тони Блэром одержала внушительную победу над консерваторами, находившимися у власти с 1979 года.

- Франция: в июне 1997 года коалиция левых сил, состоящая из социалистов, коммунистов и “зеленых”, под руководством Лионеля Жоспена добилась абсолютного большинства в Национальном собрании. Президент Ширак, последователь де Голля, назначил Жоспена премьер-министром и таким образом открыл новый период “единения”.

- Германия: после убедительной победы на выборах в сентябре 1998 года кабинет министров социал-демократа Герхарда Шрёдера сменил правительство Гельмута Коля, находившегося у власти с 1982 года.

- Испания: только там, кажется, стрелки ходят по-другому. После парламентских выборов в марте 1996 года консерватор Хосе Мария Аснер сменил социалиста Фелипе Гонсалеса, руководившего страной с 1982 года. В марте 2000 года Аснеру удалось набрать абсолютное большинство голосов.

Можно ли здесь проследить определенную закономерность?

В трех случаях — в Великобритании, Германии и Испании — можно наблюдать следующую картину: оппозиция сменяет истощившееся в течение многих лет правительство. В Великобритании после восемнадцати лет, в Германии после шестнадцати и в Испании после более тринадцати лет. Партиям (или отдельным их представителям), долгие годы состоявшим в правительстве, стали предъявляться обвинения в злоупотреблении властью, в том, что они занимались финансовыми махинациями и даже коррупцией.

Самый яркий пример — Италия. Там христианские демократы дольше, чем любая другая демократическая партия в Европе — а именно в течение нескольких десятилетий, — находились у власти. На закате своей эры они не просто потерпели поражение, а были полностью уничтожены. Против них были выдвинуты самые серьезные обвинения в коррупции.

Во Франции тоже особый случай — если иметь в виду альянс между консервативным президентом и левым правительством, а также то обстоятельство, что “Национальный фронт” правых радикалов отнимает голоса у партий умеренных правых.

Если еще учесть то, что в Финляндии, Швеции, Бельгии и Австрии в последние годы социал-демократы и социалисты теряют избирателей и на предстоящих парламентских выборах в Италии левые могут лишиться большинства голосов, утверждение, что “мы стоим на пороге социал-демократического столетия”, кажется слишком смелым. Вероятно, следует говорить о том, что — как это было до сих пор — маятник между правыми и левыми продолжает колебаться. В начале 90-х годов большинство глав правительств ЕС были христианскими демократами или консерваторами, сегодня это социал-демократы или социалисты, а что нас ждет завтра, с точностью предсказать невозможно.

Тенденция в сторону центра

На основании результатов выборов и состава парламентов вряд ли можно заключить, будет ли социал-демократическим, по крайней мере, дух времени, независимо от того, какую партию он вдохновляет. К слову, почему президент США

Джордж Буш в своей предвыборной кампании выступал сторонником “сочувствующего консерватизма” (*compassionate conservatism*)? Надо ли определение “сочувствующий” понимать как признание некоторых социал-демократических принципов?

Если обратиться к послевоенной истории социал-демократических и социалистических партий Европы, то в их позиции можно отметить довольно сильное смещение в сторону центра. Более того: можно говорить даже о трансформации левых демократов. Так в какой степени социал-демократы все еще являются социал-демократами? Германская СДПГ возникла как классовая партия с левой идеологией, в которой присутствовали марксистские, гуманистические, а позже добавились и христианские элементы. В конце концов, она стала народной партией с умеренно прогрессивной программой. В пятидесятые годы СДПГ пришла к выводу, что, только приблизившись к центру, можно добиться успеха. Этот шаг был осуществлен в 1959 году в Годесбергской программе.

Для СДПГ не прошло даром то, что внутренняя и внешняя политика христианских демократов — прежде всего под руководством федерального канцлера Конрада Аденауэра и его министра экономики Людвига Эрхарда — оказалась успешной и популярной. Чтобы привлечь на свою сторону избирателей, социал-демократы должны были включить в свою программу два пункта, против которых они ранее боролись. В области внешней политики — европейско-атлантическую интеграцию ФРГ. В области внутренней политики — социальную рыночную экономику, что одновременно должно было означать отказ от цели — национализировать промышленность основных материалов. Годесбергская программа подготовила почву для первой смены власти в истории ФРГ: в 1969 году федеральное правительство социал-демократов во главе с канцлером Вилли Брандтом приняло в свои руки власть и сохранило ее (с 1974 года под руководством Гельмута Шмидта) до 1982 года.

Изменения похожего порядка, произошедшие с лейбористской партией, подготовили смену власти в Великобритании в 1997 году. Новые лейбористы стали обращаться не только к промышленному пролетариату, но и ко всем слоям населения, и заключили мир с революцией Тэтчер. Социология и идеология шли рука об руку. Лейбористы поняли: для достижения успеха нужно учитывать, что избиратели высоко ценят такие индивидуалистические ценности, как свобода и

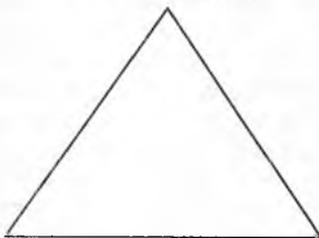
независимость. Провозгласив свой курс как “третий путь”, “новые лейбористы” заняли позицию между консервативным неолиберализмом и социалистическим равноправием.

Впрочем, непревзойденным мастером метода, получившего название “техника эквидистанции”, считался Билл Клинтон. Его тактика заключалась в том, что он стремился занять над противоборствующими крайностями позицию защитника умеренных политических решений. Известность она получила благодаря схеме “триангуляция” (рис. 1). В этой схеме следующий подтекст: президент стоит над партиями — его первоочередная задача заключается в том, чтобы служить благу нации. Во время выборов на второй президентский срок в 1996 году Клинтону удалось нейтрализовать своих республиканских соперников тем, что он занял позицию на вершине треугольника, которая одинаково была удалена как от республиканского большинства американского Конгресса, так и от традиционных ценностей его же собственной демократической партии. Всякий раз, когда республиканцы выдвигали смелые предложения, Клинтон немедленно их подхватывал, но затем вносил свои изменения. Например, он поддержал требование провести реформы в секторе государственного социального обеспечения, но результаты совсем не соответствовали ожиданиям республиканцев. Он согласился с требованием снизить налоги, но при этом не оправдал даже самых скромных надежд. Он воспротивился против себя демократов, решившись на сокращение государственного бюджета, но, вопреки ожиданиям республиканцев, расставил совершенно другие приоритеты при распределении сэкономленных средств.

Рисунок 1

“Триангуляция”

Билл Клинтон



Левые демократы

Правые республиканцы

Успешная стратегия Билла Клинтона и Тони Блэра в свою очередь была использована нынешним федеральным канцлером Герхардом Шрёдером в 1998 году. Проводить ее он стал под лозунгом “новый центр”, так как понятие “третий путь” вызывало в Германии проблемные ассоциации. Вспоминались утопические концепты о некоем среднем пути между социализмом и капитализмом: сначала их отстаивали чехословацкие коммунисты-реформаторы во время пражской весны 1968 года, а затем они пережили свой восточнонемецкий ренессанс незадолго до прекращения существования ГДР. Кроме того, риторика “третьего пути” вызывает в памяти внешнеполитический курс Германии, ориентированный на позицию между Востоком и Западом, хотя это противоречило идее западной интеграции, которая имела поддержку у большинства немцев. В соответствии с тактикой “триангуляции” Шрёдер выступал как кандидат, который старается обособиться от собственной партии. “Сначала страна, потом партия”, — таков один из его предвыборных паролей. Другой лозунг — “Мы ничего не будем менять, мы только что-то сделаем лучше” — успокаивает консервативных избирателей, которые хотели бы иметь нового канцлера, но никак не новую политику.

В развитых индустриальных странах наблюдается что-то вроде исторического движения к центру. Поэтому можно утверждать, что дух времени не социал-демократический, а скорее прагматический, объединяющий в себе различные лево- и правопоцентристские элементы. Так, по крайней мере, обстоит дело в Германии. Там всё меньше находится избирателей, которые голосуют из партийной преданности или по идеологическим предпочтениям. Теперь избиратели задаются вопросом, насколько это будет выгодно для них самих — например, способна ли партия решить некие конкретные проблемы. Они спрашивают: “Кто, на мой взгляд, может решить проблему безработицы или заняться вопросом налогообложения, кто сможет обеспечить пенсионное страхование и поддерживать систему здравоохранения?” А в остальном избиратели придерживаются прагматического правила: “то, что работает, менять не надо”. Другими словами: пока они хоть сколько-нибудь довольны существующим порядком, они не будут гнать федеральное правительство. Временные проявления недовольства против “тех — в Берлине” могут найти выход на региональном и локальном уровнях.

Что касается подрастающих поколений — тех, кому сейчас от пятнадцати до двадцати четырех лет, — то здесь можно отметить следующую характерную деталь: относительно собственного будущего они больше надеются на себя, чем на политику. Этим объясняется то, какужеется противоречие, что немецкая молодежь мало доверяет политике и одновременно с оптимизмом относится к собственному будущему.

Старомодность схемы “правый — левый”

Движение к центру можно объяснить несколькими связанными между собой причинами, на которых я хотел бы остановиться сейчас поподробнее.

В первую очередь надо отметить **социологические** причины. В этом случае слово “центр” относится к среднему классу, который в “постмодернистском” обществе составляет основную часть населения.

Социал-демократический электорат состоял в основном из промышленных рабочих. Но их число стало постепенно сокращаться, а количество избирателей из числа занятых в сфере обслуживания — увеличиваться. Чтобы расширить социальный базис, СДПГ должна была из классовой партии превратиться в народную и обращаться сразу ко всем — или многим — электоральным группам и слоям.

Последние статистические данные могут дать наглядное представление о драматических изменениях, происшедших в социальной среде, ранее составлявшей основную часть электората СДПГ: с 1991 года ряды германских профсоюзов покидает каждый третий, а среди молодежи даже каждый второй член. Если в 1991 году в германских профсоюзах состояло около 14 миллионов человек, то сегодня из них осталось только 8 миллионов. Сейчас в Германии больше участников акционерных обществ, чем активных членов профсоюзов. Чтобы привлечь в профсоюзы молодых служащих из постоянно растущей сферы информационных технологий, председатель германского объединения профсоюзов решил даже нарушить табу: он пообещал для определенных специалистов установить рабочее время 50 часов в неделю, в то время как стандартное время в соответствии со всеми тарифными соглашениями не должно превышать 40 часов в неделю.

Ирония этой истории заключается в том, что социал-демократы стали жертвой собственного успеха. Постепенно пре-

творяя в жизнь свои политические требования, они добились того, что прежние социальные антагонистические противоречия постепенно стали стираться, а потом и вовсе исчезли. Такая же судьба постигла и другие партии. Так, христианские демократы должны были примириться с исчезновением своего традиционного электората, особенно в католических землях. Они тоже стали жертвой собственного успеха: когда-то их основная миссия заключалась в том, чтобы преодолеть существовавший в течение столетий антагонизм между католиками и протестантами Германии. Но по мере того как терялись основы конфессиональной идентичности, стали стираться и контуры традиционного электората.

Вторая основная причина движения к центру — непопулярность **идеологического** радикализма. Здесь слово “центр” выражает умеренную позицию вне “левого” и “правого” экстремизма. Томас Манн сказал однажды, что всякий раз, когда лодка давала крен влево, он непроизвольно стремился к правому борту — и наоборот. Но, как учит история, людям иногда изменяет чувство политического равновесия; так что стремление к центру основывается не только на этом.

Наиболее убедительно следующее объяснение: партии, желающие привлечь на свою сторону как можно больше избирателей, должны как можно меньше опираться на какую-либо идеологическую основу. По крайней мере, именно такая тенденция наблюдается в странах с устойчивым демократическим порядком. Там программы крупных народных партий содержат много вариантов типа “как , так и ” и не очень много альтернатив типа “или — или”. Такого рода прагматизм можно обозначить как “идеологию отсутствия идеологии”.

Но и это объяснение кажется слишком поверхностным. Главная причина успеха умеренной политики объясняется, на мой взгляд, тем, что история XX столетия — “эпохи экстремизма” (*Age of Extremes*, как назвал исторический период с 1914 по 1991 год британский историк Эрик Хобсбаум) — надолго дискредитировала политический экстремизм, морально и интеллектуально. Он также утратил свою эстетическую привлекательность как современной версии романтического героизма. Коротко говоря, “левый” и “правый” тоталитаризм на Западе уже никого не воодушевляет — ни в культурной элите, ни в народных массах.

Общество, как показывает опыт, не позволяет использовать себя в качестве подсобного материала для возведения

идеологических проектов. Возрастающий индивидуализм и плюрализм стилей жизни в “постмодернистских” индустриальных странах сделали свое дело. У подавляющего большинства людей вызовет возмущение мысль о том, что они являются всего лишь винтиками в огромном коллективистском механизме. Но некоторые, в основном консервативные критики постмодернистской цивилизации, заявляют, что электронные информационные и коммуникационные технологии способствуют не разнообразию культур, а их единообразию. Действительно, идолы современной культуры во всем мире всё больше и больше становятся похожими друг на друга. Об этом можно сожалеть, но если подобное единообразие есть результат свободного волеизъявления индивидов, то тогда с этим придется примириться.

Правый интеллектуал Карл Шмитт (один из самых серьезных оппонентов Веймарской республики, позже получивший известность под прозвищем “крон-юрист” национал-социалистской диктатуры) определил политику как антагонизм между другом и врагом. Этот антагонизм должен привести в итоге к гражданской войне: или я уничтожу врага, или он меня уничтожит. Идеям Шмитта противостояло тогда либеральное воззрение, согласно которому политический антагонизм должен основываться не на понятиях дружбы и вражды, а на правилах соревнований и дискуссий⁵. Желание безоговорочного достижения своей цели приносит террор, а не спасение. Именно этот тезис всегда отстаивал Исая Берлин. Когда идеология борется против идеологии, компромиссы невозможны. Но следует ли из этого, что мы должны отказаться от идеалов? И да, и нет. Нам не следует забывать только то, что идеалы претворяются в жизнь лишь отчасти. Таков основополагающий принцип “идеологии отсутствия идеологии”.

В третьих: классический антагонизм между “правыми” и “левыми” перестал играть (приписываемую ему) принципиальную роль в определении политической позиции, так как сегодня более важными стали **другие антагонистические противоречия**. Если противопоставлять идеологии по принципу “коллективизм — индивидуализм”, то национализм и социализм могут побрататься под знаменем коллективизма.

⁵ Cp. *Carl Schmitt. Der Begriff des Politischen*, 6. Aufl., Berlin 1996 (Duncker & Humblot). S. 28ff.

Следующая причина — завершение “холодной войны”. Конфликт между Востоком и Западом был воплощением конфликта между капитализмом и социализмом. Он создавал систему координат, в которой можно было определить свою позицию и относительно оси “правый” — “левый”. На Западе существовала эмпирическая формула: чем меньше ты критикуешь Советский Союз и чем больше ты критикуешь Соединенные Штаты, тем левее твоя позиция. Но это правило растворялось в многочисленных исключениях: в Европе были “левые”, которые не признавали советскую систему, и “правые”, которые презирали американский либерализм.

Размывание границ фронта началось в ФРГ еще пятьдесят лет назад вследствие изменений, коснувшихся традиционного менталитета. Тогда христианские демократы призывали германскую буржуазию к прозападному интернационализму (то есть классической “прогрессивной” позиции), в то время как социал-демократы вели германский пролетариат к демократическому патриотизму (классической “консервативной” позиции). Конрад Аденауэр был убежден, что интеграция ФРГ в НАТО и Европейское Сообщество предпочтительнее поспешного объединения Германии под знаком нейтралитета. СДПГ, напротив, боролась за воссоединение и таким образом лишила противников молодой западногерманской демократии на правом краю политического спектра этой привлекательной темы.

Подобные рокировки “правых” и “левых” позиций происходили и позже. “Зеленые” — считавшиеся прогрессивной партией — в 70-х годах начинали с антимодернистской программы, которая во многих аспектах походила на образцы консервативной критики цивилизации 20-х и 30-х годов (Мартин Хайдеггер, Эрнст Юнгер, Карл Шмитт). Одним из центральных программных пунктов был пацифизм. Возможно, именно поэтому потребовался “зеленый” министр иностранных дел, чтобы после бомбардировок НАТО в Косовском конфликте 1999 года положить конец германскому движению в защиту мира.

Четвертое: возникли новые вопросы, на которые традиционные идеологии не могут дать убедительного ответа. Эти вопросы нельзя так просто вписать в схему “правый — левый”. Сюда, например, можно отнести защиту окружающей среды или этические проблемы (допустимость клонирова-

ния людей), с которыми нас сталкивает современная биотехнология.

Классический антагонизм между “правыми” и “левыми” решительным образом подрывает глобализация — так как она снижает роль государства. Таким образом, политика перестает быть сценой, на которой разыгрывается драматическая борьба между идеологиями. Она превращается в огромный рынок, на котором постоянно ведутся торги.

Генетика имеет наилучшие шансы для того, чтобы стать основной естественной наукой XXI столетия — какой была в XX веке ядерная физика. Между прочим, она уже вызвала смену парадигмы, о чем, как ни странно, мало говорят, хотя именно на этом основывался антагонизм между “левыми” и “правыми”. Еще двадцать лет назад наследственная теория была оружием “правого” мышления (если считать теорию о непоправимой неодинаковости людей типично “правой”). На этом, в частности, строились расистские идеи. В то время как “левые”, наоборот, утверждали, что неравенство между людьми появляется лишь под воздействием социальной и культурной среды. На этом основывалась вера в возможность создания абсолютно справедливого общественного порядка.

Между тем современная биология опровергает расизм — доказав, что генетическая неоднородность между индивидами одной деревни может быть сильнее, чем генетическая неоднородность между популяциями различных континентов⁶. Каждый человек неповторим — и все люди равны. Благодаря достижениям генной инженерии биологический облик человека воспринимается сегодня не как неизбежная судьба, а как материал, поддающийся обработке. Для одних — это надежда, для других кошмар — и те, и другие по-своему правы.

Согласно правому мышлению, биологический детерминизм постепенно вытесняется культурным — и в этом можно усмотреть определенную логику. Упрощенно говоря: то, что раньше называлось “расой”, сегодня называется “культурой”. Подобным взглядам противоречит гуманистическое убеждение в том, что между культурами всегда можно найти островки взаимопонимания. Культура перестала играть роль мен-

⁶ Ср. *Luigi Luca Cavalli-Sforza*. *Gene, Völker und Sprachen*. München, 1999 (Hanser). S. 26.

тальных застенков человеческого духа, в которых никогда не будет возможности для встреч с неизведанным.

Пятое: изменившиеся отношения между политикой, СМИ и общественностью тоже дают повод для стремления к центру. Люди сегодня стали важнее политических программ. Другое дело, что политики часто пытаются изобразить дееспособность, в то время как их политический суверенитет на самом деле довольно ограничен. Например, в ЕС сегодня уже 70–80 процентов экономических норм устанавливаются не на национальном, а на европейском уровне. Но избиратели следят не за Брюсселем, а за собственным правительством, поэтому многие политики делают вид, будто экономическая политика государства по-прежнему в их в руках. Публика получает сообщение: “Наш руководитель сам решает все вопросы, которые вас волнуют!” Этот спектакль получил соответствующее название “телеполитика”⁷.

Новая, более непосредственная форма общения с публикой самым благоприятным образом способствовала успеху “интернационала третьего пути”. Гельмут Коль иногда называл себя политической “лошадкой для битвы”. Герхард Шрёдер тоже любит сравнивать себя с лошастью — у него это, правда, “цирковая кляча на манеже”. Объясняется это не только вопросом стиля. Участвовавшие появления ведущих политиков в СМИ отвечают требованиям времени — политика должна быть открытой. У публики, по крайней мере, создается впечатление, что она ежедневно имеет возможность стать свидетелем захватывающих событий, происходящих на подмостках и за кулисами власти. Тенденция к “телеполитике” поощряется не-идеологическим прагматизмом “нового центра”. Отказ от грандиозных планов требует более гибкой политики, а более гибкая политика означает больше движения. Платить за это нужно, конечно, дорого: политика становится недолговечной, завышенные ожидания публики очень скоро не оправдываются, и общественное мнение колеблется сильнее, чем раньше. Традиционно настроенные политики предпочитают тихо работать за кулисами. Но будущее, скорее всего, принадлежит тем, кто воображает себя главным героем развлекательной пьесы на политической сцене. Даже в тяжелых ситуациях они должны излучать оптимизм. Возможно, здесь проявляются остатки былой веры в прогресс, более

⁷ Franz Walter. Tele-Politik. “Die Woche”, 12 марта 1999.

свойственной “левому” мышлению, чем скептическому фатализму “правого” мировоззрения.

По мере того как возрастает значение присутствия в СМИ, уменьшается значение того, что итальянский коммунист Антонио Грамши назвал однажды “культурной гегемонией”. По его словам, социальная группа или социальный класс могут прийти к власти и потом ее успешно отстаивать только в том случае, если этот класс или социальная группа интеллектуально и морально доминируют в цивилизованном обществе. Но когда идеологические противоречия теряют значение, стремление к “культурной гегемонии” лишается смысла. Здесь скорее имеет место нечто подобное позитивной обратной связи. Процесс деидеологизации увеличивает политическое значение СМИ. и увеличение значения СМИ ускоряет процесс де-идеологизации.

Соперничество партий в эпоху прагматизма

Какими бы прагматичными ни были времена, заявлять, что время идеологического соперничества безвозвратно ушло, было бы, тем не менее, опрометчиво. Может быть, имеет смысл более сдержанно рассуждать о “соперничестве ценностей и идей”.

Американский историк Артур М. Шлезингер предложил заменить устаревшую дихотомию “левый” — “правый” (или “прогрессивный” — “консервативный”) на новые оппозиционные пары. Вместо этого он проводит различия между “временами, когда наилучшим способом решения проблем избиратели считают действия частного характера, и временами, когда избиратели призывают к действиям более широкого общественного масштаба”.

В другом месте он говорит о том, что “длительная борьба между капиталистическими ценностями (святость частной собственности, большое значение прибыли, культ свободного рынка, выживание наиболее приспособленных) и демократическими ценностями (равенство, свобода, социальная ответственность и общее благосостояние) заканчивается. Но при необходимости это противостояние может использоваться в качестве средства общественного воздей-

ствия, регулирующего сферу собственности и ограничивающего прибыль”⁸.

Необязательно быть гегельянцем, чтобы признать привлекательность диалектики Шлезингера. Определенное развитие вызывает действие противоположных сил, способных изменить направление исторического маятника. Например, не исключено, что глобализация усиливает стремление к локальной, региональной и национальной идентификации — вплоть до агрессивного культурного шовинизма, который в действительности носит оборонительный характер. Рост индивидуализма вызывает потребность в создании небольших общин, в которых можно было бы найти опору и поддержку; так, среди молодежи в Германии наблюдается стремление к созданию семьи.

Но это ничего не меняет в том прогнозе, что в будущем соревновании ценностей и идей не будет таких антагонистических и радикальных позиций, как это было свойственно XX веку. Партии, отправленные избирателями в оппозицию, на первых порах часто стремятся к тому, чтобы сделать свою программу радикальнее. Пока они были в правительстве, требования оппортунизма и реализма определенным образом сдерживали их идеологический темперамент. Теперь они получили свободу и могут оттачивать свое мастерство. Но через некоторое время они поймут: отказ от радикальной позиции для них единственный шанс, чтобы вновь прийти к власти. Так же, как социал-демократы и социалисты, христианские демократы получают шанс на успех в выборах только в том случае, если будут стремиться к центру. В этом смысле Джордж В. Буш с “compassionate conservatism” является отражением “третьего пути” левых демократов. С радикальной консервативной программой он, безусловно, набрал бы существенно меньше голосов.

Но при всей схожести своих программ традиционные партии различаются, главным образом, в дозировке трех основных компонентов, которые можно было бы обозначить как либеральный, социальный и консервативный элемент. Они образуют три вершины “магического треугольника” (рис. 2).

⁸ Arthur M. Schlesinger, Jr. *The Cycles of American History*. New York 1999 (Mariner Books). S.7. По поводу вопроса, существуют ли “циклы правления”, см. в этой книге статью III.2.

Рисунок 2



• Линия, связывающая “либеральный” и “социальный” компоненты, показывает, что личная свобода подразумевает также и ответственность за ближних и общество. Другим связующим звеном могло бы стать убеждение, что социальное государство обязано помогать слабым осуществлять их индивидуальные потребности.

• Линия, связывающая “социальный” и “консервативный” компоненты, напоминает о том, что в правой части политического спектра соблюдается традиция социального государства — патернализм. Сегодняшняя система социального обеспечения восходит к Бисмарку — человеку, который ожесточенно боролся с социалистами. Социальное государство — это ответ (не единственный) на вопрос, как можно сплотить общество — тема, интересующая прежде всего консерваторов. Они придают особое значение таким вопро-

сам, как сохранение культурной идентичности, охрана традиционных институтов, например семьи, а также тому, как ограничить темп общественных изменений.

• Линия, связывающая понятия “консервативный” и “либеральный”, показывает, что важным объединяющим моментом этих позиций являются экономические свободы, и не в последнюю очередь собственность. Следующий пункт — осуществление прав как для консерваторов, так и для либералов является важным требованием к государству.

Этот “магический треугольник” можно использовать и как систему координат, в которой вертикальная ось символизирует спектр между коллективизмом и индивидуализмом, а горизонтальная ось — спектр между “правым” и “левым” (рис. 3). Моя терминология соответствует немецкому речевому узусу. То, что, например, в США называется “консервативным”, в этой схеме имело бы правую верхнюю позицию, в то время как в Германии это обосновалось бы, как показано справа внизу.

Рисунок 3

**Умеренные политические программы в системе координат
Коллективизм/ индивидуализм и Левые/ правые**



Новые социальные вопросы

Таким образом, я не считаю, что мы вправе наклеивать какой-либо ярлык XXI столетию. Можно сказать только одно: правительства по-прежнему будут меняться, но не потому, что духу времени свойственны диалектические прыжки, а потому, что каждое правительство когда-нибудь созревает для замены. Всегда и везде власть с течением времени изнашивается, стареет, исчерпывается, рассыпается и исчезает. А там уже поджидает свежая и динамичная оппозиция, готовая взять на себя бразды правления.

Кроме того, политические партии должны ответить на новые социальные вопросы, которые существенно отличаются от социальных вопросов XIX столетия. Это прежде всего проблема так называемых “обществ двух третей”. В современных европейских обществах интересы большинства людей, скажем, двух третей, можно организовать при помощи объединений (например профсоюзов) и/или политических партий. Меньшинство — скажем, одна треть, все же остается за дверью.

В качестве первого, самого наглядного примера можно взять безработных со стажем. Хотя они не испытывают материальных затруднений, многие из них уже примирились со своей судьбой, пребывают в состоянии пассивности и не участвуют более в общественно-политической жизни. Профсоюзы — вопреки противоположным заверениям — заботятся в основном о благополучии работающих членов, а политические партии сосредоточиваются на потенциальных избирателях, у которых есть мотивация (или они позволяют себя мотивировать) идти на выборы.

Второй, связанный с предыдущим, пример — новые общественные расслоения, вызванные информационной эпохой. Марк Фишер, корреспондент “Washington Post”, сформулировал это применительно к сфере СМИ следующим образом: “Мы стоим на пороге новой эпохи журналистики, в которой будут существовать классовые различия — при этом классовая принадлежность в меньшей степени будет зависеть от экономических признаков и в большей от — степени доступа к информации. Информационная эпоха несет с собой новые формы грамотности и безграмотности”⁹. Эта классовая

⁹ Marc Fisher. Macht mit Maulkorb. — “Rheinischer Merkur”, 19 февраля 1999 года.

структура снижает шансы преуспеть в жизни для всех тех, кто, по мнению Фишера, относится к “безграмотным”. Поэтому вопрос образования станет, вероятно, одним из решающих социальных вопросов XXI столетия. Одновременно он станет главным ключом к благосостоянию нации, поскольку в глобальной экономике знания становятся главным источником успеха. Если этот источник иссякнет, экономическое падение нации будет неизбежно.

И третья проблема касается вопроса, как “постмодернистские” промышленные страны должны справляться с ростом этнического и культурного многообразия внутри себя. Постмодернистские общества стареют и сокращаются на глазах, и потому иммиграция становится даже экономической необходимостью (за исключением тех случаев, когда богатые страны из гуманитарных соображений выражают готовность принять беженцев). Этническая и культурная разнородность является испытанием для всех. Консерваторы критикуют движение к мультикультурам из боязни, что это может нанести ущерб основной культуре. Либералы подчеркивают, что законы принимающей страны превалируют над обычаями и нравами, которые некоторые иммигранты привозят с собой со своей родины. Так, например, в Германии считается противозаконным отдавать несовершеннолетнюю девушку против ее воли за муж, в то время как в определенных странах мира это никого не шокирует. Если кого-то волнуют социальные вопросы, тот может обратить внимание на проблему взаимной ответственности в обществах, где это чувство утрачивается вследствие возрастающей разнородности населения.

На эти вопросы нельзя дать социал-демократического или христианско-демократического ответа, ответ может быть только хорошим или плохим.

Власть (Macht), как заметил Макс Вебер, не обязательно должна быть связана с психическим насилием. Она заключается в возможности отдельного человека, группы людей или государства утверждать свою волю вопреки любому противостоянию. (Господство (Herrschaft) по сравнению с этим есть определенная форма власти, а именно: установленная законом власть государства.)

В современной демократии власть средств массовой информации настолько велика, что прессу, радио и телевидение давно стали называть четвертой властью и символически ставят в один ряд с законодательной, исполнительной и судебной. Это приводит к ошибочному заключению: будто бы СМИ представляют собой гомогенный блок и, управляемые закулисными магнатами, могут, если захотят, отправлять правительство в отставку и утверждать его новый состав.

Какими бы бессмысленными ни были подобные теории заговора, тем не менее, верно то, что СМИ способны воздействовать на демократическую общественность — и, следовательно, влиять на исход выборов и плебисцитов, используя следующие приемы. Они

— селекционируют информацию (то есть какую-то информацию распространяют и какую-то замалчивают),

— способствуют популярности или, наоборот, усиливают непопулярность определенных мнений и

— способны обострять или притуплять моральную восприимчивость общества.

Иногда они берут на себя роль инстанции, которая якобы представляет волю “народа” (или “большинства”) перед представителями государственной, экономической и общественной (gesellschaftlich) власти.

Власть, от кого бы она ни исходила, требует контроля — для того, чтобы всегда можно было предотвратить или выявить случаи злоупотребления. Законодательная власть подчиняется Конституции, исполнительная и судебная — и вместе с ними “четвертая власть” — Конституции и законам. Вместе с тем возникает фундаментальный вопрос: как осуществлять контроль над средствами массовой информации, не ограничивая при этом свободы слова?

При наличии конкуренции между различными средствами массовой информации контроль, наиболее полный и ле-

гитимный, осуществляется рынком — а значит, потребителями информации. В настоящей статье рассматривается вопрос, в какой степени эта конкуренция может регулироваться государством. Поскольку в последние годы во многих западных демократиях всё больше становится очевидным, что свобода слова попирается не только государством, но и финансовыми магнатами, владеющими собственными информационными империями.

Будущее четвертой власти: чрезмерный контроль, бесконтрольность или подконтрольность?

В моем понимании, суть проблемы — будущее свободного слова на расширяющемся рынке коммуникаций в условиях глобализации. Позвольте разделить эту тему на четыре конкретных вопроса. Во-первых, до какой степени медиа-холдинги будут склонны угрожать свободе авторов? Во-вторых, какого рода контроль понадобится нам в будущем, чтобы сохранить плюрализм и обеспечить минимальное содержание некоммерческой общественно интересной информации в электронных СМИ? В третьих, глобальные сети против локальных ценностей: существуют ли нормативные границы свободного высказывания на международном уровне? Если да, то как эти стандарты могут быть реализованы на национальном уровне? И наконец, в какой мере внешний контроль может быть заменен самоконтролем?

I

В 1998 году в Великобритании велись жаркие споры вокруг событий, известных как “бунт авторов” против издательской фирмы HarperCollins — а точнее, против ее владельца Руперта Мердока. В двух словах напомним, что Мердок потребовал тогда прекратить работу над книгой Криса Паттена об

Азии — явно ради избежания конфликта с коммунистическим руководством Китая. Редактору, Стюарту Профитту, руководители издательства предложили солгать о причинах отказа от книги Паттена, как сделали они сами; он не согласился и был уволен.

Тимоти Гартон Аш, один из самых известных авторов в HarperCollins, опубликовал блестящий отчет и анализ этой истории в журнале “Prospect” за 1998 год. Он пришел к выводу, что “доверие к HarperCollins не будет восстановлено просто извинениями Паттену”. Конечно, “оно могло бы быть неожиданно восстановлено, если бы Мердок продал компанию другому владельцу, как он пытался — корпорации Bertelsmann. (Но не пришлось ли бы нам тогда беспокоиться за книги этого издательства о Германии?)”. Впрочем, я не знаю о подобной истории с Bertelsmann. Но вот небольшая история о группе Лео Кирха. Она играла важную роль в обсуждении в Германии проблемы посягательств или попыток посягательств на свободу слова со стороны акционеров. В августе 1995 года Кирх потребовал от издательского дома Springer (35,1 процента акций которого он владеет) уволить главного редактора “Die Welt”. Газета опубликовала колонку обозревателя, в которой приветствовалось решение Федерального Конституционного суда против присутствия распятий в государственных школах Баварии — тогда как Кирх с глубоким неодобрением отнесся к этому постановлению. (В данном случае Springer отказался уволить главного редактора.) В качестве третьего примера я хотел бы упомянуть о высказываниях 1999 года в адрес компании Walt Disney, которая якобы пыталась влиять на освещение новостей на канале ABC. Представители ABC выступили тогда с опровержением. Однако осенью 1998 года исполнительный директор Walt Disney Майкл Эйснер заявил, что предпочел бы, чтобы ABC не делала репортажей о группе Disney, и Новости ABC отказались давать в эфир критический репортаж о диснеевском парке “Magic Kingdom” во Флориде.

Я подозреваю, что проблема фактических посягательств на свободу слова и проблема самоцензуры в медиа-холдингах будут увеличиваться пропорционально тому, как их владельцы будут преследовать глобальные коммерческие интересы. Одним из наиболее важных и показательных примеров в ближайшие годы — или даже десятилетия — будет Китай: “Крайне важно, что люди в Китае были лишены независимо-

го, критического новостного вещания, потому что Мердок выкинул BBC World Service со своего кабельного канала Star, чтобы успокоить Пекин” (Тимоти Гартон Аш). В то время как при диктатуре главным источником несвободы является государство, в капиталистических демократиях основной источник несвободы — или по крайней мере ограничения свободы — это место работы. Стоит также упомянуть некоторые другие фундаментальные отличия: при диктатуре, обладающей монополией на публичное высказывание, некуда уйти, если подвергаешься цензуре. В истории с HarperCollins, например, Крис Паттен имел возможность сразу же отдать свою книгу в издательство Macmillan. Однако, насколько мне известно, репортаж о парке “Magic Kingdom” так и не был показан нигде.

Я не собираюсь в этой связи пропагандировать новые анти-собственнические правила. Я просто выражаю озабоченность тем, что вопрос о том, как оградить свободу слова от новых угроз со стороны своекорыстных владельцев СМИ, до сих пор не получил убедительного ответа.

II

Это подводит нас ко второму пункту: сохранению плюрализма с помощью лицензирования и антимонопольных процедур, которые обеспечивают широкий доступ к вещательным, кабельным и спутниковым средствам связи.

Первый вопрос, который приходит мне в голову, состоит в том, как контролирующие организации могут принимать меры против нежелательного господства отдельных собственников, не мешая при этом обновлению на рынке СМИ. Я не думаю, что немецкое решение, мягко выражаясь, способствует смелым экспериментам. Мы склонны считать, что плюрализм обеспечивает невидимая рука рынка — как склонны думать американцы, — но скорее продуманное распределение. В результате существует что-то вроде “третьего пути” — система, комбинирующая частный и государственный сектора на телевидении. У нас контроль за электронными СМИ предполагает сильное регулирование (хотя куда меньшее, чем во Франции). К тому же, он разбросан по регионам. В Германии не существует ничего сравнимого с Федеральной Комиссией по связи США (FCC). Для того, чтобы сформулировать наци-

ональную лицензионную и антимонопольную политику, необходимо прибегать к неповоротливому согласительному механизму, включающему 16 земель.

Кроме того, телекоммуникационные технологии и электронные СМИ регулируются разными организациями — в отличие от американской системы, в которой FCC занимается обеими этими сферами. Чем больше телевидение будет переходить на цифровой формат, тем больше будет проблем у нашей дублирующей системы. У нас 15 региональных Комиссий по частным электронным СМИ (Landesmedienanstalt), в том числе отдельная для Свободного ганзейского города Бремена с его 700 000 жителей; Комиссия по антимонопольным расследованиям в частном секторе электронных СМИ (Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich, КЕК); Комиссия по выяснению финансовых нужд государственных телерадиовещательных СМИ (Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, KEF); множество надзорных советов при государственных телерадиовещательных СМИ (Rundfunkrat, Fernsehrat); и, наконец, Федеральное антимонопольное ведомство (Bundeskartellamt). Вдобавок, Европейская комиссия тоже играет роль антимонопольного агентства в области СМИ — вспомним ее выступление против так называемого “цифрового союза” между Bertelsmann, Kirch и Deutsche Telekom.

Наша система контроля не обеспечила разнообразия собственников и акционеров в частном секторе телевидения, как надеялись на это пару лет назад. Похоже, это не слишком привлекает инвесторов из-за границы; частный телевизионный рынок в Германии в основном разделен между Kirch, Bertelsmann и, в меньшей степени, Springer. Со своими 40 процентами рынка государственное телевидение — включая региональные каналы — остается очень сильным. (Между прочим, региональные телеканалы всё еще называют у нас “третьи каналы”, Dritte Programme, в память о старых добрых временах, когда было только два общенациональных канала — государственных, разумеется, — а именно ARD и ZDF.)

Защитники нашей усложненной (разбросанной по регионам и к тому же смешанной) системы утверждают, что такова цена федерализма. Однако опыт других федеральных государств говорит о том, что можно построить рациональную систему контроля на общенациональном уровне, не задевая при

этом законных интересов регионов. Я понимаю, что это чисто теоретическое замечание — и не в последнюю очередь из-за того, что для наших руководителей, Ministerpräsidenten, возможность сказать свое слово в контролирующей системе — вопрос высокого государственного престижа. Но как бы то ни было — в этом контексте стоит также упомянуть о записанных в нашей Конституции обязанностях земель в области культуры. Можно возразить, что культурный протекционизм — часть этих обязанностей, так как он позволяет сохранять культурное разнообразие. Это, конечно, предмет спора между Францией и США, а равно и европейско-американских разногласий. Вопрос же, так или иначе, состоит в том, в какой мере к культурным продуктам можно относиться как к товарам, подчиняющимся законам свободной торговли. Эту тему иногда обсуждают под названием “культурный империализм”, имея в виду преобладание англоязычных стран на мировых рынках электронных СМИ, кино и популярной музыки.

Что касается немецких антимонопольных правил, то Договор между землями об электронных СМИ устанавливает, что количество программ, которыми может управлять собственник, сам или с партнерами, в принципе неограничено — но оно не должно превышать в среднем долю в 30 процентов зрителей за год. Там, где владельцы уделяют внимание главным образом информационным программам, максимальная доля снижается даже до 10 процентов. Проблема в том, что измерить эти доли определенным и неоспоримым образом оказалось практически невозможно. Технический прогресс, тем не менее, может в этом помочь: если будущее электронных СМИ — в системе “оплаты за просмотр” или “оплаты за канал”, то мы получим более прозрачные медиа-рынки, на которых нежелательное господство легче обнаружить.

III

Теперь перейдем к третьему пункту: глобальные сети против локальных ценностей. По мере того как рынок коммуникаций становится всё более глобальным, мы наблюдаем растущее желание правительств защитить ценности своей страны при помощи инструментов внутренней политики. Я не хочу сказать, что все такие намерения нужно одинаково уважать — и уж во всяком случае не собираюсь доставать из могилы мерт-

вое тело Нового мирового информационного порядка. Например, желание китайского правительства поставить заслоны тому, что оно воспринимает как разлагающие демократические идеи с Запада, неприемлемо, так как противоречит мировым стандартам прав человека.

Тем не менее существуют ценности, которые ограничивают свободу слова во всем мире. “Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него” от 1948 года налагает на подписавшие ее стороны обязательство сделать любой “прямой и публичный призыв к геноциду” наказуемым преступлением. Страны — участники “Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации” от 1966 года обязаны запрещать “любое распространение идей, основанных на расовом превосходстве или расовой ненависти”. Они расценивают участие в подобной деятельности как правонарушение, наказуемое законом. По “Международному пакту о гражданских и политических правах” от 1966 года любая “пропаганда войны”, а также “национальной, расовой или религиозной ненависти, содержащая подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию”, должна быть запрещена федеральным законодательством. Я также настаиваю на том, что незаконность детской порнографии является, по крайней мере в западном мире, неоспоримым принципом.

Но как насчет ценностей, выходящих за рамки этого абсолютного этического минимума? Один из ключевых вопросов здесь состоит в том, как мы определяем свободу слова — или, точнее, какие нормативные ограничения мы готовы наложить на свободу слова ради таких базовых ценностей, как человеческое достоинство, право на частную жизнь, и/или то, что наш федеральный Конституционный суд назвал “основным правом на информационное самоопределение”.

В этом есть некоторые существенные расхождения между американским и немецким подходами, которые заслуживают более подробного рассмотрения. Попытаюсь их кратко проиллюстрировать, обращаясь в качестве примера к проблеме нацистских высказываний. Представители немецкой разведки и прокуратуры жалуются на то, что неонацистские группировки в Германии получают огромную часть своих пропагандистских материалов из-за границы — в том числе всё больше через Интернет. Некоторые виды нацистской пропаганды — к примеру, отрицание Холокоста — могли бы стать

причиной уголовного преследования в Германии, но в США защищены конституцией как проявление свободы слова. Больше того, интернет-провайдеры в Америке не обязаны предоставлять информацию об авторах web-страниц. В 1998 году прошло довольно известное дело семнадцатилетнего кельнского неонациста, который использовал услуги американского провайдера для размещения своей web-страницы, содержавшей подробные инструкции для производства самодельных зажигательных бомб. Я спрашиваю себя, так ли невозможно создать общую для разных правовых систем юридическую базу для разработки стратегии действий против пропаганды насилия, которая явно противозаконна с точки зрения международного законодательства?

Вероятно, полезно также обсудить другие различия между американским и немецким подходами, поскольку некоторые из них соответствуют, по-видимому, культурным различиям между США и Европой. Американская традиция делает акцент на праве людей знать о процессе управления, тогда как немецкая подчеркивает необходимость тщательно контролировать подобную информацию. Немецкая традиция уделяет особое внимание защите информации, в то время как американская придает большое значение свободе информации. Соответственно американская традиция особенно заботится о защите частной информации от государства, тогда как немецкий подход предполагает защиту и от государственных, и от частных корпораций: наши замысловатые законы о защите данных (Datenschutz) основаны на идее, что современный Левиафан имеет две грани — и правительственную, и корпоративную.

IV

Государство устанавливает нормативные ограничения для свободы слова при помощи законодательства, однако традиции в обществе могут регулировать ее без принуждения — об этом будет мой последний пункт. Я предпочитаю называть эти традиции “нравственным строем” — термином, введенным философом Карлом Поппером. Согласно Попперу, нравственный строй “включает существующее в обществе традиционное представление о справедливости или честности, достигнутый обществом уровень нравственной чувствительности. [Он] слу-

жит основой, на которой возможно достижение справедливого или равноправного компромисса между противоречивыми интересами там, где это необходимо. Он, конечно, не является неизменным, однако меняется сравнительно медленно. Ничто не несет такой опасности, как разрушение этой традиционной структуры. В конечном счете [это] приведет к цинизму и нигилизму, то есть пренебрежению ко всем человеческим ценностям и их исчезновению”.

Старая идея о том, что государство должно контролировать поток информации — слов и изображений, — стала иллюзией по отношению к современным и будущим технологическим разработкам, таким как цифровое телевидение. Высокое качество связи, скорость и транснациональный характер такой информации превращает надзор государства за содержанием СМИ в безнадежную затею. Поэтому нам не остается ничего другого, как доверить контроль обществу — а точнее, поставщикам услуг и пользователям. Со стороны поставщиков должны быть созданы или усилены механизмы самоконтроля; со стороны пользователей необходимо достичь большей компетентности в обращении со СМИ.

Германия обладает проверенной временем традицией самоконтроля в области печатной прессы (я знаю, что всё можно улучшить, даже проверенные традиции), но что касается электронных СМИ, то она может еще многому поучиться у других стран. Самоконтроль начинается дома. При использовании систем “оплаты за просмотр” или “оплаты за канал” родители будут иметь возможность контролировать, при помощи декодирующих устройств, доступ своих детей к программам телевидения. Компьютерное программное обеспечение, защищающее детей в их прогулках по Интернету — такое как Cyber Patrol, — вот еще один многообещающий пример.

Анализируя новые программы главных немецких политических партий, можно обнаружить в них обычные лирические пассажи об информационных технологиях XXI века — левые склоняются скорее в сторону традиционных государственных телерадиовещательных СМИ, правые — скорее к тому, чтобы освободить рынок коммуникаций от регулирования. Однако все они отстаивают повышение компетентности пользователей в области СМИ как важную образовательную задачу. Мы всё еще склонны рассматривать такую компетентность как некий технический навык. Но я считаю, что в ней надо видеть также и нравственную способность (или

гражданскую грамотность, по выражению Ральфа Нейдера) и чувство качества — и всё это должно быть неотъемлемой частью образования. А под “образованием” я понимаю обучение, длящееся всю жизнь. Нет оснований впадать в тевтонский культурный пессимизм; точно так же, как мы научились делать покупки в супермаркетах, не сходя с ума от изобилия выставленных на полках продуктов, мы приобретем умение находить дорогу в электронных супермаркетах своего Дивного Нового Телевизионного Мира.

И в заключение еще одна цитата из Тимоти Гартона Аша, чья статья об истории с издательством HarperCollins имела довольно неожиданный заголовок — “Почему я буду писать для Мердока”: “Давление со стороны коллег имеет большое значение. Мы уже видели, как *The Times* бросилась восстанавливать подорванное доверие к себе. Давайте же всемерно укреплять их в их намерениях. Чем больше будет нас, пишущих в *The Times* или в *Sunday Times* — критически, независимо и открыто — о цензуре, плюрализме и Китае, тем сильнее будут они, и тем больше обогатится наша общая культура свободного слова. Будучи реалистами, мы не можем рассчитывать на возможность критиковать медиа-магната в его же собственной газете. Нам придется делать это в других местах. Но свободно писать обо всем остальном — на это мы должны не просто рассчитывать, мы должны этого требовать”.

*Перевел с английского
Александр Мансилья-Круз*

Удивительные вещи открываешь порой в том, что происходит на глазах у миллионов людей. Какое еще событие собирает такую же огромную аудиторию, как телевизионные послания главы правительства или государства? Когда я однажды попытался проанализировать новогодние и рождественские послания германских президентов и канцлеров, за период с 1949 года по наши дни, то обнаружил, что эти тексты, если их рассматривать как нечто целое, являют собой занимательный культурно-исторический роман. Не знаю, удастся ли мне когда-нибудь пересказать этот роман. Поэтому сейчас я хочу предложить только некоторые наброски.

Ещё папа Хейс нам говорил...

О чем могут сказать
рождественские и новогодние обращения
президентов и канцлеров

I

Они воспринимаются как обязательный ритуал. Но в совокупности дают нам интересную картину пятидесяти лет послевоенной истории. В них отражаются изменения политической культуры и содержится информация о главных лицах нашего государства.

Почему именно эти выступления? Потому что именно они предоставляют политикам редкий шанс обратиться сразу к миллионам людей. И поэтому политики так много времени отводят на их подготовку. Усилия эти в результате дают гораздо больший эффект, чем любой другой повседневный продукт.

Возьмем, к примеру, тексты Теодора Хейса, первого президента ФРГ. Частицу культуры и космополитического духа хотел он передать немецким экономическим вундеркиндам, когда в канун нового 1959 года рассказывал им об Александре фон Гумбольдте. Предстояла столетняя годовщина со дня его смерти. Неожиданно для всех господин президент обрывает свою плавную речь: "Некоторые мои слушатели, навер-

ное, думают: “При чем здесь Гумбольдт? Хейс вполне мог бы сейчас поставить точку и сказать: “Прозит, с Новым годом!”

Хорошо было Хейсу! Его слушатели не могли так просто шелкнуть пультом и переключиться на другую станцию. Они сидели у радиоприемников и прислушивались к каждому слову президента — возможно, с нетерпением, но с чувством самой высокой ответственности. До завершения передачи никто не прикасался к шампанскому. Между тем неутомимый борец против духа верноподданничества еще в канун 1954 года призывал их развивать гражданское самосознание: “Президент, который сейчас к вам обращается, не только представитель государственного института, но такой же человек, как и вы. Он может позволить себе иметь мнение, не претендующее на то, чтобы быть мнением большинства”.

Новогодние послания первого президента ФРГ одновременно были самыми красноречивыми лекциями по обществоведению. “Демократия как институт и как мировоззрение, — наставлял он в преддверии нового 1952 года, — разрушается, если вы скажете “без меня” и существует только тогда, когда вы говорите “со мной”! И это “со мной” понимайте далее как “с тобой”. Золотые слова, и сегодня им нет цены.

Впрочем, давайте все по порядку! С какой стати президент выступает с новогодним посланием? Разве это не было с незапамятных времен привилегией федерального канцлера?

Нет: с 1949 по 1969 год глава правительства выступал с рождественской речью, а глава государства отвечал за новогоднее послание. Сегодня эта практика кажется нам странной. Она противоречит нашим представлениям о традиционном распределении ролей между главными руководящими фигурами государства.

Рождество — праздник гармонии. Следовательно, вне политики. Следовательно, идеально для выступления президента. Президент задает надпартийный тон. Из его уст мы слышим нечто примиряющее о добродетелях и ценностях. Понятия истины, добра и красоты преподносятся нам в изысканной аранжировке с марципаном и шоколадными звездами. И над всем этим витает рождественское приветствие: Мир!

А в новогоднюю ночь наступает час политики. Канцлер подводит итог прошедшим двенадцати месяцам. Решительно провозглашает цели, намеченные им на предстоящий год: “Мы будем продолжать последовательную борьбу с безработицей! Мы создадим все условия для успешной борьбы с ко-

ровым бешенством! Мы будем дальше продолжать и уско-рять процесс европейской интеграции!” И так далее. Короче говоря, созерцательное настроение проходит, нас снова ждут повседневные заботы: “Допивайте шампанское, дорогие, зав-тра начинается трезвая жизнь!”

II

В свете таких прозрачных рассуждений может показаться странным, что для Конрада Аденауэра рождественские по-слания означали нечто большее, чем просто обременитель-ную мелочь. Он сочинял их с любовью, как пастор — хри-стианские проповеди. Центральное место занимали три не-отъемлемые друг от друга темы: Рождество Иисуса, мир на земле, семья.

Посудите сами. “Стояла тихая ночь в Вифлееме, когда де-ва Мария родила, спеленала Младенца и положила Его в я-сли”, — такими словами предваряет он речь на рождество 1952 года.

Еще год назад он тщательно настраивал публику на задум-чивый лад, воссоздавая в своем послании традиционную кар-тину немецкого рождества. Там был стол с рождественскими пряниками и библейскими фигурками. Ясли, выструганные крестьянской рукой, — “чтобы дать животным приют”. Все-ношная с чтением молитв и прекрасными немецкими песно-пениями.

Он делился своими воспоминаниями об обители Марии Ла-ах, ставшей ему прибежищем во времена нацистов: “Церковь была переполнена, пришли люди из отдаленного промышлен-ного района. Все хотели приобщиться к торжеству удивитель-ной тайны. Везде лежал снег. Мерцали звезды. В горах стоя-ла великолепная тишина”.

Неужели старик в самом деле был таким просветленным, как это пытаются внушить его тексты? Безусловно, они пере-дают его ощущения. Но они не настолько аполитичны, как это кажется на первый взгляд. Нужно посмотреть на кон-текст, чтобы выявить заложенный в этих речах смысл.

Радостную весть ангелов в Вифлееме Аденауэр использует как метафору, чтобы затем перейти к вопросу о необходи-мости западной интеграции молодой ФРГ. Без этого, он уверен, не может быть надежды на мирное воссоединение. Подводя

итоги прошедшему 1953 году, он называет 19 марта исторической датой — день, когда парламент в Бонне ратифицировал договор о Европейском оборонительном сообществе. Он не говорит прямо о 17 июня, народном восстании против режима СЕПГ. Но обращается к “нашим братьям и сестрам в советской зоне” с призывом — “не терять веры в спасительную силу подлинного стремления к миру”.

И самое важное: когда господин федеральный канцлер называет рождество семейным праздником, у слушателей перед глазами не только мать, отец и дети, собравшиеся вокруг наряженной елки. Они ощущают и присутствие главы правительства, который в более глубоко измерении играет для них роль отцовского авторитета. Ласково берет он за руку потерянный немецкий народ и уверенно выводит его из обломков моральной и материальной катастрофы.

Конрад Аденауэр был создан для этой роли. А вот его последователи с каждым годом всё менее успешно справлялись с рождественскими обращениями. В их текстах стало больше политики. Религиозное содержание, напротив, постепенно сводилось к нулю.

Людвиг Эрхард пытается еще в 1964 году возродить “звон колоколов и звуки органа”, но при этом риторически спрашивает: “А соответствует ли традиционный образ немецкого рождества нашей действительности?” Нет, конечно же, нет. Задуманность, благословляемая властью, давно превратилась в потребительское удовольствие, поощряемое рынком. Тут уместны разве что призывы соблюдать меру.

В 1967 году, при Курте Георге Кизингере, христианская часть послания ограничилась лишь одной цитатой из Нагорной проповеди.

И в 1969 году — во время последнего рождественского выступления федерального канцлера — Вилли Брандт ни словом не обмолвился о том, что послужило поводом его появления в эфире: “Чувствительные декламации — не мое дело. Ответственная политика требует трезвого мышления”. Это уже стиль новогоднего послания.

В новогодних посланиях президентов прослеживается обратная тенденция — от структурно-четкого текста до назидательных проповедей. В речах появляется елейно-приторный привкус.

Хейс еще деловито рассуждал: “Неужели Бундесрат и Бундестаг проявили недостаточно усердия? Если смотреть в

целом, они были *слишком* усердны и потому не все успели сделать”.

Когда спустя два года, в преддверии нового 1959 года, Генрих Любке впервые выступал перед немецкими радиослушателями, тяжелые времена восстановления остались уже позади. Исчезла проблема голода: “У некоторой части нашего населения не самым приятным образом проявляется самодовольство и сытость”. В такой же степени главе государства была неприятна и жажда власти, проявленная партийными организациями. “Репутации парламентской демократии наносят урон и некоторые политики, полагающие, будто бы влияние партий можно обеспечить и укрепить посредством так называемых “избирательных подарков”, — говорил Любке на рубеже 1962–1963 годов.

Таким образом, в начале социал-либерального периода правления наступил самый подходящий момент, чтобы глава правительства и глава государства поменялись местами при выходе в эфир. Премьера рождественского послания от лица президента состоялась в 1970 году. После длительной богословской засухи социал-демократ Густав Хайнеман вновь напоил водой религиозную почву. “Сам Бог принял человеческий облик и пришел к нам, чтобы стать нашим братом”. Откровенное признание.

Последователи Хайнемана продолжали придерживаться традиции христианского праздника. Но уже не с таким рвением. При графическом изображении кривая благочестия, несмотря на спорадические взлеты, в целом стремилась бы к понижению.

На какой-то момент Йоханнесу Рау удалось приостановить эту тенденцию. В 1999 году он в качестве федерального президента произносит свою первую рождественскую речь. В самом начале он подчеркивает, что именно отмечается в этот день: “Рождество Христово, появление Его на свет в Вифлееме”. Затем он добавляет: “Значение христианского праздника велико и по сей день, и оно касается каждого из нас, поскольку несет с собою свет в мир. Мы тоже должны это делать”.

Будет ли Рау поддерживать планку благочестия на том же уровне, который был задан им перед завершением года? В пользу этого говорит многое. У него особая — в том числе и родственная — связь с Хайнеманом. Но ему еще известно и то, что в вопросах веры население объединенной Германии существенно отличается от аудитории, к которой в свое время об-

рашался дедушка супруги нынешнего президента. Одна треть населения уже не связана религиозными узами. Помимо этого, в ФРГ сегодня проживает более трех миллионов мусульман.

По всем признакам процесс секуляризации германского общества на этом не остановится. В один прекрасный день рождественское послание президента республики будет иметь к Рождеству Христову такое же отношение, как стоящий у дверей универмагов рождественский Дед Мороз к епископу Николаю из Мир Ликийских. И, вероятно, после Гельмута Коля не найдется бундесканцлера, который бы заканчивал свою речь словами: “Господь, благослови нашу Отчизну Германию!”

III

Рождественские и новогодние послания — не только документы эпохи, или, если воспользоваться модным словом, той или иной ведущей культуры (Leitkultur). В них можно проследить и определенную политическую стратегию. Наиболее наглядный пример — проблема воссоединения.

В 50-х годах оратор практически не делал различий между аудиториями востока и запада. Ситуация изменилась в 60-е годы, после возведения Стены. Эрхард, Кизингер и Любке в канун Нового года составляли специальные радиопослания к “населению Средней Германии” — как тогда было принято говорить. В 1969 году эта недолгая традиция была прервана социал-либеральным правительством.

Брандт и Хайнеман вынесли практическое заключение из новой восточной и внутригерманской политики. Признание европейского порядка превратило “братьев и сестер в зоне” в граждан ГДР. Цель воссоединения затерялась в тумане далекого будущего и исчезла с правительственной повестки дня.

Брандт, кроме этого, отказался и от другого обычая: через радиостанцию “Deutsche Welle” передавать специальное послание находящимся за границей немцам. Лишь с приходом Гельмута Коля эта традиция возродилась. Но, увы, однажды он по рассеянности обратился только к германским морякам в открытом море. После этого со всех концов света посыпались письма с протестом: “А что делать морякам, чьи суда в новогоднюю ночь пребывают в иностранной гавани?” Эта почтовая связь доказала, что по крайней мере далеко за пре-

делами родины есть еще люди, которые внимательно слушают речи наших ведущих политических деятелей. Хорошенькое утешение!

Выступления президента и канцлера ФРГ в конце 1989 года стали кульминацией внутригерманской проблемы. В своем рождественском обращении президент Рихард фон Вайцзеккер избегал каких-либо отчетливых намеков на возможное объединение. Вместо этого он советовал восточным немцам без приглашения не вмешиваться. Коль же, напротив, в новогоднюю ночь подтвердил свою цель — добиться мирного единства и, следовательно, пойти навстречу пожеланиям народа ГДР.

IV

Тексты рождественских и новогодних посланий достаточны коротки. Вот уже много лет они не должны превышать жесткого десятиминутного регламента. Именно поэтому среди спичрайтеров они слышат самыми трудными. Здесь каждое слово, каждая запятая на вес золота. Вместе с тем текст не должен быть слишком гладким, чтобы не выглядеть окончательно бездушным. Следовательно, нужно слегка разбавить его эмоциями. Но в меру, иначе ключевые высказывания потеряют контур.

Рассуждения спичрайтера при составлении проекта речи выглядят приблизительно так: “Как поступить с нелицеприятными фактами? Оратор должен их вскрыть в самом начале. Чтобы в конце обнадежить радостной вестью. Нельзя же допустить, чтобы люди поперхнулись куском праздничного жаркого. Шеф всё равно не одобрит первоначального проекта. Потому что не все его любимые мысли нам удалось разместить в столь ограниченном пространстве. Нам придется до последней минуты корпеть над каждым словом — в полной уверенности, что миллионы телезрителей, как только начнется передача, потянутся за пультом”.

Рождественские и новогодние послания, как правило, не преподносят сюрпризов. Однако есть одно легендарное исключение. Тот, кто в новогоднюю ночь 1986 года включил сначала ZDF, а потом ARD, должен был прийти к заключению, что канцлер Коль успел за секунду надеть другой костюм и поменять текст.

Что же произошло? Дело в том, что сотрудники ARD поставили прошлогоднюю запись выступления. По ошибке, как заверяло руководство. Или все-таки нет? Или постарался какой-то сторонник СДПГ? В конце января 1987 года предстояли парламентские выборы. Насмешки из-за этого промаха посыпались на Коля, не на ARD.

Какими бы предсказуемыми ни были телеобращения политиков в конце года, среди изобилия деталей можно обнаружить некоторые удивительные вещи. Иногда о принципиальных изменениях в стиле лучше судить по мелочам, чем по объемным произведениям. Проявляются характерные особенности. В то время как Любке обращался к своим слушателям обобщающим “мои дорогие земляки”, Хайнеман ограничивается лаконичным “дорогие соотечественники”. Еще больше отличаются друг от друга обращения Вилли Брандта и Гельмута Шмидта. Один радушно приветствовал: “Дорогие соотечественницы, дорогие соотечественники”. Второй же сдержанно произносил: “Дамы и господа” — и в деловитом стаккато начинал перечисление: во-первых, во-вторых, в-третьих и так далее.

Наиболее показателен анализ стиля, охватывающий длительный промежуток времени. В 50-х годах тексты отличала индивидуальность. Докладчики, очевидно, составляли их самостоятельно. Они писали для аудитории, которой не нужно сопровождать звук картинкой. Слушатели в течение продолжительного времени должны были внимательно следить за ходом мыслей оратора и вникать в смысл сказанного. Слушающий человек, в отличие от смотрящего, в большей степени сосредоточен на тексте.

В 60-е годы произошли фундаментальные изменения. Сформировался стандартный формат. Нет уже места юмору, взволнованности или гневу. Речь ораторов становится более гладкой, плавной и — скучной. За кулисами всё чаще за перо хватаются уже профессиональные “авторы-невидимки” (“ghostwriter”). В этой тенденции отражаются изменения, происходящие в обществе: всё чаще происходит так, что люди, считающие себя носителями ярко выраженного индивидуального стиля, не видят, что их индивидуальность уподобляется общепринятому культурному стандарту. Все стали гоняться за “имиджем”, а имидж всегда можно купить у пиарщиков.

Если речь зашла о заблуждениях, то нужно заметить, что многие зрители наивно полагают, будто бы президент и канц-

лер сами пишут себе тексты. Кроме того, им кажется, что оратор пристально смотрит на них с экрана, что он обладает феноменальной памятью и не позволяет себе читать по бумажке. Но в действительности всё обстоит гораздо проще: в камеру вмонтирован телесуфлер, на экране которого размещается текст, написанный большими буквами, как в титрах фильма.

В 70-е годы спичрайтерский бизнес окончательно пришел в упадок. Отчасти — или даже в первую очередь — это было связано с изменением информационного ландшафта. Телевидение требует жесткого соблюдения эфирных рамок. Время — деньги. Телеобращения подпадают под диктат экономики. Информационные агентства тоже требуют своей доли. Им необходим материал для составления сообщений. Непреходящие истины, находящиеся над пучиной мировых событий, их не устраивают. Такова диктатура актуальности.

И еще одна важная деталь: ненасытность публики не дает возможности сегодняшним властью предержащим затвориться на пару дней, чтобы в тихой и спокойной обстановке излить свои мысли на бумаге. Это предвидел еще “папа Хейс”. На рубеже 1955/56 годов он сформулировал свой диагноз таким сочным и выразительным языком, который, кажется, уже не подвластен сегодняшним политикам: “Немцы теперь заседают до рвения, дискутируют до ярости и торжествуют до умопомрачения. Мне самому уже пришлось это испытать”.

Я не хочу сказать, что раньше всё было гораздо лучше. Но если даже это и так, прежний размеренный ритм жизни безвозвратно остался в прошлом. Но темп не должен быть самоцелью. Пожелаем же нашим политикам в будущем году, чтобы у них было побольше времени для размышлений. Чтобы они только в крайнем случае отказывались от этого шанса. Мы, народ “здесь в стране”, будем им за это благодарны.

Декабрь 2000

Прогнозов нужно остерегаться — особенно тех, которые касаются будущего. Но кто сегодня помнит этот добрый совет Марка Твена? Никто, так как среди всех интеллектуальных развлечений нет, наверное, ничего более приятного, чем спекулятивное рассуждение о мире завтрашнего дня. Это касается даже пессимистов, которые за маской дурного настроения скрывают свою тайную страсть к разрушению и чьи наихудшие кошмары сегодня напоминают больше “Этот прекрасный новый мир” Олдоса Хаксли, чем “1984” Джорджа Оруэлла.

Интернет и политическая культура

В 90-х годах уходящего столетия новым местом сборищ как для утопистов, так и для апокалиптиков стало киберпространство¹. Когда речь идет о Сети, многие легко впадают в крайности.

Некоторые считают, что на нашей планете забрезжила новая эра афинской свободы и демократии, в то время как певцы декаданса в очередной раз предвещают закат Европы.

Для одних Интернет предвестник и одновременно технический фундамент мирового общества без границ — носитель прекрасной Божьей искры, магическое действие которой вновь связывает все, “что строго разделено традицией”. Другие воспринимают Сеть как глобальную клоаку без границ, которая разносит всякую грязь — информационный мусор, порнографию, пропаганду ненависти — по всем уголкам нашей земли.

Одни приветствуют появление нового человека — *сетевого* — широко информированного, зрелого и политически ангажированного “гражданина Сети”. Другие предупреждают о возникновении новых классовых различий — на этот раз не между богатыми и бедными, а между грамотными и безграмотными эпохи информации.

¹ В дальнейшем понятия “киберпространство” и “Интернет” будут использоваться синонимично, хотя они подразумевают не совсем одно и то же: Интернет — материальный базис для нематериального (виртуального) пространства, то есть “киберпространства”.

Когда оценки и предсказания так кардинально расходятся, следует проявлять осторожность. Возможно, истина лежит не посередине между крайностями, а, как это часто бывает, где-то совсем в другом месте. С этой оговоркой можно рискнуть сделать некоторые предположения.

Интернет как проводник свободы

Интернет сопровождает и поддерживает рождение новой эпохи свободы. Он не является причиной возникновения культурных, экономических и политических процессов, определяющих наш современный мир, но он усиливает уже имеющиеся тенденции, содействуя прежде всего либеральным течениям.

Открытие киберпространства совпадает по времени с двумя эпохальными событиями конца XX столетия:

— ростом политической свободы после развала коммунистических диктатур в восточно-центральной Европе, областях южной Европы и на территории бывшего Советского Союза;

— развитием глобализации как следствия возрастающей экономической свободы.

С 70-х годов во всем мире начинает преобладать новая тенденция: предприятия со своим производством выходят на международный рынок труда вместо того, чтобы у себя дома производить товары для экспорта. Уже в середине 80-х годов — то есть в период, когда в СССР пришел к власти Михаил Горбачев — мировой обмен производства превысил мировой товарообмен. В начале 90-х годов — Советский Союз только что распался — впервые во всем мире было продано больше компьютеров, чем автомобилей: 35,4 миллиона.

Постоянно растущие возможности заниматься по всему земному шару электронной коммерцией в области информации, ноу-хау и финансов, безусловно, стали мотором глобализации. Даже традиционно локальные услуги, где чрезвычайно важны были личные беседы с клиентами, попадают под давление мировой конкуренции — например, перевод иностранных текстов, консультация и обслуживание покупателей, поиск и бронирование выгодных авиабилетов или расчеты инженерного бюро. Лишь территориально привязанные институты, такие, как детские сады или дома престарелых, и отдельные профес-

сиональные группы, например, экологических работников или занимающихся художественным промыслом, принципиально остаются в стороне от этого развития.

Следующее предположение не так очевидно, но, в любом случае, достоверно: необычайное расширение возможностей информации и коммуникации способствовало развалу коммунистических диктатур в странах Варшавского Договора. Имеется в виду не та точка зрения, которую часто можно слышать на Западе, — что Соединенные Штаты благодаря стратегической оборонной инициативе “СОИ” “разбили насмерть” своего главного политического соперника Советский Союз. Основная причина имеет не техническую, а морально-политическую природу: переходящий границы информационный поток и переходящий границы обмен мнениями всегда несут с собой крайне заразную бациллу свободной демократии.

Такая точка зрения противоречит скептическим предсказаниям, которые были популярны в недавнем прошлом. Так, Ральф Дарендорф считает, что человечество стоит на “пороге авторитарного столетия”, а Фарид Закария видит, как земной шар уже готов покатиться в сторону “иллиберальной демократии”.

Если отвлечься от всех обвинений по поводу слишком грубой типологии, то ход мыслей Дарендорфа можно обобщить следующим образом: экономический рост, социальное единство и свободная демократия образуют магический треугольник, в котором только две вершины одновременно реализуются без ограничений. Процесс глобализации принуждает нас к выбору:

— или экономический рост плюс социальное единство минус свободная демократия (“азиатская модель”),

— или экономический рост плюс свободная демократия минус социальное единство (“англосаксонская модель”),

— или свободная демократия плюс социальное единство минус экономический рост (“рейнская модель”).

Дарендорф справедливо замечает, что все три перечисленные им модели рыночной экономики в мировом масштабе конкурируют друг с другом. Кто же фаворит в этой гонке? Если верить Дарендорфу, то большинство людей, устав от сомнений, предпочтут азиатскую модель. Другими словами: глобализация содействует скорее авторитарным установкам, чем демократическим.

Этот тезис подразумевает, что для большинства людей материальное благосостояние важнее нематериального блага свободы. Эта предпосылка сама по себе уже спорна.

Кроме того, еще далеко не ясно, что в глобальном соревновании рыночных систем у так называемой “рейнской модели” — социальной рыночной экономики — наихудшие шансы. Хотя бы по сравнению с “азиатской моделью”: споры вокруг теории Дарендорфа поутихли после того, как обнаружилось, что экономическая и политическая стабильность в ряде восточно- и южноазиатских государств с авторитарным режимом оказалась мифом.

Мы уже знаем из прошлого опыта, что невозможно всё время к экономико-техническим элитам в профессиональном отношении относиться как к взрослым, а в политическом — считать детьми. Одно это говорит о конкурентоспособности — в любом случае о выживаемости — “рейнской” и “англосаксонской” моделей.

В наше время ни одна из служб госбезопасности не в состоянии долго держать под контролем постоянно растущий информационный поток. Если задуматься, каких гигантских затрат персонала, техники и финансов стоили восточнонемецким секретным службам во главе с Эрихом Милке попытки контроля над относительно небольшой группой из 800 диссидентов и оппонентов², то можно себе представить, насколько тяжело придется в будущем государственным системам контроля. Ведь основной принцип Сети — если вспомнить о военном прошлом Интернета — заключается в том, чтобы создавать лазеек больше, чем может быть уничтожено, и предлагать всё новые и новые пути обхода *firewalls*.

Таковы тревожные перспективы для некоторых полудемократических, авторитарных и тоталитарных режимов с ориентацией на так называемую “азиатскую модель”. Слабым утешением для них может послужить то, что информационный магнат Руперт Мердок из очевидных деловых интересов проводит политику попустительства по отношению к олигархам в Пекине.

Между тем существует одно относительно надежное средство против бациллы свободной демократии: тотальная изоляция à la Северная Корея. Старания коммунистического ру-

² Ср. *Heribert Schwan*. *Der Mann, der die Stasi war*. München, 1997 (Droemer Knauer). S. 178.

ководства Китая взять под контроль стремительно расширяющийся online-рынок при помощи строгой цензуры и драконовских мер против кибердиссидентов оказались напрасными. Так, “запрещенные” китайские web-сайты, размещенные за пределами страны, регистрируют ежемесячно десятки тысяч посетителей из Народной Республики.

Озабоченность органов государственной безопасности в информационную эпоху в какой-то степени является специфическим проявлением более общей проблемы, на которую постоянно указывал Фридрих Аугуст фон Хайек: совокупность всей имеющейся децентрализованной информации далеко превосходит возможности восприятия отдельного человеческого мозга (или отдельного технического прибора памяти). Это ставит жесткие границы государственному планированию и управлению общественными и экономическими процессами. Пренебрежительное отношение к таким проблемам влечет за собой разрушительные последствия, которые мы, например, наблюдали в странах социализма.

Сеть — если снова цитировать Хайека, — показательный пример “спонтанной системы”. Такие системы отличаются тем, что они

- могут достичь любого уровня сложности,
- прежде всего, строятся на абстрактных отношениях, далеко выходящих за пределы общения face-to-face,
- и, наконец, не служат никаким коллективным целям, но используются для преследования личных целей со стороны бесконечного множества отдельных участников.

С развитием Интернета всё более настойчиво встает вопрос о пересмотре границ компетенции между частным и общественным секторами. Пока же принято жаловаться на то, что национальная политика всё в большей мере вынуждена “подчиняться диктату мирового рынка”. Эта критика не лишена оснований, так как нельзя, конечно, примириться с тем, что предприятия, с одной стороны, открывают филиалы в государствах с наиболее выгодными социальными показателями (куда относятся внутренняя и внешняя безопасность, инфраструктура, система правосудия, квалификация рабочей силы и тому подобное), но, с другой стороны, используют все уловки для того, чтобы сократить до минимума налоговые затраты.

Интернет обостряет проблему, которая связана с попытками обойти закон: например, предоставление работы иностранцам через Сеть может рассматриваться как импорт рабо-

чей силы, где закон о государственном регулировании заработной платы теряет свое содержание. Вместе с тем было бы бессмысленно, выплеснув ребенка вместе с водой, предпринимать заведомо тщетные попытки подчинить Сеть строгому режиму государственного контроля и регулирования.

Если национальные структуры — в особенности системы социального обеспечения, которые очень разнятся от страны к стране, — попадут под пресс глобальной конкуренции, то это может и должно послужить *также* поводом для постановки вопроса о чрезмерной экспансии общественного сектора в ущерб частному. Государственная квота около 50 процентов (как сейчас в Германии) совсем не показатель пресловутого вытеснения государства рынком! Кроме того, национальная политика не так уж и беспомощна перед лицом глобальных изменений. Например, характер последствий трудовой занятости в Интернете зависит, в частности, от национальной политики на рынке труда.

Теперь нужно протестировать другую точку зрения, согласно которой исчезновение чувства солидарности в современных обществах связано только (или прежде всего) с рыночными механизмами, которые способствуют децентрализации. Может быть, такая утрата произошла так же, как и прежде, из-за недостаточного доверия к способности общества самоорганизовываться и в результате этого далеко зашедшей национализации чувства солидарности? Анонимные макроструктуры не в состоянии, видимо, пробудить чувство сопричастности, защищенности (*Geborgenheit*) и включенности (*Inklusion*); коллективные системы социального обеспечения в большей степени склонны низводить активных граждан до роли плательщиков взносов и адресатов социальных выплат и тем самым ослаблять профессиональные качества гражданского общества.

Индивидуализм и эгоизм такие же разные вещи, как коллективизм и альтруизм. Социальная ответственность возможна не только в условиях коллективно организованной защищенности, но и — порой с большим успехом — в рамках личных инициатив. Сопричастность — это просто и прежде всего то, что люди не чувствуют себя изолированными и самыми разнообразными способами приобщаются и проявляют себя. Возможность себя проявить — решающее условие для того, чтобы преодолеть (избежать) пассивность: если мы кому-то открываем дверь, то через порог должны переступить уже по собственной инициативе.

Поэтому необходимо воспитывать в людях мужество и доверие к себе. Оба эти качества растут по мере того, как люди начинают понимать, что они могут внести полезный вклад в жизнь общины. Этот вид не санкционированной сверху защищенности возникает в процессе активной деятельности в конкретной жизненной сфере — семье, соседстве, предприятии, объединении, церковном приходе, коммуне. К задачам “большой” политики относится поддержка жизнеспособности этих небольших гражданских объединений при помощи соответствующих рамочных условий. Но существовать они могут только за счет людей, которые в состоянии нести личную ответственность в конкретной жизненной сфере. Разнообразные примеры в Соединенных Штатах свидетельствуют о том, что Интернет — будучи с момента создания исключительно индивидуальным средством — абсолютно пригоден в качестве принципиально нового инструмента для поддержки духа солидарности и гражданских чувств на локальном уровне.

Парадоксальным образом (по крайней мере, так кажется) растет зависимость индивида как производителя вместе с его свободой³ в качестве потребителя. Так, мое рабочее место может зависеть от того, покупают ли в далеких странах товары, выпускаемые на моем предприятии. Это ведет к следующему (кажущемуся) парадоксу: когда механизмы глобального рынка так абстрактны и так безличностны, особенно велико искушение приписать их действие заговору темных сил.

К примеру, во Франции XVIII века представители низших сословий в селах и городах были убеждены, что возникающее время от времени подорожание хлеба и зерна — результат заговора, нити которого ведут в Версаль. Неурожай в других регионах, вызванный неблагоприятными погодными условиями, для них не мог стать причиной волны подорожаний, так как эти события разворачивались за пределами их восприятия. Колебания цен, обусловленные развитием торгового капитализма и его надрегиональными механизмами, проще всего можно было объяснить заговором.

Такого рода заключения, в некотором роде, имеют место и сегодня, когда, например, при обесценивании национальной валюты на международном рынке обвиняют “спекулянтов с

³ Под свободой здесь понимается только сумма всех вариантов поведения индивида; разумеется, это лишь наполовину соответствует истине — но для приведенного аргумента вполне достаточная дефиниция.

Уолл-стрит”. Интернет, давая возможность молниеносному распространению по всему земному шару необоснованных утверждений, непроверенной информации и всевозможных “сетевых мифов”, выступает в качестве резонатора для подобных теорий заговора. Этот вывод будет жестоким ударом по мечте об Интернете как о проводнике в новую эпоху просвещения. Киберпространство одинаково открыто как для просветителей, так и для обскурантов — так как оно ничем не отличается от реального мира.

Интернет и победное шествие “McWorld”

Интернет существенно способствует изменению рамочных условий для внешней и внутренней государственной политики.

Традиционная задача государства — защита основных ценностей с использованием, в крайнем случае, инструментария уголовного права. В киберпространстве эта защита представляется пока еще очень ограниченной. В этом смысле даже демократии могут иметь проблемы, с которыми обычно сталкиваются диктатуры в их безуспешной борьбе против нежелательных умонастроений. Конечно, распространяя демократические убеждения, можно ссылаться на то, что так происходит осуществление международных прав человека. То же самое касается борьбы против расовой ненависти и геноцида — предмета различных международных конвенций.

Но как обстоит дело, например, с детской порнографией, которая в некоторых странах — главным образом в Южной Азии — не относится к числу наиболее отвратительных уголовных правонарушений? Как осуществляется защита чести и достоинства, право на тайну частной жизни, а также установленное Федеральным Конституционным судом основное право на “информационное самоопределение”? Где проходит граница между дозволенной свободой слова и незаконным подстрекательством к преступным действиям?

По всем этим вопросам между разными культурами — даже на Западе — существуют различия культурно-политического характера. Только один пример: неонацисты, позволяющие себе отрицать Холокост, в Германии и некоторых других европейских странах преследуются по закону, однако в

США они в соответствии с дополнением к первой Конституции от 1791 года имеют право на свободу слова без каких-либо ограничений, в отличие от немецкого Основного закона, где эти ограничения кодифицированы.

При всех различиях в оценке границ свободы слова нужно хотя бы попытаться найти минимальный общий знаменатель на международном уровне, прежде всего для борьбы с экстремистскими, террористическими и мафиозными группировками.

Однако нужно быть осторожным: не может быть и речи об эксгумации давно и справедливо похороненного трупа антилиберального “нового информационного мирового порядка” под контролем ЮНЕСКО. С таким же успехом можно запрягать телегу впереди лошади. Никому еще не приходила в голову мысль ввести ограничения на телефонные переговоры только по той причине, что телефоны тоже могут злонамеренно использоваться в уголовных целях.

Места преступлений находятся в физической реальности, а не в виртуальном киберпространстве. В *реальном* мире детей грубо принуждают к порнографии, организуют уголовные заговоры и сочиняют клевету. Виртуальный мир, который, по нашим поверхностным представлениям, как будто бы существует независимо от реального мира и не только аллегорически — в действительности находится внутри физической и духовной реальности людей. Хотя у него есть свои собственные законы, он, тем не менее, остается всего лишь инструментом — пусть даже и могущественным, — с помощью которого индивиды и группы могут одинаково преследовать как благородные цели, так и недобрые замыслы.

Он расширяет нашу человеческую реальность и одновременно оказывает на нее противоречивое воздействие. Медийные средства непрерывно формируют наше самосознание. “Медиа — это *массаж* (die Massage)”, — вот так можно перефразировать высказывание Маршалла Маклюэна. Например, возникновение современного национального самосознания и современного территориального государства отчасти явилось следствием радикального изменения нашей картины мира, вызванного средствами книгопечатания.

Новая технология Иоганна Гутенберга дала толчок развитию и установлению в Европе на фоне бесчисленных локальных диалектов и универсальной латыни определенного числа письменных языков и литератур, которые стали точкой от-

счета для кристаллизации национальной идентичности. Библия, которая раньше была привилегией эзотерических, доступных лишь избранным просвещенным кругам литургических и ученых языков (например, латыни), во всей Европе переводится на светские национальные языки.

Электронные информационные технологии сегодня заново чертят географические карты нашего самосознания. Выходящее за рамки национальных границ ощущение сопричастности и солидарности сегодня как никогда определяет нашу картину мира. То, что началось с развитием телевидения, форсируется теперь через Интернет. Территориальность в киберпространстве практически не играет никакой роли, национально-государственные взгляды в чистом виде найдут там мало поддержки. Интернет не только мотор, но и непосредственный символ космополитических тенденций нашего времени.

Современные литературные языки и в будущем останутся важной частью национальной идентичности. Владение или невладение национальным языком и впредь будет определять позицию “внутри” или “снаружи”. Но, с другой стороны, границы между “внутренним” и “внешним” становятся всё более прозрачными.

О том, что государство сегодня не в силах защищать определенные основные ценности на своей территории, уже говорилось. Кроме того, ослабевает традиционная связь между языковой общностью и государственной территорией — такие традиционные исключения, как Швейцария, Бельгия и Канада, подтверждают это правило. Предложение *cujus regio, ejus lingua* (чья область, того и язык) в принципе продолжает иметь силу, но не так категорически, как раньше. Сегодняшние информационные и коммуникационные технологии более чем когда-либо дают людям возможность жить в чужой отчизне и в то же время духовно оставаться в стране родного языка.

Эта тенденция странным образом приводит нас к состоянию, имеющему определенное сходство с более ранними эпохами. По современным понятиям государственный суверенитет непрерывно и равномерно распространяется на каждый квадратный сантиметр юридически точно очерченной территории. В старом представлении, когда статус государства давался сверху каким-то объединениям людей, границы были размыты, а суверенитеты плавно перетекали из одного в другой. Отчасти по этой причине империи и королевства могли достаточно долго поддерживать господство над крайне

гетерогенным населением, состоящим часто из народов, которые даже не соседствовали друг с другом.

Подобно тому прошлому состоянию такую же тенденцию к стиранию границ между “внутренним” и “внешним” имеет система государств, которая к концу XX столетия оформилась прежде всего в рамках современной ОБСЕ. Состояние безопасности теперь поддерживается не методом *balance of power*, а взаимной открытостью и взаимной уязвимостью. Современный принцип абсолютного государственного суверенитета уступает место высокой степени прозрачности, проницаемости и возможности взаимного участия во внутренних делах. Правило “хозяин в своем доме” действует сегодня только с ограничениями.

Но это не значит, что национальному государству приходит конец. Это означает, что национальное государство становится теперь другим. Оно по-прежнему является важной структурой, благодаря которой мы осуществляем наши человеческие и гражданские права; оно до определенного момента остается важнейшим территориальным базисом демократии и хозяином монополии легитимного физического насилия (Макс Вебер) в собственных владениях. И все же оно уже стало неотделимой частью постоянно расширяющейся транснациональной системы.

Интернет стирает границы не только в пространственном, но и во временном измерении. Он способствует возникновению новой формы историзма. “*History is five years old*”*, — гласит калифорнийская поговорка, однако количество исторических музеев и всенародных юбилеев увеличивается. Сеть — это средство ускорения — и одновременно электронная мировая память и Александрийская библиотека информационной эпохи.

Предания, существующие в устных культурах и передающиеся из поколения в поколение, легко приспосабливаются к требованиям времени. В типографических культурах всё уже сложнее, но и там всё еще функционируют “эпосы”, при помощи которых исторические события и их последовательность интерпретируются в более широком контексте. Интернет фиксирует прошлое интенсивнее, чем когда-нибудь это делал печатный станок. Для политики это может иметь неприятные последствия — во всяком случае для наций со сложной исторической судьбой, и в первую очередь для немцев с их нацистским прошлым. Для германской внешней политики, например, воз-

* Возраст истории пять лет (англ.).

никает проблема, связанная с тем, что образ Германии еще долгое время для большей части мира будет оставаться в тени виртуального осовременивания нацистского периода.

Чем чаще происходит виртуальное общение с вещами и людьми, тем сильнее становится потребность в физическом присутствии этих вещей и людей. Вальтер Беньямин в своей известной статье “Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости” писал, что понятие “подлинности” произведения искусства стало релевантным лишь с изобретением определенных множительных техник. Так, в Средневековье никому бы не пришло в голову назвать аутентичной картину того времени с изображением Мадонны. Произведение искусства получает ауру подлинности только тогда, когда его репродукции — например, благодаря изобретению ксилографии — производятся большими тиражами.

Если это предположение правильно, то “культовая ценность” уже давно знаменитых аутентичных произведений сегодня высока как никогда благодаря новым недорогостоящим репродукционным техникам. И это подтверждают музейные работники: достаточно иметь PC, модем и телефонное подключение, чтобы за абонентскую плату стать виртуальным посетителем Лувра, Ватикана или музеев в Берлине.

Мона Лиза, собор Святого Петра или Нефертити, впрочем, уже стали фетишем мировой культуры человечества благодаря таким традиционным средствам, как эстамп, литография и фотография; но сегодня этот высокий статус мощно поддерживается при помощи новых информационных технологий. У созерцателя электронной репродукции возникает более ошутимое желание “лично присутствовать” — совершить паломничество к оригиналу, увидеть его собственными глазами и, по возможности, дотронуться руками.

Что общего всё это имеет с политической культурой? Очень много, если мы допустим, что стремление к аутентичному, обозримому, конкретному является также политически действенной антропологической константой — и это стремление усиливается в той мере, в какой наша жизнь определяется любыми воспроизводимыми, выходящими за пределы нашего личного кругозора абстрактными отношениями. Интернет оказывает содействие стремлениям к сближению, и в том числе регионалистским тенденциям.

В действительности нет никакого парадокса в том, что в эпоху глобализации набирают силу регионалистские, сепара-

тистские и культурно-шовинистические тенденции (где под “региональностью” подразумеваются, как правило, только безобидные формы партикуляризма): *McWorld* и Священная Война — если мы воспользуемся широко известной формулировкой Бенямина — могут оказаться двумя сторонами одной медали. Только при поверхностном рассмотрении кажется противоречивым то, что сепаратистски настроенные герильи, с одной стороны, ведут войну за сохранение их независимого статуса, а с другой — отдают дань кумирам мировой массовой культуры, когда в качестве военной формы носят майки с портретом поп-звезды Мадонны.

Традиционное различие мегаполиса и провинции, периферии и центра всё больше теряет смысл, когда даже в Хинтертупфингене при помощи Интернета можно приблизиться к сокровищам мировой цивилизации. Электронные сети как бы делают ненужными традиционные правительственные, финансовые и культурные центры. Но в то же время неудивительно, что дебаты по поводу выбора резиденции парламента и правительства объединенной Германии (Бонн или Берлин) вызвали жаркие споры. Сознание национальной идентичности требует, видимо, конкретного исходного пункта, фиксирования в определенной топографической точке.

К парадоксам информационной эпохи относится и тот факт, что деятели внешней политики всё чаще выезжают на встречи со своими партнерами по переговорам, в то время как растущие возможности электронной коммуникации как раз позволяют избавиться от необходимости физического перемещения в пространстве. Технически можно было бы при помощи спутника устраивать в форме видеоконференций заседания Европейского Союза или Генеральной Ассамблеи ООН, встречи представителей мировой экономики. Почему этого не происходит?

Дело в том, что межчеловеческая коммуникация — это не просто процесс обмена или транспортировки, это не просто передача данных или сигналов, которую можно оптимизировать при помощи улучшения каналов или увеличения количества услуг. Это скорее социальное действие, основа которого — общественный и культурный опыт, действие, в котором привычка, достоверность и доверие — центральные понятия. Виртуальные отношения потому так хрупки, что в них отсутствует общий биографический и/или социально-пространственный контекст — не говоря уже об эмоциональных аспектах (Готфрид Йаррен).

У Кристиана Моргенштерна можно найти поэтическую иллюстрацию такого положения вещей. В одном из его стихотворений Пальмштрем заказывает “квартал смешанной почты” в Универмаге маленького счастья — У.М.С. Далее события разворачиваются следующим образом:

Und nun kommt von früh bis spät
 Post von
 aller Art und Qualität.
 Jedermann teilt sich ihm mit,
 brieflich,
 denkt an ihn auf Schritt und Tritt.
 Palmström sieht sich in die Welt
 plötzlich
 überall hineingestellt
 Und ihm wird schon wirr und weh
 Doch es
 ist ja nur — das W.K.G*.

Если у кого-то вызывает смех ритуал челночной дипломатии, тот должен — чтобы быть последовательным — высмеивать и старомодность людей. Но можно взглянуть на это с другой стороны: киберпространство всё еще слишком примитивно, чтобы хотя бы приблизительно передавать всю тонкость межлической коммуникации — от языка жестов до куда более сложных вещей, которые мы называем “аурой” или “энергетикой”.

Вместе с тем открытие Интернета дало стимул старому стремлению — мечте о возвращении к прошлому состоянию face-to-face, в котором нет места отчуждению, и межлические отношения переживаются непосредственно и конкретно. Отсюда недалеко до идеи электронного самоуправления народа — мечты о постмодернистском собрании граждан под виртуальной деревенской липой.

Трезвая оценка возможностей, предлагаемых Интернетом в качестве средства политической информации и политического влияния, приводит не то чтобы к сенсационному, но во всех отношениях положительному результату.

* Пальмштрему пишут каждый день все те, кому писать не лень. Признаться все ему спешат, что каждый с ним знакомству рад. Пальмштрем внезапно осознал, что целый мир Пальмштремом стал... Он испытал огромный стресс... Расслабься! Это ж УМС.

Интернет как катализатор демократических обновлений

Интернет дает демократии свежее дыхание, оказывая поддержку интеррогативной, вопрошающей политической культуре. Сетью особенным образом поощряет “хорошо информированного гражданина” (тип, который можно поставить между оптимально информированным экспертом и безразличным к политике среднестатистическим человеком); традиционные формы голосования на выборах и референдумах нельзя заменить электронным голосованием, но их можно разумно дополнить.

Со стороны многочисленных приверженцев “электронной демократии” существующие формы голосования вызывают смех и критикуются как устаревшие даже в самых развитых с точки зрения техники странах. Перед нами действительно какое-то противоречие: наши офисы напичканы факсовыми аппаратами, компьютерами и дигитайзерами, мы с помощью карт снимаем деньги в банкоматах и пользуемся всеми удобствами автоматизированного домашнего хозяйства, но когда наступает день выборов, мы идем на избирательный участок, где нам вручают бланк, на котором мы ставим крестик и опускаем в урну. После закрытия избирательного участка урну опустошают, и бланки вручную обрабатываются несколькими людьми. Какой громоздкий и дорогостоящий процесс!

Результат подсчета издержек и прибыли на взгляд отдельного избирателя может оказаться еще более неблагоприятным: вес моего голоса на фоне миллионов избирателей ничтожно мал, поэтому было бы разумно, если бы я сократил до минимума издержки голосования. А это говорит в пользу нажатия кнопки или щелчка мыши, не покидая пределов своей комнаты, и против голосования на избирательном участке.

Кто смотрит на вещи таким образом, упускает один очень веский аргумент в пользу того, чтобы люди ходили на выборы (“ходили” в буквальном смысле слова — мало кто пользуется возможностью голосования по почте): для большинства — в Германии число участвующих в выборах Бундестага составляет регулярно около 80 процентов — поход к избирательному участку есть осознание своего гражданского права и сознательное исполнение своей гражданской обязанности, четкое выражение своей принадлежности к обще-

ству и четкое выражение личной ответственности в демократическом государстве.

Отказ от якобы архаического ритуала “голосования на избирательном участке” после всего этого будет означать, что у миллионов людей отнимут возможность выразить свою принадлежность и лояльность демократическому обществу в наиболее убедительной и в высшей степени приемлемой форме социального действия. Никто еще не пришел к абсурдной идее отменить демонстрации со ссылкой на возможность проведения массовых протестов по E-mail. Мы должны приветствовать возрастающие интерактивные возможности электронных коммуникационных технологий не как замену, а как дополнение демократических процессов формирования общественного мнения, волеизъявления и свободы решения.

Уже более тридцати пяти лет мы находимся под впечатлением столь же красивого, как и обманчивого выражения “большая деревня”, подаренного нам Маршаллом Маклюэном. “Большая деревня” — это, естественно, мегаполис, то есть нечто, прямо противоположное сельской общине с присутствующей ей солидарностью и контролем: там не поет по утрам петух на навозной куче и днем не раздается звон церковных колоколов. Там можно проживать в очень тесном пространстве и ни разу ни с кем не встретиться. Там можно вести существование *à la carte**: то есть, мы общаемся только с теми людьми, которые разделяют наши профессиональные интересы и предпочтения в досуге; всего остального мы избегаем.

Это открытие уже не позволяет нам надеяться на то, что Интернет может стать новой Агорой, форумом всех граждан — хотя они и относятся к одной группе, — местом собрания всей нации. Вместо этого в Интернете будут скорее обитать постоянно размножающиеся виртуальные организации со своими программами; киберпространство превратится, видимо, в некое электронное подобие существующих общественных сегментов; и, возможно, он даже усилит тенденции к политической фрагментации.

Изобретение киберпространства не означает, что пришел конец репрезентативной демократии и начинается эпоха регулярных электронных плебисцитов. Идея таких голосований имеет исходным пунктом точку зрения Томаса Джефферсона,

* По выбору, по желанию (*фр.*).

который утверждал, что репрезентативная демократия представляет собой второсортную форму самоуправления народа (popular government of the second degree of purity). В соответствии с этим репрезентация лишь неизбежное зло, которое до сих пор из-за технических трудностей нужно было принимать, но с открытием киберпространства необходимость в этом отпала.

Фундаментальная ошибка подобного подхода заключается в том, что в нем недооценивается принципиально репрезентативный характер каждого демократического решения. Каждое демократическое решение — будь то в парламенте или в рамках народного голосования — означает действие с последствиями (также) для остальных. Это акт, дающий возможность распоряжаться другими людьми и имеющий последствия для будущих поколений, которые пока остаются вне участия. Эта коллективная взаимосвязь как бы a priori в наличии и никогда не исчезнет.

Возможность распоряжаться самим собой и возможность распоряжаться другими неотделимы друг от друга — тем более в мире, где всё чаще наши действия имеют далекие последствия. Право всех граждан на совместное решение общих задач — в какой бы форме оно ни выразалось — не является поэтому “правом на свободное от ответственности распоряжение другими” (Петер Граф Кильмансегг). Даже в Интернете этот принцип не теряет силы.

Надо сказать, интерактивные технологии ослабляют многие аргументы, которые в прошлом приводились против прямой демократии. Если каждый имеющий право голоса гражданин в любой момент может без особых усилий нажатием кнопки или щелчком мыши принять участие в плебисците, то непосредственное самоуправление народа, по крайней мере на практике, не является больше утопией. Однако в настоящий момент интерактивными технологиями для формирования политического мнения и волеизъявления пользуются в первую очередь заинтересованные граждане с хорошим образованием и относительно высоким доходом. Впрочем, это возражение не находит поддержки: фундаментальные демократы подрывают его требованием, чтобы доступ к Интернету в такой же мере относился к прожиточному минимуму, как, например, телефонное подключение. Но если и можно будет скоро в социальные организации подавать заявление на подключение к Интернету (со всем необходимым аппаратным обеспечением), то возникнет целый ряд проблем:

— компьютером пользоваться труднее, чем телефоном, таким образом, преимущество получают те избиратели, которые лучше владеют этой технологией;

— использование Интернета требует времени, которым располагают не все;

— к тому же существует, наверное, нечто, подобное основному праву на отказ от доступа в киберпространство. Из опыта студенческих демократических пленумов 1968 года мы знаем, что в результате можно будет мобилизовать только небольшую часть активистов, что в свою очередь со временем сведет к нулю легитимный базис решений референдумов.

Это лишь небольшая часть из всех, так сказать, практических соображений “за” и “против” электронного самоуправления народа. Важнее, однако, то, что в процессе принципиального обсуждения вопроса — “за” или “против” прямой демократии — Интернет ничего конструктивно нового предложить не может:

— он ничего не меняет в весе моего голоса, который и в киберпространстве будет составлять лишь одну миллионную от общей суммы всех голосов;

— он никак не влияет на предсказанную Алексисом де Токвилем опасность тирании большинства, пресечь которую должна репрезентативная правительственная система;

— его нельзя использовать для устранения второй предсказанной Токвилем опасности для свободы отдельного человека в виде бюрократической опеки. Борьба с бюрократией будет более эффективной при помощи расширения сферы личной ответственности и децентрализации, а не при помощи всенародного вето (которое часто проявляет себя как враждебное инновациям, то есть как структурно законсервированное).

Что же тогда остается от больших надежд на электронное обновление свободной демократии? Очень многое. Только мы должны свести наши требования к реальному масштабу. Прежде всего нам не следует делать ошибку, вспоминая о демократии лишь в момент голосования. Широта возможностей в предшествующем процессе формирования мнения и волеизъявления имеет, как минимум, такое же важное значение — и здесь Интернет многое предлагает:

— он существенно облегчает получение необходимой для принятия решения информации и обеспечивает высокий уровень прозрачности;

— он позволяет народу и стоящим у власти поддерживать непосредственное общение друг с другом в обход традиционных средств печати и радио.

Американский политолог Марк Бончек в исследовании о вызванных Интернетом изменениях политических информационных течений⁴ выдвинул тезис о том, что традиционная структура радиовещания готова превратиться в структуру сетевого радио. Принципиально новое в “сетевом радио” заключается в том, что оно подрывает и медленно разрушает установившуюся монополию газет, радио и телевидения в посредничестве между политическим и общественным пространствами.

Но этот эффект может существенно снизиться из-за того, что никто не в состоянии в одиночку, без посторонней помощи, справиться с переизбытком политической и политически релевантной информации; поэтому вместе с утратой традиционными СМИ роли привратников парадоксальным образом должна расти потребность в новых информационных фильтрах и помощи в интерпретации.

Именно такое развитие наблюдается в настоящий момент: в Интернете наибольшим спросом пользуются новости от американских телевизионных компаний MSNBC и CNN, сопровождаемые поисковыми машинами Yahoo и Exsite. Две последние не являются телеграфными агентствами в традиционном понимании — как и домашняя страница AOL. Они только ворота (portals) в киберпространство. Большая часть новостей в Интернете в действительности лишь копия телеграфных сообщений — AP и Reuters, но в новой упаковке, чтобы завуалировать совпадения. Yahoo, Exsite и AOL новости “качают” — они их не производят⁵.

Но определенный проблеск надежды есть. Например, богатые информацией web-сайты таких уважаемых газет, как *Washington Post* и *New York Times* привлекают посетителей, которые — как показывает их тактика пользования — способны правильно оценить хорошо подобранный документальный материал, интеллигентный анализ и элегантный стиль. Естественно, такая информация дороже обычного хлама из sound-

⁴ См.: Mark S. Bonchek. From Broadcast to Netcast: The Internet and the Flow of Political Information. Harvard University, April 1997. (Заругать с сайта <http://institute.strategosnet.com/msb/thesis/download/htm>.)

⁵ См.: Marc Fischer. Macht mit Maulkorb. — “Rheinischer Merkur” от 19 февраля 1999 года.

bites. Даже в эпоху Интернета есть, видимо, достаточно людей, готовых заплатить за качество соответствующую цену.

Политическое пространство в структуре радиовещания образует довольно замкнутую сферу. Его двери в качестве янусо-головых “привратников” (gatekeeper) охраняют традиционные СМИ. Будучи частью политического пространства они участвуют в информационном потоке между правительством и парламентом, а также партиями и объединениями. И, будучи частью общественного пространства, передают политическую информацию в виде новостей и комментариев читающим, слушающим и смотрящим гражданам. При этом они пользуются возможностью фильтровать и интерпретировать информацию.

В структуру сетевого радио добавлены новые информационные течения; границу между политическим и общественным пространствами уже нельзя провести так однозначно. Теперь граждане могут обойти привратников и самостоятельно получить неотрецензированную и неинтерпретированную политическую информацию из правительства и парламента, а также партий и объединений. Кроме того, они могут теперь сами выйти на широкую публику: Интернет не только расширяет возможности коммуникации между индивидами (one-to-one), но и предоставляет индивиду и группам шанс при минимальных затратах обратиться к широким массам (one-to-many, many-to-many).

Наконец, существенные изменения вызывает то, что Интернет является интерактивным, двусторонним средством: сегодня гражданин меньше, чем когда-либо, играет роль только получателя новостей и комментариев, подготовленных традиционными односторонними СМИ. Сегодня он может сколько угодно и без труда высказывать собственное мнение и направлять петиции в правительство, парламент, партии, объединения и, естественно, в традиционные средства массовой информации.

Безусловно, интерактивность существовала и прежде, когда можно было писать письма в газеты или обращаться с заявлениями в государственные инстанции, но никогда еще граждане не могли так легко и быстро устанавливать контакты с личностями и институтами из политического пространства.

Интернет предоставляет новые возможности политическое волеизъявления для многих граждан, ранее державшихся с стороне от политических дебатов. Здесь можно вспомнить с успехом проведенное на локальном и региональном уровнях “televote”^{*} в Соединенных Штатах. В процессе обстоятель-

* Телефонное голосование (англ.)

ной информации, дискуссии и обсуждения группу граждан, представляющих население страны, попросили по их собственному усмотрению подготовиться к определенной теме. Еще Алексис де Токвиль назвал скамью присяжных выдающимся демократическим институтом — а не только элементом аппарата юстиции. “Скамья присяжных, — писал он, — вносит неоценимый вклад в формирование народного суждения и повышение естественной грамотности. Это я считаю ее огромным достоинством”.

Вызовет ли Интернет обновление в демократическом гражданском обществе, зависит не от числа квартир, в которых есть компьютер с модемом, а в первую очередь от качества нашего политического образования и нашей готовности подняться выше своих эгоистических интересов.

Высокий уровень “компетентности в информационных технологиях”, которую представленные в Бундестаге партии в предвыборных программах 1998 года отмечали как главное качество в информационную эпоху, это не только технические навыки, но (возможно, даже прежде всего) этическое и эстетическое свойство объективного суждения. Здесь обязательно должна присутствовать большая доза скепсиса — левоверные быстро заблудятся в электронных джунглях лжи, сплетен и легенд. Зато кто научится ориентироваться в “информационном супермаркете”, того не удастся легко поймать на удочку низкопробной продукции.

Понятая таким образом компетентность в информационных технологиях начинается дома — прививать ее есть право и обязанность родителей. Задача же государства состоит в том, чтобы предотвратить раскол в наших обществах — на этот раз между грамотными и неграмотными информационного века. Чиновники образовательных систем вряд ли справятся с этой задачей в одиночку; здесь они более чем когда-либо зависят от поддержки общественных институтов и гражданских инициатив.

Марк Бончек в конце уже упомянутого исследования рассуждает так: “Изменит ли Интернет способ и вид человеческого взаимодействия? Да. Будет ли он повышать долю участия граждан? Да. Вернет ли он в политический процесс отчужденных или равнодушных граждан? Ответ на этот, возможно, самый важный вопрос неизвестен. Ответ — таков мой прогноз — больше связан с воспитанием и гуманностью, чем с технологией и Сетью”.

После второй мировой войны немцы самым тщательным образом пытались выяснить все причины, следствием которых могло явиться национал-социалистское варварство. Только ли экономический упадок привел к краху первой немецкой демократии? Или в первую очередь нужно говорить о политической нестабильности, ставшей следствием недостаточно продуманной конституции? А может быть, у немцев в силу культурных особенностей есть предрасположенность к тому, чтобы подчиняться диктаторам, проявлять агрессивность к соседям и ненавидеть меньшинства?

Одним из основных пунктов национал-социалистской расовой идеологии был, без сомнения, фанатический антисемитизм, приведший в итоге к истреблению 6 миллионов европейских евреев. В какой мере традиционный христианский антииудаизм, существовавший на протяжении тысячи девятисот лет, подготовил почву для расистского антисемитизма XX века? В последние десятилетия этот вопрос интенсивно обсуждается не только в Германии; он по существу затрагивает все общества, которые — несмотря на массовую секуляризацию — сохранили ярко выраженную христианскую культуру. Оптимальной формой проведения такого рода дебатов был и остается христианско-иудейский диалог. Об этом моя речь¹, посвященная памяти известного в Германии теолога Пинхаса Лапиде, скончавшегося в конце 1997 года.

Возлюби врага своего

«Истинное богословие (черпает) свои импульсы в ничтожестве и величии рода человеческого: в страхе перед смертью, воле к жизни и надежде на то, что смерть еще не есть конец всего; в надежде, рожденной из предчувствия существования той необъятной бесконечности и конечной действительности, именуемой Господом; в надежде, которая не может смириться с тем, что бытие наше начинается с родовых схваток и заканчивается предсмертным хрипом; в надежде, что последнее слово скажут не смерть, не слезы и не траур по усоп-

¹ Речь, произнесенная на вечере памяти Пинхаса Лапиде 26 января 1998 в Кёльне.

шим; в надежде, что доверие к тому, что “свыше” нас, породит мужество преодолеть то, что “впереди” нас; мужество, пройдя через умирание, принять последующее бытие, лишаящее смерть ее зловещей миссии и придающее смысл жизни нашей, непреходящий и нетленный; в надежде, которая придает силы, чтобы не вопрошая, предоставить себя воле Господа, “который умерщвляет и оживляет” (Втор. 32, 39) и не забывает наших праведников (Пс. 37, 25). Такова квинтэссенция библейской веры в Воскресение, исповедуемой иудеями и христианами. Другой же быть не может”.

Это замечательное высказывание Пинхаса Лапиде, относящееся к 1977 году², я сознательно процитировал слово в слово, поскольку оно как нельзя лучше выражает ту идею, которая собрала нас сегодня вечером. Ее можно выразить также с помощью образа, который использовал не только Иисус Христос, но и, например, раввин Пинхас Коретцкий: жизнь и деятельность Пинхаса Лапиде подобна семени, легшему на плодородную почву и давшему богатые плоды.

То, что объединило нас здесь сегодня, — это не только траур по человеку, которого мы потеряли и который был для каждого из присутствующих здесь чем-то особенным. Это прежде всего чувство глубокой благодарности, мы испытываем его и по отношению к Вам, дорогая госпожа Лапиде, как к спутнице жизни и соратнице Пинхаса Лапиде.

I

“Пинхас Лапиде был одним из свидетелей нашего кровавого столетия. Раны и шрамы на душе его были приобретены с опытом и оказали воздействие на его жизнь и философию, но ни коим образом не направили их в другое русло”. В этих двух предложениях Соломон Корн изложил на траурной церемонии, состоявшейся три месяца назад во Франкфурте, жизненный путь Пинхаса Лапиде. Он родился 28 ноября 1922 года в Вене, во 2-м районе города недалеко от Пратера, в семье торговцев. Детство его было счастливым.

“Аншлюс” Австрии в марте и антисемитские выступления в ноябре 1938 года ознаменовали начало страшных перемен.

² “Auferstehung. Ein jüdisches Glaubenserlebnis”, 3. Auflage 1980. S. 90–91.

Шестнадцатилетнего Пинхаса сажают в концентрационный лагерь. Друзья-христиане помогают ему бежать. Он оказывается в Чехословакии, затем в Польше и в конечном итоге в Англии, где в течение года скрывается у крестьянина.

В 1940 году он добрался до Палестины и участвовал в организации кибуца. С 1941 по 1946 год служил в Еврейской бригаде британской армии — сначала воевал против Роммеля, затем был связным офицером в Вене. Там он досдал экзамены на аттестат зрелости и получил диплом переводчика итальянского, французского, русского и английского языков.

В 1948–1949 годах он — солдат армии молодого Израильского государства, затем — до 1962 года — дипломат в Милане и Рио-де-Жанейро и референт по израильско-латиноамериканским отношениям в Министерстве иностранных дел Израиля. В 1960 году он женится на Рут Розенблатт, беженке из Германии, выросшей в Хайфе.

В 1962 году его назначают координатором внутриминистерского Паломнического комитета; с 1964 года он — директор пресс-службы премьер-министра Израиля. Позднее становится сотрудником двух научных учреждений: “American Institute for Bible Studies” и “American College in Jerusalem”. Он часто посещает Соединенные Штаты, выступая с докладами по поручению своего правительства.

Пинхаса Лапиде отличает то, что в эти насыщенные событиями годы, несмотря на полную отдачу своей профессии, он с достойным восхищением упорством и энергией продолжает наверстывать упущенное в годы преследований и борьбы за выживание, а именно — повышать свою квалификацию ученого. В Милане он изучает литературоведение, в Израиле — сперва в Школе политической науки (“School for Political Science”), затем в Еврейском университете — политику, романистику, историю раннего христианства и средних веков.

После завершения учебы с отличием зимой 1969 года он просит отпуск у израильского правительства, чтобы писать диссертацию в Институте иудаистики имени Мартина Бубера в Кельне. Его работа, защищенная в 1971 году, посвящена проблеме использования древнееврейского языка в христианских религиозных общинах.

В этом ученом труде, который Гельмут Гольвитцер с восхищением охарактеризовал как не имеющий предшественников по насыщенности информацией, уже полностью прослеживаются все те идеи, которые в будущем в значитель-

ной степени способствовали успеху Пинхаса Лапиде: необычное умение чувствовать как познавательные, так и “обманчивые” аспекты языка; полный симпатии взгляд на евангелистов и на Иисуса Христа; не в последнюю очередь ярко выраженное осознание важности передачи знаний во имя достижения великой цели иудаистско-христианского взаимопонимания.

Пинхас и Рут Лапиде осели в Федеративной Республике Германии. Они составляли неразделимый тандем авторов, завоевавших благодаря результатам многолетнего совместного мышления и нахождения формулировок прочное место в умах и сердцах многих слушателей и читателей. Когда более десяти лет назад Пинхас попал в автокатастрофу, последствия ее он преодолевал с достойным восхищения мужеством — и не в последнюю очередь благодаря любви и заботе своей верной супруги Рут.

Высоко оценены заслуги Пинхаса Лапиде не только на академическом поприще, но и во многих других областях. Он был приглашенным профессором в университетах Тюбингена, Геттингена и Вупперталя, а также выступал с лекциями во многих других городах Германии и мира. Свободный писатель и исследователь религий, он слыл прекрасным оратором, автором интересных интервью и публицистом. Его сочинения вызвали большой интерес, многие из его книг часто переиздавались.

Секрет его личного воздействия не в последней степени крылся в его выразительной манере выступать и писать, наглядно и понятно излагать свои мысли, что говорит о таланте педагога, дарованном ему свыше. Он был хорошим учителем: не просто преподавал, но в чисто сократовской манере, умело задавая своим слушателям и читателям вопросы, подводил их к правильным ответам. Так, многие названия его книг вызывают любопытство благодаря своей вопросительной форме. Приведем лишь некоторые примеры: “Кто виноват в смерти Иисуса?”, “Правильно ли переведена Библия?”, “Как возлюбить своих врагов?”, “Способны ли мы любить чужих?” “Была ли виновата во всем Ева?”.

К интереснейшим публикациям относятся диалоги Пинхаса Лапиде с христианскими богословами и философами — здесь я привожу имена лишь Карла Ранера, Ханса Кюнга и Карла Фридриха фон Вайцеккера. Это не ученые диспуты на непонятном непрофессионалу “жаргоне”, а живые беседы,

дающие каждому представление о том, что объединяет и разделяет их взгляды.

Особая тема для разговора — отношение Пинхаса Лапиде к языку. Не только потому, что он благодаря своему необычайному таланту в совершенстве владел несколькими языками, среди них почти всеми романскими. Он также владел даром превращать мертвые на первый взгляд буквы в живое средство познания и творчески владеть словом.

Его языковая харизма находила свое отражение, в частности, в изобретении новых, выразительных понятий. В качестве примера хочу привести его знаменитое слово “Entfeindung” (“отказ от образа врага”), с помощью которого он выявил суть заповеди о любви к врагу своему. Он перевел ключевые понятия Евангелий с греческого на родной язык Христа, арамейский, а с арамейского на немецкий. Тем самым он внес свой особый вклад в аутентичное, построенное на передаче мельчайших подробностей толкование слов Иисуса Христа и в более глубокое понимание Нового Завета.

Кстати, в этом Пинхас Лапиде ссылается на Мартина Лютера, который благодаря своему гениальному чувству языка четко распознал данную проблему. В его “Застольных речах” мы читаем:

“Будь я моложе, я бы выучил древнееврейский язык, так как, не зная его, невозможно правильно прочесть писание. Ведь Новый Завет, несмотря на то, что он написан по-гречески, изобилует гебраизмами; узнаваем также разговорный стиль древнееврейского языка. Поэтому правильно замечено: *Иудеи* пьют из источника, *греки* — из ручья, вытекающего из этого источника, а латиняне — из луж”³.

II

Я убежден в том, что одной из величайших заслуг Пинхаса Лапиде является *популяризация* (в лучшем смысле этого слова) еврейского текста Нового Завета. Он обладает даром упрощать, не сокращая; пояснять, не огрубляя. Ему удалось найти и выделить иудейское в личности Христа и открыть многим глаза на то, что Бог Израиля и Отец, к которому об-

³ Цитата из произведения Пинхаса Лапиде “Die Bergpredigt — Utopie oder Programm?” Mainz, 1982. S. 13.

ращается в молитвах Иисус, — одно и то же лицо. Он прочел нам, христианам, Евангелия, по выражению Лео Бэка, как “грамоту иудейской веры”.

Для нас, христиан, совершенно естественно читать Еврейскую Библию в свете Евангелий. Нам это кажется настолько непроблематичным, что не требует никакого дополнительного обоснования. Я до сих пор вспоминаю, насколько я был ошарашен, когда впервые услышал доклад Пинхаса Лапиде, в котором было как раз все наоборот: человек иудейской веры изложил Новый Завет в свете Старого Завета и перевернул, как мне тогда показалось, Библию с ног на голову. Или, может быть, все-таки с головы на ноги?

В любом случае христианское богословие обязано данному толкованию Евангелия существенными пояснениями. Прежде всего, такой взгляд оберегает от сведения веры к чисто внутреннему содержанию, от четкого разделения теории и практики. В Библии речь идет не только об исцелении собственной души, но и — постоянно и прежде всего — о “Народе Божьем” и “Царствии Господнем” — то есть о том, что мы, изначально являясь общностью Бога, несем послание миру. “Для Иисуса важны, — говорит Пинхас Лапиде в беседе с Карлом Фридрихом фон Вайцеккером, — в конечном итоге, как полагают многие, не (абстрактные) идеалы, а собственное постижение (конкретной) действительности, которая охватывает всё человеческое бытие. Это и есть истинная действительность Господа, которая открывается ему изо дня в день в своем совершенстве. Она должна быть познана слушателями Нагорной проповеди и претворена в жизнь во всей своей полноте: речь идет о деянии, и это является у Христа квинтэссенцией”⁴.

Популяризация этого нестандартного “сближения” с Христом и его учением не только одна из величайших заслуг Пинхаса Лапиде, это может быть расценено и как его важнейшее завещание. Тысяча девятьсот лет отчуждения “дочери” — христианской веры — от “матери” — иудаистской — это тяжелое наследие, от которого нельзя избавиться в один миг. У Пинхаса Лапиде мы учимся не пасовать перед этой великой задачей и мужественно противостоять “уродливым сестрам” по имени “Ignoranz” и “Aroganz” (“невежество” и “высокомерие”).

⁴ *Pinchas Lapide / Carl Friedrich von Weizsäcker, “Die Seligpreisungen” Ein Glaubensgespräch*, 2. Auflage, 1980. S. 16.

Даже строгие блюстители церковных традиций веры подчеркивают ныне с большой проникновенностью “глубокое внутреннее родство” и равноправие “веронаправлений” христиан и иудеев, например, Иосиф Ратцингер в своей книге “Соль земли”⁵. К сожалению, подобные личные открытия подчас довольно далеки от общего направления взглядов, проповедуемых христианской церковью. Это должно послужить руководством к действию участникам христианско-иудейского диалога, огромные достижения которого я ни в коей мере не подвергаю сомнению и которому желаю еще более сильного внешнего воздействия.

Посвященные уже давно отдают себе отчет в том, что с обеих сторон необходимо преодолеть определенные предрассудки и недоверие друг к другу. Важно, однако, чтобы осознание этого вышло далеко за рамки круга специалистов-теологов и уже убежденных. Среди христиан до сих пор распространены шаблонные представления о сути иудаизма — не в последнюю очередь из-за того, что пропаганда такого рода ведется с некоторых кафедр — как церковных, так и учебных.

Для многих иудаизм до сих пор представляет собой нечто мрачноватое, на фоне чего ярче сияет Благая Весть: там воинствующий племенной бог, здесь миролюбивый бог человечества; там — строгий “закон страха” с его 613 заповедями и запретами, здесь — любовь как к ближним, так и к врагам; там справедливость, здесь — милосердие; там возмездие, здесь — прощение; там жестокий и посему лишенный наследия народ Ветхого Завета, здесь — христианский мир как единственный законный наследник Блага, обещанного Аврааму и его потомкам. Слово “ветхозаветный” в нашем языке практически равнозначно слову “мстительный”, понятие “фарисей” до сих пор сродни понятию “льстец”.

Для многих христиан восприятие истории иудейской веры сводится ко времени до Иисуса или, по крайней мере, до разрушения римлянами храма в Иерусалиме. Однако в Талмуде и в истории Диаспоры находят свое дальнейшее отражение традиции, богословские размышления и опыт веры Израиля. Пинхас Лапиде защищал достоинство Торы от христианской недооценки и ратовал одновременно за то, чтобы церкви рас-

⁵ “Salz der Erde. Christentum und katholische Kirche an der Jahrtausendwende. Ein Gespräch mit Peter Seeland”. Stuttgart. 1996. S. 262–268.

смастривали историю Израиля после Христа и с телеологической точки зрения.

“Кто такой Иисус — распятый фарисей?” — так, в типичной для Лапиде манере, называется книга, написанная в 1990 году. Подобными вопросами Пинхас Лапиде избавлял многих христиан от их чрезмерной самоуверенности. Он неустанно демонстрировал своим слушателям и читателям, насколько устарели клише антииудаизма как таковые, но он никогда не делает это в полемичной форме, а всегда использует сердечный тон. Речь *ad absurdum* идет о “Законе страха”, и это помогает нам понять, почему евреи познали Тору как Закон радости, как Благую Весть:

“Закон и милость, Евангелие и Тора лишь два аспекта одной и той же любви Господа, которая для верного Торе еврея всегда была не чем иным, как неразрывным единством. Без Евангелия Исхода нет Синай заповедей Господа. Но без Синай с его Декалогом нет активной жизни в вере”.

Антииудаизм принимает сегодня, конечно, чаще всего более скромные формы — это уже не высокомерие ликующей христианской церкви по отношению к униженной синагоге. Часто он маскируется под совокупностью идей просвещенных, миролюбивых, антипатриархально настроенных современниц и современников. Иногда его учения становятся бестселлерами. Приведу лишь трактат Франца Альта “Иисус — первый новый человек”; как известно, в нем популяризуется тезис Ханны Вольф, что “дочь” — христианская вера — должна, наконец, избавиться от своей невротичной зафиксированности на “матери” — иудаизме.

Однако и в романе Йоштайна Гаардера “Мир Софи” мы находим много занятного в главе об Иисусе, которого мы, надо полагать, должны представлять себе как своего рода хиппи: “И вот приходит Иисус в длинной рубахе и сандалиях и провозглашает, что Царствие Божие, или Новый Завет означает: “Люби ближнего своего как самого себя”. Если бы Йоштайн Гаардер открыл произведения Пинхаса Лапиде, он бы в нескольких местах обнаружил, что Заповедь о любви к ближнему и Заповедь о мести содержатся уже в 3-й Книге Моисея. А также он узнал бы кое-что новое и о заведомо неверном толковании фразы: “Око за око, зуб за зуб”. То, что говорит и пишет по этому поводу Пинхас Лапиде, приобретает характер почти “*ceterum censeo*”, некоей навязчивой формулировки: смысл этой фразы относится отнюдь не к по-

страдавшему, как принято считать, и уже по одной этой причине было бы неправильным воспринимать ее как сигнал к кровавой мести. В большей степени она определяет размер возмещаемого ущерба, к которому приговаривается “навредивший”.

Данный принцип действует и в гражданском правопорядке всех стран как полная противоположность санкции на разнузданный самосуд.

Чтобы избежать недоразумений, нам необходимо, как рекомендует Лапиде, в будущем придерживаться перевода Мартина Бубера: “Если же случится зло, отплати за жизнь возмещением жизни, за око — возмещением ока, за зуб — возмещением зуба”.

Как ссадить человека с высокого скакуна? Существуют две возможности: на него можно обрушить упреки — или же помочь выбраться из седла, протянув руку помощи. Последнего варианта придерживался Пинхас Лапиде. Здесь он тоже проявил себя гуманистом и хорошим воспитателем: он не только говорит всем читателям и слушателям, что они делают неправильно, но и подводит их к познанию того, что правильно. Действовать надо не угрозами и ругательствами, а добрым советом и словом — таков был девиз педагога Лапиде.

Он указывал нам, христианам, то, что мы многое потеряем, если не признаем или, еще хуже, будем отрицать иудейские корни нашей веры, “Первый Завет”, если воспользоваться этим ярким выражением Эриха Ценгера. Антииудаизм искажает взгляд на Благую Весть Христа и мешает нам лучше понять его житие. Короче говоря, антииудаизм — это тяжкое, фундаментальное самоуничтожение христианства. Победить его по понятным причинам в собственных интересах христиан, а не только в интересах страдающих от него евреев.

Все это, возможно, не ново, но, очевидно, есть смысл в том, чтобы повториться. По сути, речь идет о том, чтобы вновь и вновь восстанавливать в памяти ключевые пассажи из Послания к римлянам, в которых язычники порицаются за их высокомерие: “Если начаток свят, — обращается Павел к римской общине, — то и целое; и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломались, а ты, дикая маслина, привилась на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносишься пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень — тебя”.

Не ты корень держишь, но корень — тебя: это квинтэссенция многих церковных документов, в которых содержится подтверждение учения о “непровозглашенном Завете”, то есть убежденность в том, что, согласно христианским представлениям, “Ветхий” Завет Господа, союз с Израилем, ни в коей мере не аннулируется Новым Заветом, а продолжает действовать.

Благодаря открытию общего между иудеями и христианами еще больше бросается в глаза то, что нас разделяет, прежде всего, — вопрос о мессианстве Иисуса. Христиане воспринимают параллелизм сохраняющейся за Израилем приоритетной роли в искупительном подвиге Христа и значение христианской церкви в евангелической истории как глубокое противоречие. Параллели, так нас учили на уроках по геометрии, сходятся в бесконечности, другими словами, никогда. Пинхас Лапиде предпринял смелую попытку построить мост над кажущейся непреодолимой пропастью, высказав парадоксальную мысль, что Мессия, чье *прибытие* Израиль еще ожидает, и Мессия, на чье *возвращение* надеется христианство, в конце концов, окажутся тождественными.

Я приведу цитату из его беседы с Карлом Ранером в 1983 году, которая для меня один из интереснейших документов в биографии Лапиде⁶: “Я не могу признать Христа ни Мессией Израиля, ни Спасителем еще не спасенного мира, — говорит Пинхас Лапиде, — однако то, что Бог использовал его, чтобы добиться толчка вперед, прогресса на пути к спасению, является фактом глубокого богословского значения”. И далее он высказывает следующую мысль: “Все мы живем *надеждой*, мы совершаем паломничество к тому же Мессии и рассчитываем на одну и ту же *милостивую любовь Господа*, без которой бессмысленным было бы житие на Земле. Это есть и остается тройственная библейская эйкумена, которая бесповоротно объединяет нас, иудеев и христиан, несмотря на все нескрываемые, признанные различия”⁸. На эти достойные внимания слова Карл Ранер отвечает следующим образом: “Я могу принять всё это при условии, что перспектива того, что тождественность наступит лишь в конце света... не избавит нас от ответственности, *уже сейчас* сделать все для того, чтобы сблизиться еще больше”.

⁶ Pinchas Lapide / Karl Rahner. “Heil von den Juden? Ein Gespräch”. Mainz, 1983.

⁷ Там же. С. 93.

⁸ Там же. С. 122.

III

На траурной церемонии во Франкфурте Соломон Корн высказал предположение, что странник Пинхас Лапиде нашел в страннике Генрихе Гейне частичное отражение самого себя. Он также совершенно справедливо заметил, что Пинхас Лапиде никогда не снимался с якоря, задержавшего его на еврейской стороне.

Диалог между христианами и иудеями требует не только откровенности с обеих сторон, но и, прежде всего, избавления от глубоко сидящего страха, что на карту может быть поставлена христианская или иудейская идентичность: христиане боятся, что обнажение иудейских корней их веры может подорвать роль их церкви в евангелической истории; иудеи же озабочены тем, что этот диалог обнаружит себя как продолжение старых миссионерских попыток христианства, только с использованием других средств.

Изображенный Пинхасом и Рут Лапиде идеал состоит в значительной степени в их непоколебимой готовности к примирению. Именно она в сочетании с бесстрашием и с претворенным в жизнь “отказом от образа врага” являлась плодом верности своим принципам.

Распространение примиряющих взглядов во времена политических контроверз, когда на политической арене велись особо ожесточенные дискуссии, принесло Пинхасу Лапиде не только друзей. Он предчувствовал это всякий раз, однако ничто не могло его напугать. Особая честь и хвала ему за это. Не раз защищал он, например, папу Пия XII от ничем не обоснованных нападок Рольфа Хоххута.

Пинхас Лапиде неустанно подчеркивал, что никакая из библейских заповедей не истолковывалась так неверно, как Заповедь о любви к ближнему. Речь в ней идет, как разъяснял он несчетное число раз своим слушателям и читателям, не просто о чувстве, некоем прекрасном порыве, а о добром деянии. Предложенный Бубером и Розенцвейгом перевод с древнееврейского отражает эту мысль: “Люби ближнего своего, он подобен тебе!”

Данное прочтение диаметрально противоположно определению, согласно которому любовь означает симбиоз “я” и “ты”. Любовь, о которой говорят Тора и Иисус, предполагает различия между “я” и “ты”. Она не просит ничего взамен, не навязывает себя. Она признает тот факт, что ваш ближний

имеет такое же право быть уважаемым, как и вы сами: человек, унизивший вашего ближнего, подвергает унижению и вас.

Это — исходная позиция для понимания любви к врагу, когда Пинхас Лапиде использовал, как уже говорилось, термин “отказ от образа врага”. Он доказывал, что Иисус Христос не требует испытывать к врагу симпатию; он не требует также “фанатичного самоотречения” или же самоунижения. Христос мыслит здраво, реалистично, практично — в самых лучших еврейских традициях. Он стремится к разрешению будничных конфликтов с помощью практических жестов примирения. Пинхас Лапиде разъясняет это на примере слов Иисуса “И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два!” (Мат. 5, 41). “Имеется в виду, конечно же, печально известная подневольная обязанность, распространенная у римлян, позволяющая каждому легионеру... нагрузить любого проходящего мимо еврея своим скарбом... и использовать его на расстоянии одной мили в качестве вьючного животного... Улицы были хорошо вымощены, придорожные столбы стояли на одинаковом расстоянии друг от друга, поэтому не могло быть споров, на протяжении какого отрезка пути или в течение какого времени евреи должны исполнять эту повинность. В конце пройденной мили еврей мог бросить груз под ноги эксплуатировавшему его римскому господину или же еще раньше бежать, что часто каралось драконовскими штрафами.

Иисус предлагает третий вариант возможного поведения: превратить подневольный труд в добровольное дело, чтобы своей услужливостью вызвать изумление и таким образом *обезоружить римлянина*”.

В начале 80-х годов, когда в ФРГ вызвал горячие споры вопрос о размещении американских ракет среднего радиуса действия на ее территории и представители движения за мир ратовали за то, чтобы использовать Нагорную проповедь исключительно в своих целях, Пинхас Лапиде счел нужным внести ясность по данному вопросу. Он указал на то, что “миролюбивый реалист” Христос ни в коей мере не пропагандировал безоговорочного пацифизма. Кто несправедлив по отношению к ближнему своему, кто бросает его в беде, тот несправедлив вдвойне, “так как он побуждает пострадавшего применить насилие”. Отказ от сопротивления укрепляет то-

⁹ “Wie liebt man seine Feinde?”, 5. Auflage Mainz, 1987. S. 25–26.

го, кто совершил зло, “в осознании своей враждебности и распускает ему руки для безнаказанного совершения других злодеяний. Пассивное восприятие неблагородных поступков только усилит несправедливость, подвергнет бедных и слабых произволу и применению силы и, соответственно, будет способствовать разжиганию ненависти по отношению к ближнему”¹⁰.

Подобные изречения — результат глубоких научных познаний и выводов, однако в большой степени, а может быть, и в первую очередь также своего рода резюме собственного жизненного опыта. Опыта человека, избежавшего смерти во времена массового истребления евреев и знавшего, какой смертельной опасности подвергается государство Израиль. Поэтому он не мог и не хотел ратовать за мнимый идеал полного несопротивления.

В духе миролюбивого реализма он вдохновил крупных политических деятелей нашей страны на решительную защиту свободной демократии против ее внутренних врагов. Свобода, равенство, братство были для него не только идеями нового времени — он понимал их как безвременные ценности, корни которых ведут к Синаю.

Часто он цитировал слова Давида Бена Гуриона, выражая тем самым полное с ним согласие: “Есть новая, иная Германия, которой мы можем доверять.” В своем эссе к пятидесятой годовщине Погромной ночи 9 ноября 1938 он пишет: “Вина никогда не бывает национальной, она всегда личная. Тем самым прощение является прежде всего свободным актом пострадавшего. Так, я простил нацистам учиненные ими злодеяния. Как раз горькие воспоминания подвигли меня на защиту конструктивного отказа от образа врага и на совместные воспитательные попытки во имя творческого объединения”. И далее: “Я всем сердцем надеюсь, что из тысяч единичных прощений со временем вырастет высокое древо примирения”¹¹.

Теперь дело за нами. Будем сообща бороться за то, чтобы эта надежда претворилась в жизнь и чтобы “высокое древо примирения” принесло богатые плоды.

¹⁰ Там же. С. 61–62.

¹¹ Wolfgang Bergsdorf. Dialog im Geiste der Humanitdt. Zum 70. Geburtstag von Pinchas Lapide. Речь, произнесенная в Кёльне 1 декабря 1992 года.

Часть IV
Европа

Бронированный сейф без задней стенки — такой была Германская Демократическая Республика осенью 1989 года. Берлинская стена, возведенная в 1961 году, самым грубым образом — на фоне всех существующих границ между Востоком и Западом — олицетворяла раздел Германии и Европы. Именно поэтому падение Стены в ночь с 9 на 10 ноября стало для всех символом европейских революционных преобразований 1989 года.

Стены нет — Европа объединяется?

Когда Венгрия в мае того же года убрала колючую проволоку с австрийской границы, она стала первой страной Восточной Европы, пробившей брешь в “железном занавесе”. В июне состоялись “полусвободные” выборы в Польше; несколько позже Тадеуш Мазовецкий становится первым некоммунистическим руководителем в стране — участнице Варшавского Договора.

Начиная с августа стремительно растет число граждан ГДР, отвернувшихся от своей родины, чтобы через Венгрию и Чехословакию перебраться в ФРГ. Венгрия без коммунизма по-прежнему оставалась Венгрией, Польша без коммунизма оставалась Польшей. А что стало с ГДР — западным редутом империи Сталина? Ее существование оправдывалось лишь тем, что она представляла собой “социалистическую альтернативу ФРГ” — как это настойчиво постулировал идеолог СЕПГ Отто Рейнхольд. В самом деле: крушение диктатуры СЕПГ стало началом конца государства, управляемого СЕПГ, и, следовательно, разделения Германии.

Почему эпохальные события 1989 — 1991 годов как будто бы застigli врасплох целые армии Think tanks, и среди них значительные части политической и интеллектуальной элиты Западной Европы и Северной Америки? Этому вопросу можно было бы посвятить отдельное исследование. Не менее любопытно было бы узнать причину морального поражения больших и маленьких Меттернихов: ведь для них было важнее сохранить химерическую “стабильность”, чем идти навстречу пожеланиям людей и народов Центральной и Восточной Европы, которые хотели жить в условиях взаимного уважения, свободы и самоопределения.

В любом случае, представители восточноевропейской интеллектуальной элиты раньше и четче осознали, что позиции коммунистической диктатуры рушатся. К ним в первую очередь относится Кароль Войтыла: с 1978 года папа римский Иоанн Павел II, пользуясь неоспоримым нравственным авторитетом, оказывал существенную поддержку оппозиции в Польше и других странах Восточной Европы и тем самым способствовал крушению “реального социализма”. Его предшественник, папа Павел VI, напротив, придерживался пессимистических взглядов: по его убеждению, социализм, по крайней мере, в Европе, с триумфом должен одержать победу над упадническим капитализмом. Отчасти по этой причине он однажды заявил, что границы немецких епископств подгонялись под внутригерманскую демаркационную линию — то есть германская двоегосударственность получала, таким образом, благословение Ватикана. Впрочем, его позиция соответствовала настроениям значительной части политических сил ФРГ, для которых тогда германский вопрос давно уже потерял актуальность.

Фрэнк Синатра против Леонида Брежнева

Еще в 1969 году диссидент Андрей Амальрик в своем эссе “Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?” предсказал европейские революционные события: “Поскольку современное положение в Европе поддерживается только благодаря постоянному давлению со стороны Советского Союза, можно предполагать, что как только это давление ослабнет или вовсе исчезнет, ситуация в Центральной и Восточной Европе коренным образом изменится”.

В дальнейшем так всё и произошло: в 1989 году окончательно выяснилось, что при Михаиле Горбачеве вместо доктрины Брежнева установилась, как сказал Геннадий Герасимов, “доктрина Синатры” (“*I did it my way*”^{*}). Этот исторический поворот нашел официальное подтверждение в Бухаресте на июльской встрече в верхах стран-участниц Варшавского Договора. Военное вмешательство во внутренние дела других стран, как это произошло в 1968 году в Чехословакии или могло произойти в Польше до введения там воен-

^{*} Я делал это по-своему (англ.).

ного положения, было теперь исключено — таким образом посткоммунистическая Европа получила зеленую улицу.

Но прогнозы, сделанные Амальриком, шли еще дальше: он также предсказывал скорый распад Советского Союза. У него не было сомнений в том, что эта гигантская империя “вступила в последнее десятилетие своего существования. Подобно тому, как принятие христианства только отсрочило, но не смогло предотвратить падения Римской империи, так и марксистская доктрина поддерживала Российскую империю — третий Рим — но полностью спасти ее от развала она была не в состоянии”.

Амальрика за его смелые выводы наказали ссылкой в Сибирь. Может быть, чиновники советского правительственного аппарата почуяли, что кто-то слишком близко подошел к истине? Советскому Союзу удалось преодолеть *annus horribilis* 1984 Оруэлла без каких-либо серьезных симптомов фундаментального кризиса, но *annus mirabilis* 1989 года он смог пережить только на два года.

После того как федеральный канцлер Гельмут Коль, невзирая на серьезные внутривнутриполитические протесты, разместил на территории ФРГ американские ракеты среднего радиуса действия, можно сказать, что Леонид Брежнев окончательно проиграл борьбу за душу Западной Европы: потерпела поражение последняя его серьезная попытка во имя “общеевропейского дома” отделить друг от друга системы западноевропейской и американской безопасности, то есть расколоть Северо-Атлантический альянс.

Эксперты по России, среди них и Джордж Ф. Кеннан, давно уже говорили, что начало необратимых процессов в СССР искусственно задерживалось политикой “холодной войны”. Они оказались правы: понимание того, что Советский Союз не то что не выиграл в “холодной войне”, но даже проиграл, способствовало формированию “нового мышления” при Михаиле Горбачеве. Народ слушал западные радиостанции. Люди знали, что советская армия в Афганистане не справилась со своей задачей. После чернобыльской аварии 1986 года со всей очевидностью обнаружилась огромная бездна некомпетентности и безответственности, которая, безусловно, была следствием этой системы.

Тем не менее многие на Западе воспринимали диссидентов и правозащитников, подобных Андрею Амальрику, Леху Валенсе или Вацлаву Гавелу, в лучшем случае как симпатичных

упрямцев, пусть даже они и заслуживали уважения за свое мужество. И в худшем случае их считали опасными безумцами, которые ставили под угрозу существующий миропорядок. Еще в конце 80-х годов западногерманский министр по политике разрядки, социал-демократ Эгон Бар заявлял, что “он полон поистине глубокого уважения и огромной симпатии к интересам отдельных народов и государств. Но приоритетом всегда будет оставаться стабильность”.

Безусловно, для Запада проводить политику активной дестабилизации советской системы было бы равносильно безответственной игре с огнем. Но разве у такого рода опасной стратегии не было другой, более приемлемой альтернативы, кроме как бесконечно терпеть существующий порядок? Безоговорочное примирение с реальностью в такой же степени таило в себе опасность. Коммунистическая диктатура сама себя дестабилизировала: ее собственные внутренние противоречия — выражаясь по-марксистски — всё сильнее загоняли ее в кризис. Новые Меттернихи причину принимали за следствие: угроза исходила не от тех, кто требовал свободы и демократии. За рост нестабильности в гораздо большей степени ответственны те, кто пытался лишить население Центральной и Восточной Европы свободы и демократии.

При всей неопределенности позиции относительно европейского status quo Западу всегда надо было правильно рассчитывать соотношение идеалистических и реалистических элементов. Реалисты подчеркивали необходимость и ценность решений, направленных на “облегчение человеческих отношений”, которые можно было выторговать у восточных предводителей только посредством осторожной поступательной политики. Идеалисты шли дальше: они требовали, чтобы в странах, подчиненных советской системе, более активно защищались права человека и чтобы этот вопрос занимал центральное место в переговорах между Востоком и Западом.

Но радикальные реалисты приводили свои контраргументы: от “Востока” (впрочем, от кого: поработителей? поработанных?) нельзя ни в коей мере ожидать, что он добровольно поставит под сомнение основы своей политической, общественной и экономической системы. “Ни одна сторона не должна оспаривать у другой право на существование”, — так звучит ставшая классической формулировка документа, сов-

местно составленного западногерманскими социал-демократами и восточногерманскими коммунистами в августе 1987 года. (Это предложение стало лейтмотивом политики эквидистанции, которая в то время считалась на Западе прогрессивной.)

В 1989 году у приверженцев такой политики разрядки иссякли все аргументы. Но разве кровавая бойня на площади Тянь-ань-мынь, учиненная китайской армией против представителей студенческого демократического движения, не такое же знаковое событие эпохального 1989 года? И разве не в конце июня того же года — что для международной общественности осталось практически незамеченным — на окраинах юго-востока Европы во время празднования 600-летия битвы на Косовом поле небезызвестный Слободан Милошевич провозгласил ультранационалистические лозунги?

Действительно, кровавые расправы в Пекине на какое-то время стали для защитников *status quo* на Западе дополнительным аргументом в пользу “стабильности”; а самые недалекие представители *Ancien régime* (старого порядка) на Востоке отблагодарили своих китайских товарищей за их четкую позицию: “что даже в конце XX столетия социализм, если в этом есть необходимость, надо отстаивать всеми средствами, в том числе и силой”, как это сформулировал Герхард Мюллер (“Sensenmüller”), в свое время первый секретарь областного комитета СЕПГ в Эрфурте.

Но когда в октябре в Лейпциге и других городах прошли массовые демонстрации, когда в ноябре разрушили Стену и в Болгарии свергли руководителя компартии Тодора Живкова, когда в декабре был казнен румынский диктатор Николае Чаушеску, а в Чехословакии правозащитник Вацлав Гавел вступил в должность президента — можно утверждать, что “доктрина Синатры” один за другим выдержала все тесты. Танки остались в казармах. Советские, во всяком случае. Но также и те, которые были в национальных войсках, так как их главнокомандующие уже не могли при проведении насильственных актов заручиться поддержкой Кремля.

Что же касается Югославии, то практически все были уверены в вечном существовании этого неприсоединившегося государства; его “социализм самоуправления” в 70-е годы рассматривался левыми теоретиками Запада как вариант “третьего пути”. Роковое заблуждение.

Бархатная революция

Революция — то есть смена системы — при особо благоприятных обстоятельствах может обойтись без насилия. Но революция невозможна без движущей идеи. Эпохальные изменения, произошедшие в 1989 году в Восточной и некоторых областях Южной Европы, показали нам, что эта идея обязательно должна быть *новой*. Революции в такой же степени могут быть направлены на восстановление “естественного”, с общей точки зрения, состояния.

“Народ, твое правительство вернулось к тебе!” — так Вацлав Гавел в своем новогоднем обращении 1990 года перефразировал знаменитое высказывание моравского мыслителя Яна Амоса Коменского. Равно как и Томаш Масарик, первый президент Чехословакии, воспользовался им в своей речи во время инаугурации. А Лех Валенса посчитал нужным в 1990 году принять бразды правления из рук президента польского эмиграционного правительства, заседавшего в течение 50 лет в Лондоне, но не от своего непосредственного предшественника Ярузельского.

Тимоти Гартон Аш, выдающийся исследователь восточно-европейской истории с 1980 по 1990 год, весьма точно заметил, что “европейцы оттуда” ясно и четко — как бывает только после горького опыта — продемонстрировали западным европейцам значение старых истин. Они, по его словам, отстаивали те ценности, “которые мы уже имели”. Также он сказал: “Интеллектуально, если не сказать духовно, восточноевропейский 1989 год был жизненно необходимым дополнением к западноевропейскому 1992 году”, — то есть тогда еще предстоявшему завершению формирования внутриевропейского рынка.

Два лейтмотива: “Хлеб и свобода!”

Что же было лейтмотивом 1989 года? Польский историк Бронислав Геремек, в 80-е годы один из видных советников независимого профессионального союза “Солидарность”, говорит о побудительных силах социально-психологического характера, которые наиболее точно характеризуются лозунгом XIX века: “Хлеб и свобода!” Для революции 1989 года идеологическое поражение коммунизма действительно было

“более решающим”, чем экономический развал. Но с самого начала “протест против низкого уровня жизни населения”, считает он, был неотделим от “стремлений к демократизации и либерализации коммунистического режима”.

Лейтмотив “хлеб” стал провокационным для многих западноевропейских — прежде всего западногерманских — интеллектуалов: он пошатнул основы их “постматериальной” картины мира. Их банковские счета регулярно пополнялись, и это вытеснило у них мысль о том, что безоблачное существование по ту сторону от несчастий урбанистической цивилизации способствует накоплению материальных запасов. Некоторые представители так называемой тосканской фракции отреагировали на требования улучшить благосостояние со смесью презрения и уверенности в собственной правоте.

Символом этого патрицианского величия до сих пор остается банан. Популярность этого фрукта, по мнению Отто Шилли — депутата Бундестага от фракции “зеленых” в 1989 году, — объясняет причину впечатляющего успеха “Союза за объединенную Германию” во время выборов в Народную палату ГДР, проходивших в марте 1990 года¹. В 1994 году роль защитника простых людей взял на себя немецко-румынский писатель Рихард Вагнер: о масштабе проведения демократических реформ в Центральной и Восточной Европе нужно судить, сказал он, по степени расширения ресторанной сети Макдональдс; тот факт, что в Румынии нет ни одного такого ресторана, говорит о состоянии этой страны всё.

Предположение, что Рональд Рейган своей Стратегической оборонной инициативой (СОИ) якобы “разбил насмерть” Советский Союз, до сих пор считается главной причиной развала коммунистической плановой экономики (а также достигнутого в 1989 году критической отметки недовольства населения по восточную сторону “железного занавеса”). Это неверно хотя бы потому, что процесс экономического разложения начался намного раньше. Но определенная доля истины в этом все-таки была. Программа СОИ оказала как минимум деморализиру-

¹ Банан, любимый экзотической фрукт западных немцев, с 50-х годов считается символом материального превосходства ФРГ над ГДР. Но здесь допустима и противоположная ассоциация — с понятием “банановая республика”: то есть ФРГ как колония американского империализма. Впрочем, Отто Шилли вряд ли имел в виду второй аспект. Скорее всего он хотел сказать, что большинство избирателей ГДР “предали” суверенитет своего государства ради жалкого банана.

ющее воздействие на коммунистических лидеров стран-участниц Варшавского Договора: она четко дала им понять, что они уже не в состоянии догнать Запад, опередивший их в области микроэлектроники, ключевой технологии будущего.

В 1989 году уже шел полным ходом процесс, получивший повсеместно название глобализации. С 70-х годов во всем мире начинает доминировать новая тенденция: предприятия со своим производством выходят на рынок труда вместо того, чтобы дома производить товары для экспорта; расширение Интернета наращивало темпы.

В глобальной экономике главным источником благосостояния становятся теперь знания, а не природные ресурсы и промышленное производство. Для того чтобы найти этот источник, нужно участвовать во всемирном процессе обмена информацией и ноу-хау. Это возможно только при открытых границах, что в свою очередь порождает опасность проникновения в страну крайне заразной бактерии свободной демократии.

Ни один режим не в состоянии долго продержаться, если он будет обращаться со своей научно-технической и экономической элитой в профессиональной сфере как со взрослыми, а в политической — как с младенцами. Ни один орган госбезопасности не в состоянии достаточно долго контролировать своими стареющими средствами технологии постоянно прибывающий поток информации. Необходимые для этого затраты персонала и финансов достигли бы гигантских размеров — чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на устрашающие горы документов министерства госбезопасности ГДР.

Коротко говоря, для коммунистических диктатур проведение экономических реформ, необходимых для конкурентоспособности в условиях глобальной экономики, возможно было только ценой политических преобразований. Поэтому вскоре встал вопрос об изменении власти и системы.

Многих на западе Германии привел в замешательство и лейтмотив “свобода” — поскольку он подвергал сомнению еще одну истину: их “постнациональную” картину мира. Им трудно было осознать, насколько далеки друг от друга понятия нации и свободы в Центральной и Восточной Европе. В их представлении существовал только один выбор: или национализм с его агрессивной ксенофобией и, при известных обстоятельствах, идеями ирредентизма, или стерильно-антиисторический конституционный патриотизм, приверженцами кото-

рого они себя объявляли. Так, страх перед темными сторонами своего национального прошлого выгнал их на новый “особый путь Германии”.

Новые границы 1990 года означали, что границы немецкого государства соответствуют границам немецкой нации. Таким образом, отпадает существенная часть *Incertitudes allemandes* (немецкой ненадежности и неуверенности), одно время приносившая столько головной боли как самим немцам, так и их соседям. Внутри Германии утверждается теперь новое национальное самовосприятие, которое, с одной стороны, свободно от “этнических” признаков, с другой же — подразумевает наличие собственных истоков.

Начало европейского процесса слияния универсальных республиканско-демократических ценностей с культурно-историческими особенностями было одним из следствий революционных преобразований 1989 года. Но вместе с тем выяснилось, что “бархатная революция” одновременно дала выход националистическим тенденциям, включая ксенофобию и ирредентизм. Эти силы, как показывает прежде всего пример Югославии, оказались более жизнеспособными, чем это можно было себе представить, сидя у постнационального камина во времена “холодной войны”.

Третий лейтмотив: “Возвращение в Европу”

Третий лейтмотив 1989 года нашел самое подходящее обозначение в лозунге “Возвращение в Европу”. На Востоке “Европа” олицетворяла собой внутреннее единство, которое не в состоянии были разрушить десятилетия коммунистической диктатуры. Однако только вместе с Европой можно было добиться “хлеба и свободы”.

“Возвращение в Европу”, таким образом, то есть претензии Европейского Сообщества на монопольное право именовать себя сокращением “Европа” стали семантическим абсурдом и ложью. Неожиданно и сразу статья 27 Договора ЕЭС приобрела драматически новое значение — обещание, которое, наконец, пора выполнять: “Каждое европейское государство может стать членом Европейского Сообщества”.

Это предложение, в основном, касалось таких государств, как Австрия, Финляндия и Швеция. По завершении “холодной войны” их нейтралитет по большей части потерял

смысл. Он не мог препятствовать их вступлению в Европейское Сообщество (или Союз — с ноября 1993 года) и созданию общей внешней политики, общей политики безопасности и позже, может быть, общей оборонительной политики. Поскольку все три государства выполнили и другие политические и экономические требования, их присоединение к ЕС прошло 1 января 1995 года без проблем.

А молодым демократиям Центральной и Восточной Европы пришлось разместиться в зале ожидания. Пока им позволили войти только в Совет Европы. Впрочем, этот шаг не стоит расценивать как всего лишь жалкую компенсацию того, что двери ЕС в Брюсселе для них пока закрыты: все-таки у новых членов Совета Европы в руках были сертификаты, удостоверяющие, что их государственное устройство соответствует стандарту прав человека, установленных старейшим институтом послевоенной Европы. Так что минимальное требование для вступления в ЕС было уже выполнено.

Очень скоро, однако, выяснилось, что только Польша, Венгрия и Чехословакия (ставшая Чешской Республикой после добровольного разделения со Словакией в январе 1993 года) имеют серьезные шансы для вступления в ЕС. Плюс недавно примкнувшие Эстония и Словения. Также стало очевидным, что для них дорога в ЕС окажется длиннее, чем на это надеялись в эйфории революционного 1989 года, что некоторые старые члены ЕС втайне этого опасаются. Но зато произошло нечто такое, что в начале 90-х посчитали бы полным абсурдом: вступление Польши, Венгрии и Чехии в НАТО, через десять лет после падения Стены.

Сложные переговоры об условиях принятия трех восточно-европейских “отличников” в ЕС показали, что на западе Европы стали побаиваться польского текстиля, венгерских пищевых продуктов и чешской стали. Качество этих товаров заметно улучшилось, а их цены вследствие относительно небольших производственных затрат остались гораздо ниже уровня ЕС. Старые протекционистские рефлексы пришли в столкновение с новым пониманием — необходимостью проводить реформы для повышения своей конкурентоспособности. Отчасти по этой причине западные европейцы предпочли уделить больше внимания второму большому проекту, возникшему в ходе революции 1989 года: “Углубление европейской интеграции”.

Договор, заключенный в Маастрихте в декабре 1991 года, стал свидетельством рождения Европейского Союза. Он должен был дать ответ на два вопроса.

— Каким образом, во-первых, необходимо проводить процесс интеграции объединенной Германии, так чтобы она своим чрезмерным экономическим и демографическим весом не нарушала европейского баланса?

— Каким образом, во-вторых, следует проводить институциональные реформы, так чтобы ЕС не был парализован расширением на 15, 20 и более членов?

Маастрихтский проект стоил большей энергии, чем предполагало большинство руководителей и государств ЕС. Проблемы начались уже в ходе тяжелейшего процесса ратификации и тянулись вплоть до введения единой европейской валюты в январе 1999 года. Колю опять пришлось, как и в 1983 году во время размещения ракет “Першинг”, выдержать массовое внутривнутриполитическое противостояние. С большой долей вероятности можно сказать: без него Германия не могла бы сегодня участвовать в Европейском экономическом и валютном союзе — и не было бы евро.

Конец истории?

Эпохальные преобразования 1989—1991 годов определили политическую повестку европейцев на многие годы вперед, включая XXI век; чтобы это предсказать, особой проницательности не требуется. Крушение “реального социализма” и конец существования биполярного мира размыли до неузнаваемости идеологическую карту недавнего военного фронта. Дебаты о новых моделях модернизации, уводящих европейских социал-демократов от коллективистских лозунгов прошлых лет, могут послужить только подтверждением этому.

Летом 1989 года большое внимание привлекло одно маленькое событие на периферии международной жизни — появление статьи под заголовком “*The End Of History?*”. Ее автор — небезызвестный Фрэнсис Фукуяма, заместитель директора штаба по планированию в министерстве иностранных дел США. Среди образованных европейцев немедленно посыпались язвительные насмешки в адрес этого наивного американца, голова которого, видимо, затуманилась от чтения Гегеля. Между тем Фукуяма совсем не настаивал на том, что после “холодной войны” не будет больше конфликтов, исторических событий и эволюции. Главным в его размышлениях было то, что свободная демократия утвердилась в каче-

стве “конечного пункта идеологической эволюции человечества”, “окончательной формы человеческого правления”; ее победное шествие по миру уже невозможно сдержать.

Но существует и противоположный тезис, утверждающий, что Европа сейчас снова возвращается в состояние “вполне нормальной анархии” периода до первой мировой войны. Заманчивая формула “короткого XX века”, начинающегося в 1914 году и завершающегося уже в 1989-м, только подтверждает эту точку зрения. Как и выражение “возвращение” в Европу.

Но что же в действительности означает это возвращение? Возврат? Нет, молодые демократии Центральной и Восточной Европы ищут возможности присоединиться к продолжающемуся уже десятки лет процессу, в чем им было насильственно отказано до 1989 года. Они не хотят испытывать старое, но желают приобщиться.

До эпохи “постнациональной демократии” нам еще, пожалуй, далеко. Но, между тем, большинство европейских национальных государств имеет, без всякого сомнения, “постклассовое” содержание (Генрих Аугуст Винклер): в области внешней политики они хотят перенести значительные части своего суверенитета на наднациональные институты; в области внутренней политики — добиться и обеспечить максимальную культурную гомогенность. На пороге XXI века английский язык бесспорно стал *Lingua franca* глобальной экономики. Французский язык постепенно вытесняется со своих позиций; немецкий язык уже давно отслужил свое в качестве ведущего языка образованной элиты в скандинавских странах и странах Центральной и Восточной Европы.

По крайней мере, относительно Европы Фукуяма был прав, когда он говорил, что свободная демократия стала конечным пунктом идеологической эволюции. Если брать в качестве критерия членство в Совете Европы, то в 1999 году лишь Белоруссия и Югославия остались за пределами этой организации.

Пути назад нет. “Короткий XX век” со всеми своими ужасами оставил неизгладимые следы в сознании европейцев. Но это не только шрамы. События 1989 года тоже неотделимая часть нашей общей исторической памяти. Падение Стены открыло для всего континента перспективу лучшего будущего.

Следующий текст был написан в соавторстве с моим другом и коллегой Норбертом Приллем в конце июня 1989 года. К тому моменту уже обозначились эпохальные преобразования в Центральной и Восточной Европе. Незадолго до этого в ФРГ побывал с официальным визитом Генеральный секретарь Михаил Сергеевич Горбачев. В совместной “Боннской декларации” от 13 июня Горбачев и федеральный канцлер Гельмут Коль подчеркнули право народов на самоопределение и право каждого государства “выбирать собственную политическую и социальную систему”.

Можно ли было все эти многочисленные тенденции на нашем континенте представить в виде последовательной схемы? Прилле и я предложили вариант, который впоследствии стал известен под названием “модель концентрических кругов”, и его идеи постоянно подхватывались¹.

- *Самый внутренний круг образует европейская федерация (“Объединенные Штаты Европы”), куда по желанию могли бы войти государства Европейского Сообщества.*

- *Второй круг образует Европейское Сообщество в качестве конфедерации.*

- *Третий — “Ассоциация европейских государств” (состоящая главным образом из тех стран, которые планируют вступить в Европейское Сообщество).*

- *Четвертый, внешний круг — это “Европа пространства СБСЕ”, представляющая собой кольцо в северном полушарии от Берингова пролива до Берингова пролива.*

Эта модель одновременно была попыткой решить две проблемы, которые, начиная с 50-х годов, постоянно вызывали интенсивные споры.

¹ Здесь в первую очередь следует назвать две концепции: во-первых, так называемый “Документ Шойбле/Ламерса”, изданный летом 1994 года (депутат Бундестага от фракции ХДС Карл Ламерс и бывший руководитель фракции ХДС/ХСС Вольфганг Шойбле), в котором развивается идея “ядра Европы”, куда должны войти прежде всего Франция, Германия и страны Бенилюкс, а потом и все остальные. Во-вторых, программное выступление германского министра иностранных дел Йоски Фишера 12 мая 2000 года в Берлине; он представил идею “Европейской Федерации”, которая должна играть роль “гравитационного центра” внутри Европейского Союза. (В 1989 году Прилле и я предложили идею “внутренней федерации как точки кристаллизации, как гравитационного центра постоянно растущего сообщества”).)

Во-первых: как согласовать принятие новых членов, то есть “расширение” Европейского Сообщества (которое стало основой Европейского Союза, образованного в ноябре 1993 года) с “углублением” внутреннего сотрудничества? Ведь в этом видится некоторое противоречие: если Европейское Сообщество все свои силы сосредоточит на том, чтобы преобразоваться в Европейский Союз, то тогда останутся без внимания (вскоре возможные) намерения присоединиться со стороны восточных соседей. Если, наоборот, всю энергию подчинить расширению на Восток, то тогда понесет ущерб проект усиления интеграции в собственных стенах.

Во-вторых: как применительно к ФРГ связать между собой идею преобразования Европейского Сообщества в Европейский Союз и цель германского единства? Не будет ли каждый шаг по направлению к усилению интеграции способствовать отдалению и отчуждению немцев в ФРГ от немцев в ГДР? Нет ли опасности, что это затруднит или даже остановит (впоследствии, видимо, тоже предполагаемый) процесс воссоединения Германии? В 50-х годах такая критика исходила от левых в адрес Конрада Аденауэра; теперь она идет от правых в сторону Гельмута Коля — “внука Аденауэра”, как он сам себя однажды назвал.

Этот текст мы с Приллем опубликовали в газете “Frankfurter Allgemeine Zeitung”² не в ранге советников канцлера Коля, а как частные лица. Мы открыто высказывали мысли, которым бы не было места в ходе правительственных заседаний. Потом нам пришлось столкнуться с вопросом, насколько “модель концентрических кругов” соответствует представлениям нашего шефа.

Что касается идеи “ядра”, “гравитационного центра”, то мы могли сослаться на выступление Коля в январе 1989 года по случаю 25-летия германо-французского Договора о дружбе. Тогда канцлер открыто объявил себя сторонником формирования экономического и валютного союза, и высказался за создание политического союза. Потом

² “Роковая ошибка позиции “или — или”. Видение Европы”. — FAZ от 19 июля 1989 года. С. 8. Мы дважды редактировали этот вариант: “Объединяется то, что друг другу принадлежит. Маастрихт-2 делает Европейский Союз более гибким”. — FAZ от 9 декабря 1994 года. С. 11, и “Попурри с крепким орешком. Организация большого Европейского Союза в следующем столетии”. — FAZ от 8 декабря 1999 года. С. 11–12.

он сделал следующее заявление: “Немцы и французы должны вместе создавать ядро Европейского Союза. Мы от всего сердца приглашаем наших европейских партнеров к сотрудничеству, но мы никогда не позволим себе отказаться от идеи развивать этот союз и завершим его создание со всеми, кто желает к нам присоединиться”.

Коль также затрагивал вопрос о степени открытости Европейского Сообщества для стран Центральной и Восточной Европы и официально высказывал свою позицию. Так, в ноябре 1988 года, когда Колю вместе с президентом Франции Франсуа Миттераном присудили международную премию (Karlspreis) города Аахен, он во время церемонии вручения произнес: “Работая сегодня с новой энергией над созданием Европейского Союза, мы, по моему глубокому убеждению, делаем это в интересах людей той, другой части нашего континента — и в надежде, что они в будущем смогут в свободном волеизъявлении приобщиться к строительству этого мирного проекта”.

Наши прогнозы, сделанные в начале лета 1989 года, как показало время, в чем-то оказались слишком осторожными, в чем-то слишком смелыми.

- Слишком осторожными: мы могли себе представить, что демократическая Польша десятью годами позже окажется на пути к вступлению в ЕС, но то, что она уже станет членом НАТО, в голову нам не приходило.

- Слишком смелые: хотя уже существует Европейский экономический и валютный союз, но политический союз, который бы соответствовал Европейской федерации (“Объединенным Штатам Европы”), к сожалению, находится еще в далекой перспективе.

Видение Европы

Что нас ждет после 31 декабря 1992 года — после того, как завершится процесс создания Европейского внутреннего рынка? Если отвлечься от высказываний правых и левых радикалов, то в этом вопросе мы, кажется, пришли к всеобщему консенсусу: почти все говорят о Европейском Союзе как о конечной цели — согласно статье 1 Совместных Европейских дел — существования Европейских сообществ и Евро-

пейского политического сотрудничества. Разногласия касаются лишь сроков выполнения этой задачи.

Тем не менее: представления о способах достижения этой цели до сих пор остаются до странности расплывчатыми. Более того, создается впечатление, что поддержание идеи Европейского Союза многими воспринимается как обязательная программа, которую во что бы то ни стало нужно выполнить. Всё это расходится с надеждами и пожеланиями по поводу тех перемен, которые происходят сейчас в странах Варшавского Договора — в самом Советском Союзе, а также в Польше и Венгрии. Если раньше, в 50-е годы, людей воодушевляло видение “Объединенных Штатов Европы”, то сегодня это мечта об “общеевропейском доме”.

В какой степени дух преобразований, захвативший значительную часть восточной половины нашего континента, может пойти на пользу процессу европейской интеграции? Можно ли подвести под общий знаменатель модель “Объединенных Штатов Европы” и мечту об “общеевропейском доме”? Как соотносятся друг с другом эти две концепции? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно попытаться мысленно довести до логического завершения все многообразные направления развития.

Но проблемы возникают с самого начала — например, при определении восточной границы пространства, о котором идет речь: “общеевропейский дом”, безусловно, охватывает территорию от Атлантического океана до Урала, и даже Соединенным Штатам и Канаде отводится там “свое место”, как было сказано в “Боннской декларации”, подписанной 13 июня Колем и Горбачевым. Но может ли эта демаркационная линия соответствовать и границам Европейского Сообщества? Ведь скоро, наверное, наступит день, когда придется решать вопрос, как же связать между собой расширение на Восток и создание единой внешней и оборонительной политики. Современное советское руководство, бесспорно, отчетливо понимает, что Советский Союз по эту сторону Урала относится к Европе. И это является основным пунктом того же самого вопроса: может ли евразийская сверхдержава интегрироваться в сообщество европейских средних держав так, чтобы это рано или поздно не вызвало нестабильности всей системы? На это есть два ответа.

- Первый ответ гласит: любое усиление интеграционного процесса в “Европе 12-ти” будет препятствовать вступлению новых членов. Об этом можно сожалеть (или радоваться), но:

процесс интеграции непременно должен продолжаться. Только для таких “западных” государств, как Австрия, Норвегия, Швеция или Финляндия, которые в качестве новичков вряд ли будут испытывать трудности, мы некоторое время поддержим дверь открытой — а потом ее опечатают. Также можно сделать и противоположное заключение: “После 1992 года нам нужно установить “интеграционный мораторий”, для того чтобы потенциальные сторонники присоединения не упустили своего шанса войти в союз. Сначала нужно построить “общеевропейский дом”, а там посмотрим”. Такую точку зрения у нас в основном представляют те, кто считает, что развитие (западно)европейской интеграции противоречит цели восстановления (национально)государственного единства Германии. И соответствующий вывод: “общеевропейский дом” и “Объединенные Штаты Европы” — вещи несовместимые, по крайней мере в данный момент.

Европейское сообщество как гравитационный центр

Помимо этого существует другой и, пожалуй, правильный ответ. Он не отрицает сосуществования обеих концепций, так как речь идет пока о разных вещах: “общеевропейский дом” есть метафора общеевропейского миропорядка, при котором, как говорится в “Боннской декларации”, осуществляется право всех народов и государств свободно определять свою судьбу и независимо строить взаимные отношения на основе международных прав. А что касается Европейского Союза, “Объединенных Штатов Европы”, то здесь речь идет о гораздо большем: о федеративном государстве с собственной внешней и оборонительной политикой, а также с собственным правительством, получившим легитимность парламентско-демократическим путем.

В пользу сосуществования обеих концепций говорит, в частности, и тот факт, что динамика западноевропейского интеграционного процесса производит огромное впечатление на страны Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европы: в Венгрии, и скоро, наверное, в Польше, уже всерьез думают о том, чтобы “вскочить на общеевропейский поезд”. Возрождение политических фантазий касательно культурного пространства “Центральной Европы” подтверждает ту же

самую мысль: “Пока восточноевропейские народы будут иметь все основания полагать, что их насильно вытолкнули из исторической континуальности, вся Европа будет оставаться больной” (Лешек Колаковский).

Всего несколько лет назад никто не мог себе представить подобного развития. И что особенно примечательно и оптимистично, реформаторы в Будапеште и Варшаве, по всей видимости, вполне могут рассчитывать на невмешательство реформаторов из Москвы, в то время как — хотя бы по сравнению с ними — постсталинистское руководство в Восточном Берлине всё заметнее оказывается в изоляции. То, что там сейчас происходит, можно охарактеризовать как медленное расставание с доктриной Брежнева, о чем свидетельствуют и официальные высказывания Генерального секретаря Михаила Горбачева. Это не сознательный отказ от предшествующей линии, а в большей степени примирение с неизбежным, которое незаметно вырисовывается в новую дефиницию советских интересов относительно созданного Сталиным “*cordon sanitaire*”. Это означает, что “дорога к посткоммунистической Европе” (Ханс-Петер Шварц) уже свободна.

Европейское сообщество стало тем гравитационным центром, притягательность которого с наибольшей очевидностью проявляется в восточной части нашего континента. В самом деле: этот союз стал убедительным примером такого миропорядка, когда государства, которые в течение столетий постоянно воевали друг с другом, теперь все свои духовные и материальные ресурсы направляют на поддержание благосостояния своих народов. Беспрецедентный экономический успех Европейского Сообщества говорит сам за себя, и в культурном отношении для мультинациональной системы Европы открываются новые горизонты.

Дом свободы для всех европейцев

Идея западноевропейской интеграции никогда не была связана с задачей сохранить и тем более увековечить деление континента: “Наша цель состоит в том, чтобы Европа стала большим общим домом для всех европейцев, домом свободы”. Конрад Аденауэр, произнесший эти слова 11 июня 1961 года в Силезии, мог бы по праву заявить, что первым использовал метафору “общеевропейского дома” для обозначения спра-

ведливого и прочного европейского порядка. В таком же значении надо понимать и понятие “Объединенная Европа”, которое упоминается в преамбуле Основного закона (“в качестве равноправного члена служить делу мира в объединенной Европе...”): оно не относится только к Западной Европе или Европейскому Сообществу, а распространяется на всю разделенную Европу.

Позднее, с завершением процесса создания общеевропейского рынка в конце 1992 года, интеграционный процесс в “Европе 12-ти” достигнет “point of no return”. Одновременно усилится динамика процессов вокруг Европейского Союза — то есть “Объединенных Штатов Европы”. В первую очередь для будущей единой политики в области внешней торговли потребуется дополнение в виде внешней политики, которая также заслуживает определения “единая”. Наряду с этим можно предвидеть, что Соединенные Штаты Америки в интересах более справедливого распределения бремени будут настойчиво требовать от своих европейских партнеров наконец-то задуматься: не пора ли дать западному альянсу две надежные опоры, чтобы мост через Атлантику стал более устойчивым, не держать его на одном большом и множестве мелких столбов. Говоря о “распределении бремени”, нужно, разумеется, понимать, что речь идет не о бреющих полетах здесь и разбухшем бюджете обороны там. Нет, в Америке с растущим нетерпением спрашивают, до каких пор ЕЭС намерено получать прибыль, ничего при этом не делая? То, что Европа со своим экономически насыщенным внутренним рынком решила устроиться поудобнее и предоставить другим защиту собственных “out of area”-интересов — это для Америки не греющая сердце перспектива.

Внутренний рынок требует координированных действий в области внешних отношений; этого от такого большого рынка ждут прежде всего страны третьего мира. “Внутренний потенциал давления” и “внешний потенциал давления” (Вернер Вайденфельд) должны здесь объединиться. Подобные ожидания постепенно начинают разделять и такие государства, как Польша и Венгрия. Как Европейскому Сообществу следует относиться к их обоснованному желанию на фоне демократизации в собственной стране приобщиться к достижениям “Европы 12-ти”?

На первый взгляд кажется, что пока нужно притормозить интеграционный процесс — до той поры, пока не будет ис-

пользован этот исторический шанс. Поскольку сейчас, видимо, нельзя ожидать, чтобы такие страны, как Венгрия, Польша и даже нейтральная Австрия могли бы приобщиться к развитию, которое помимо прочего предполагает и общую оборонительную политику, несмотря на то что пока эту оборонительно-политическую функцию берет на себя Западноевропейский Союз (ЗЕС).

Выход из этой дилеммы предлагает концепт “Европа различных скоростей”. Так как модель “Объединенных Штатов Европы”, безусловно, не всеми членами “Европы 12-ти” воспринимается всерьез — по большей части из-за боязни потерять последние резервации национального суверенитета. Следовательно, рано или поздно придется решать: может быть, в интересах европейского развития будет лучше, если в создании европейского федеративного государства примут участие действительно убежденные сторонники из состава “Европы 12-ти” — при том условии, что остальные государства — члены Европейского Сообщества в любой момент смогут присоединиться.

Для вступления в Европейское Сообщество такой страны, как Австрия, это бы значило, что вопрос о соответствии условиям нейтралитета будет снят или обсуждаться с меньшей интенсивностью. Независимо от этого можно вообще поставить вопрос, имеет ли смысл понятие “нейтралитет”, после того как Европа вышла из тени конфликта между Востоком и Западом. Может быть, поэтому в скором времени стоит ожидать даже из Швейцарии концептуальных докладов на тему “Видение Европы”.

А почему, собственно, за пределами европейского федеративного государства и дальше нельзя будет придерживаться традиционных форм западноевропейского сосуществования — от полного членства в Европейском Сообществе до свободного содружества? Соединенные Штаты Америки потратили без малого двести лет на то, чтобы стать союзом из пятидесяти штатов, который мы сегодня наблюдаем. Из этой — впрочем, в остальном не имеющей аналогов — истории мы, европейцы, могли бы заключить, что федеративное ядро может стать точкой кристаллизации и гравитационным центром постоянно растущего сообщества.

Модель Европы должна включать в себя как “Объединенные Штаты Европы”, так и “общеевропейский дом”. Они определяют спектр самых разных форм и степеней интеграции.

Динамический характер такого рода системы подтверждается принципом, согласно которому каждое европейское государство — при определенных предпосылках — может добиться более “высокой” степени интеграции. Это находит выражение в статье 4 Устава Совета Европы, где каждое государство, если оно способно и согласно уважать Основной закон государственного права вместе с правами человека и основными свободами, может получить от комитета министров приглашение стать полноправным или — согласно статье 5 — ассоциированным членом Совета Европы.

Система четырех concentрических кругов

Эту модель можно представить себе в виде системы concentрических кругов или, более наглядно, в виде “матрешки”. Это не проект чего-то абсолютно нового, а скорее новый концепт, который в законченном виде объединяет все многообразие отчасти друг на друга накладывающихся кооперативных и интеграционных систем в Европе — Европейское Сообщество, Западноевропейский Союз, в некоторой степени также НАТО, Совет Европы, ЕАСТ, СБСЕ и Конференцию по мерам укрепления доверия и безопасности и разоружению.

1. В центре этой модели находится европейское федеративное государство — “Объединенные Штаты Европы”. Туда могли бы войти страны старой “Европы 6-ти”, включая также те государства, у которых есть серьезные намерения присоединиться.

2. На втором уровне находится Европейское Сообщество как союз европейских государств. Он, разумеется, включает в себя и “Объединенные Штаты Европы”. Этот союз государств соответствует современной “Европе 12-ти” с возможным присоединением новых членов, например Австрии и Норвегии. Вопреки всем трудностям культурно-экономического характера, не стоит надолго оставлять без внимания Турцию. Необходимо помнить, насколько велико значение этой страны для интересов Европейского Сообщества на Ближнем Востоке. На первых порах следовало бы как минимум исчерпать потенциал статьи 238 Договора ЕЭС: эта цель подразумевает также более крепкие формы ассоциативного союза, которые были бы максимально приближены к порогу членства.

3. Третий уровень образует “Ассоциация европейских государств”. В качестве примера можно ориентироваться на ЕАСТ. Ассоциация включает в себя Европейское Сообщество, оставаясь при этом открытой прежде всего для стран Центрально-Восточной Европы, не говоря уже о таких государствах, как Финляндия, Швеция или Швейцария.

4. Завершающий круг образует “общеевропейский дом” как воплощение общеевропейского миропорядка. Его можно — *cum grano salis* — соотнести с СБСЕ, в котором найдется еще место и двум большим североамериканским демократиям.

Члены подчеркнута федеративных “Объединенных Штатов Европы”, то есть европейского федеративного государства, должны иметь единую федеральную конституцию и вести единую внешнюю и оборонительную политику, что, естественно, требует создания федеральной армии. Кроме того, сюда войдут такие органы Сообщества, как федеральное правительство, федеральный парламент и федеральный суд. Для парламента предполагается двухпалатная организация.

Странам, не вошедшим в Европейское Сообщество, но которые являются членами союза европейских государств, предоставляется статус наблюдателей в политических органах “Объединенных Штатов Европы”. Эти страны образуют экономический и, возможно, валютный союз, другими словами — настоящий внутренний рынок. В области внешней политики они сотрудничают в рамках European Productivity Agency (Организации европейского экономического сотрудничества), сообща ведут политику охраны окружающей среды и, защищая интересы внутренней безопасности, могут рассчитывать на поддержку европейской полиции — по образцу американского ФБР. Правовые основы должны соответствовать договорам, заключенным Европейским Сообществом, поэтому необходимо сохранить существующие институты (а именно Страсбургский парламент, Совет министров, Брюссельскую комиссию).

Членам “Ассоциации европейских государств” можно предложить совещательный статус в политических органах Европейского Сообщества (например, право выступать и вносить предложения, но не право голоса в Европейском парламенте). Цель такой ассоциации — сотрудничество в областях экономики, культуры и охраны окружающей среды; правовой основой должен служить устав (договор основания). Что касается экономического сотрудничества, то сначала можно было бы стремиться к созданию зоны свободной

торговли, которая позднее привела бы к формированию общего рынка.

Членство в “Ассоциации европейских государств” может стать подготовительным этапом для интеграции центрально-восточных и северных стран в Европейское Сообщество. По всей видимости, именно этот план разрабатывает Венгрия: через ассоциативное или полное членство в ЕАСТ (статья 41 Соглашения ЕАСТ) получить затем возможность войти в Европейское Сообщество через “другую дверь”.

Концепт “Ассоциации европейских государств” в основном касается стран Центрально-Восточной Европы. Несмотря на то, что мечта стала явью и такие страны, как Венгрия и Польша, в политическом, экономическом и общественном отношении переняли “западные” образцы, тем не менее должно пройти много лет, прежде чем контраст между Востоком и Западом сгладится до такой степени, что можно будет всерьез рассматривать вопрос о присоединении этих стран к Европейскому Сообществу. Так что идею ассоциации можно рассматривать как своего рода план Маршалла для восточной части Центральной Европы. Когда “ассоциация” добьется намеченной цели, она вряд ли останется без работы. Не стоит на все времена исключать тот факт, что некоторые европейские республики Советского Союза, например прибалтийские, захотят вступить в Ассоциацию. В далекой перспективе можно принимать в расчет даже те страны Средиземноморья, история которых особо тесным образом связана с Европой и чье будущее может приобрести для Европейского Сообщества решающее значение — например, государства региона Магриб или даже Израиль.

Обеспечение мира в Европе — с участием США и Канады — должно стать основой общеевропейского миропорядка. Также важны совместная охрана окружающей среды или усиление сотрудничества в области обеспечения безопасности атомных объектов. Правовую основу образует система договоров, при помощи которых формируются структуры безопасности и разрабатываются нормы экономического сотрудничества. Государства европейского региона должны — если они этого еще не сделали — присоединиться к конвенции Совета Европы по защите прав человека и основных свобод, а также подчиниться судопроизводству Европейской Комиссии и Европейского трибунала по правам человека.

Концепция “Европы четырех скоростей” имеет, в частности, и то преимущество, что не дает однозначно положитель-

ного или отрицательного ответа на вопрос, возможно ли существование Европейского Сообщества с границей “на Урале”. Ответ, как выражается Генеральный секретарь Горбачев, должна дать история. Он может появиться в повестке дня через двадцать, пятьдесят или сто лет — или вообще не появиться. Не вызывает сомнений лишь то, что однажды Европа станет сообществом стран, от Португалии до Польши.

До сих пор — то есть при описании задач, подготовленных для “Ассоциации европейских государств” — не рассматривался вопрос о статусе ГДР. Она уже не в состоянии — в результате политических, экономических и общественных изменений в Восточной Европе — игнорировать требования свободы и самоопределения, предъявляемые своим населением.

Воссоединение и западная интеграция

Если представить, что тема “Воссоединение” стоит уже на повестке дня (что вследствие причин политического и правового порядка может произойти только при согласии Советского Союза), то возникает вопрос: что можно сделать в переходный период, чтобы как можно мягче сгладить контраст между Западом и Востоком Германии, который в уменьшенном масштабе отражает тот же самый контраст на европейском уровне? Проблема достаточно драматична: есть опасность, что это вызовет крайне неприятные проявления враждебности к “аусзидлерам” (Aussiedler)³; именно те правопопулистские течения в стране, которые считают себя “национальными” защитниками, могут мгновенно потерять патриотизм, как только “простой человек” в ФРГ почувствует социальную угрозу со стороны этнических немцев или немцев ГДР.

Если кто-то действительно хочет изменить status quo мирным путем, тот должен иметь в виду: внезапная отмена внутригерманской границы, которая, вероятно, вызовет миграцию с Востока на Запад не только врачей, инженеров и спе-

³ Аусзидлеры — этнические немцы, прибывшие в ФРГ из областей Центральной и Восточной Европы, Сибири и Средней Азии. Они имеют гарантированное Конституцией право на получение германского гражданства. “Враждебность к аусзидлерам” (“Aussiedlerfeindlichkeit”) есть одно из проявлений ксенофобии.

циалистов, но и всех остальных, станет серьезнейшим социальным и экономическо-политическим испытанием.

А тот, кто утверждает, что членство ФРГ в европейском федеративном государстве будет также “фактически препятствовать” германскому воссоединению, должен спросить себя: почему уже существующий контраст между Востоком и Западом Германии не является для него таким же препятствием. Ведь никто не станет спорить с тем, что экономическое воссоединение Германии осуществить гораздо сложнее, чем политическое воссоединение; это объясняется “фактически” причинами, которые образовались за более чем сорок лет раздела — так что не членство в Европейском Сообществе является проблемой, а существовавшая десятки лет коммунистическая бесхозяйственность ГДР.

Впрочем, и политическое воссоединение не такой уж простой процесс, как думают некоторые сторонники восстановления национально-государственного единства. Сначала необходимо совершить акт самоопределения, то есть провести свободное голосование всего немецкого народа. Но если вдруг большинство голосов в ГДР будет отдано за сохранение отдельного государства и против воссоединения — что маловероятно — то можно ли пренебречь их волей, если общий результат голосования по всей Германии будет выглядеть иначе? Ну, а если решение будет в пользу германского единства, то что делать потом? Есть четкое правило, согласно которому Основной закон теряет свое действие только в тот день, “когда вступит в силу новая Конституция, принятая всем народом в свободном волеизъявлении”. Как должна возникнуть эта Конституция? Можно ли допустить, чтобы мнение граждан ГДР потерялось в большинстве голосов по Германии в целом? Раньше для принятия Конституции необходимо было “одобрение народных представителей в двух третях из всех германских земель, где впоследствии она должна действовать”. Какое правило было бы приемлемо для общегерманской Конституции?

Следующий вопрос: должны ли на территории сегодняшней ГДР возникнуть федеральные земли, и если да, то какие? И как придать этому процессу международно-правовой характер? Вопрос за вопросом — и это лишь часть того, что в настоящий момент является предметом размышлений (порой достаточно абстрактных) о совместимости воссоединения с европейской интеграцией. Может быть, эти вопросы должны

заставить задуматься, что конкретно значит свободное самоопределение германского народа для людей в ГДР, которые, все-таки — хотели они этого или нет — в течение десятилетий вели свою собственную государственную жизнь. Может быть, следует установить надежную защиту меньшинств: например, ввести условие, при котором по всем тем вопросам, которые особым образом затрагивают жителей сегодняшней ГДР, необходимо было бы решение квалифицированного большинства — по крайней мере на переходный период (каким бы длительным он ни оказался).

Демократия, федерализм и правовая государственность

Немцы не в состоянии повернуть время вспять — на “час ноль”, в качестве исходного пункта нужно брать текущую ситуацию. Что тоже хорошо: демократия, федерализм и правовая государственность не должны оставаться в резерве, равно как и обязательства во внешней и европейской политике, которые взяла на себя ФРГ и которые в течение сорока лет были для нее гарантом мира, свободы, благосостояния и международного уважения. Только таким образом люди в ГДР достигнут того, что мы уже имеем, не нарушая при этом основ политического и общественного успеха ФРГ.

Вопрос, можно ли совместить воссоединение и западную интеграцию, не затрагивает сути дела. Решающее значение имеет то, как население современной ГДР будет приобщаться в будущем к политическому и общественному успеху ФРГ. В этой связи можно предположить, что та часть целой Германии, которая сегодня соответствует ГДР, сначала должна вступить в “Ассоциацию европейских государств”, при полной свободе перемещения и местожительства граждан на территории всей Германии. По завершении процесса акклиматизации она может интегрироваться в Европейское Сообщество и позже в “Объединенные Штаты Европы”. Это право должна ей гарантировать общеевропейская федеральная конституция.

Независимо от развития этих пока только гипотетических тенденций, ФРГ должна продолжать процесс интеграции в сторону европейского федеративного государства. То, что однажды написал в своих воспоминаниях Конрад Аденауэр, до сих пор имеет ценность: “В Германии считали, что для нас

возможно одно из двух: или политика в пользу Европы, или — в пользу германского единства. Я считаю это “или — или” роковым заблуждением. Никто не в состоянии был объяснить, как без сильной и единой Европы можно осуществить мирное германское единство”.

В заключение остается вопрос, может ли принадлежность ФРГ к “Объединенным Штатам Европы” оказаться “юридическим препятствием” для достижения всенародно одобренной цели — единства и свободы Германии. Кажется, у этой проблемы есть решение — особой юридической фантазии не требуется: а почему, собственно, нельзя будет четко зафиксировать в европейской федеральной конституции возможность германского воссоединения и исключить право вето остальных стран-участниц; и почему бы новому общегерманскому члену “Объединенных Штатов Европы” не гарантировать право на заключение пока еще отсутствующего мирного договора?

Ясно одно: если когда-нибудь наши соседи будут стоять перед выбором: допустить ли существование неинтегрированного германского национального государства в сердце Европы или разрешить немцам в их полном составе членство в Европейском Сообществе и “Объединенных Штатах Европы” — они без сомнения выберут вариант интеграции. Это квинтэссенция статьи 7 Германского договора, где подписавшиеся стороны определяют общую цель следующим образом: “воссоединенная Германия, имеющая свободно-демократическую конституцию по примеру ФРГ и интегрированная в Европейское Сообщество”.

Западная интеграция — то есть сохранение свободы, — условие единства, но не его цена. Кто подвергает сомнению этот существующий уже десятки лет консенсус, тот рушит основы государственно-правовой демократии Германии.

После саммита в Хельсинки в конце 1999 года ЕС начал переговоры со странами-кандидатами на вступление в ЕС. Среди них десять государств Центральной и Восточной Европы (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чехия и Эстония), а также Кипр, Мальта и Турция. Турция пока последняя страна, получившая статус кандидата. Именно это решение было и остается в ЕС наиболее спорным.

- *Сторонники этого решения утверждают, что Турция, будучи членом НАТО, уже ведет успешное сотрудничество с ЕС в рамках общего таможенного союза. На фоне противостояния с исламскими фундаменталистами Турция представляет собой стратегически важный плацдарм Европы в Средиземноморском регионе — и будет таковой оставаться, если только ей предоставят перспективы в Европе. Кроме того, примирение турок и греков (включая разрешение конфликта на Кипре, который тоже является страной-кандидатом) может состояться только в рамках Евросоюза.*

- *Критики говорят, что Турция как в политическом, так и в экономическом отношении слишком далека от того, чтобы соответствовать всем условиям вступления в ЕС. В статье-передовице, опубликованной в “Rheinischer Merkur” 17 декабря 1999 года и представленной здесь с некоторыми изменениями, я высказываю ряд возражений, связанных с культурными различиями.*

Но в целом этот текст посвящен вопросу, может ли ЕС выдержать расширение на 13 новых членов, будучи недостаточно подготовленным к этому в институциональном плане. Ответ будет — “нет”. Поэтому у меня возникают серьезные сомнения в том, что главы государств и правительств ЕС в самом деле полны решимости претворить слова в жизнь и раскрыть двери ЕС всем 13 кандидатам.

Европейский Союз разрастается

Западные побеги огромного азиатского континента являются составной частью разветвленного полуострова по имени “Европа”. Что касается правового статуса, то и там нет никаких вопросов. Каждое европейское государство имеет возможность (но не право) быть принятым в ЕС. Например, Казах-

стан: его западная вершина нависает над рекой Урал и, следовательно, находится в “Европе”. То, что почти вся территория Казахстана расположена в Азии, юридически не играет никакой роли¹.

Если посчитать все стоящие на очереди государства, то теоретически ЕС может превратиться в комплекс из 46 стран с общим населением в 800 миллионов человек. Естественно, этого никто не хочет. Такой расширенный ЕС потерял бы прочность и был бы не в состоянии подводить под общий знаменатель противоречивые интересы всех членов Союза.

Главы государств и правительств ЕС тоже это понимают. Хотя в Хельсинки они, недолго думая, увеличили число кандидатов более чем в два раза — с 6 до 13. Но целью было — показать, что ЕС “способен на расширение”. А в действительности: Мальте собственный представитель в Брюсселе не требуется; Румыния не сможет парализовать деятельность Союза, поскольку она не получила права вето; и Латвия не будет мешать Германии и Франции как авангарду процесса объединения усилению сотрудничать в определенных сферах.

Итак, ЕС решил пойти на сложнейшие институциональные реформы. На повестке дня стоит вопрос о перераспределении власти и денег. Участникам саммита в Хельсинки нужно получить теперь вотум доверия. Вероятно, кто-то из них совсем не считал серьезным свое “да” в пользу новых кандидатов. Вероятно, втайне он надеялся, что объявленное возможным расширение до 28 членов всё равно провалится, так как необходимые для этого реформы в ЕС слишком иллюзорны. Так как Германия перестанет играть роль великодушного спонсора расширения. Так как южноевропейские страны не проявят готовности отказаться от брюссельской поддержки в пользу восточных европейцев. Так как не верится, что греки и турки смогут однажды помириться. И последнее: так как большинство кандидатов выдохнется в марафонском беге к брюссельскому Олимпу.

“Возможность приема” в ЕС и “возможность расширения” ЕС должны друг другу соответствовать, как ключ и замок.

¹ Действительно, в феврале 1992 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил заинтересованность в возможности вступления Казахстана в ЕС. Ср. “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 2 марта 1992 года. С. 2.

Сомнения вызывает главным образом Турция: может быть, имеет смысл, наряду с политическими и экономическими условиями, в качестве решающего выдвинуть условие культурного масштаба? И тогда мы оказываемся в заминированном пространстве. Были времена, когда Европейское Сообщество считалось неокаролингским и, прежде всего, католическим проектом. Об этом уже речи нет. Затем стали говорить, что культурная граница проходит между западным и византийским христианством. Со вступлением Греции и эта точка зрения отпала. А если заявить, что к ЕС относятся только страны с христианским вероисповеданием?

Сторонники присоединения Турции не принимают эту точку зрения, потому что ЕС не является “христианским клубом”. Никто не выступает против того, что в Западной Европе государство и религия разделены — так должно оставаться и впредь. В некоторых крупных европейских городах чаще можно видеть мусульман, по пятницам идущих в мечеть, чем христиан, по воскресеньям посещающих церковь. Но нельзя отрицать: в силу определенных культурных отличий от Западной Европы Турция вряд ли сможет выполнить все политические условия для вступления в Союз. Достаточно сопоставить нетерпимость турецких властей по отношению к христианам и терпимость западноевропейских государств по отношению к исламу.

К западным чертам иудейско-христианской цивилизации относится возможность покаяния, возможность безжалостного разговора о мучениках в подвалах собственной истории. С этим неразрывно связано уважение к достоинству людей. До сих пор турецкое государство — и даже не группировка анатолийских правых экстремистов — отрицает массовое уничтожение армян в 1915 году. Если действительно самокритика и уважение прав человека составляют одно целое, то Турции предстоит еще пройти долгий путь. Это касается и ярко выраженного турецкого национализма. Он не потерпит переноса части государственного суверенитета на наднациональные институты. Одним словом, Турция, которая выполнит все политические условия для вступления в ЕС, в культурном отношении будет очень далека от той Турции, которую мы сегодня видим.

К вопросам культурного измерения относится и ощущение единства. Здесь свое слово должны сказать граждане ЕС. Результаты социологических исследований опровергают любое

необоснованное подозрение в том, что критики в основном вербуются из консервативно настроенных защитников христианской Европы. Согласно последним опросам, против вступления Турции в ЕС высказывается более половины последователей ХДС и ХСС. В этом нет ничего удивительного. Но, что примечательно, этот скепсис разделяют столько же сторонников СДПГ, а среди представителей “зеленых” и СвДП — даже более чем две трети.

ЕС не имеет права ни Турции, ни другим странам делать скидки при вступлении в ЕС — в собственных же интересах, и в интересах всех кандидатов. Самый ценный товар, который ЕС поставляет в Европу завтрашнего дня, называется “стабильность”. Чтобы так оставалось впредь, ЕС и в будущем должен избегать поставок нестабильности.

Через год после саммита в Хельсинки главы 15 государств и правительств Европейского Союза собрались в Ницце, чтобы обсудить проект институциональных реформ, необходимых для расширения ЕС на 12 новых (и в итоге до 27) партнеров. На заключительном заседании участники форума объявили, что отныне Европейский Союз “может расширяться”. Следовательно, вопрос о возможности и сроках расширения зависит только от одного: удостоятся ли отдельные кандидаты звания “готов быть принятым в ЕС”.

Путь для отступления, конечно, остался: ЕС сам устанавливает, когда требования для вступления в Союз можно считать выполненными, и это дает ему определенную свободу в принятии решения. Впрочем, еще не заключенные договоры о приеме в ЕС должны найти одобрение в 15 национальных парламентах и Европейском парламенте в Страсбурге, что тоже несет в себе некоторую неопределенность для кандидатов.

Для ЕС пришло время выполнять свои старые обещания, касающиеся приема новых членов из числа стран Центральной и Восточной Европы. В этом отношении результаты саммита в Ницце можно приветствовать. Но, к сожалению, Европейский Совет не принял решения о необходимых внутренних реформах. Более того, есть опасение, что после ратификации всех соглашений деятельность руководящих органов ЕС станет более неповоротливой и неэффективной. Важные вопросы не обсуждались, их отложили в долгий ящик. Но самый болезненный из всех выводов, сделанных до и в ходе саммита, заключается в том, что тесное германо-французское сотрудничество — в прошлом мотор европейского интеграционного процесса — надолго зашло в тупик.

Триумф национального эгоизма

Сначала хорошая новость: саммит в Ницце опроверг необоснованные утверждения, будто бы Брюссельская комиссия своей деятельностью дискредитирует ЕС. Плохая новость: затянувшийся (с 7 по 11 декабря 2000 года) уик-энд в Ницце окончательно похоронил мечту о том, что дух европейского благоразумия способен одержать верх над национальным эгоизмом и привести всех к общему согласию.

Теперь стало очевидным, откуда в Европейском Союзе распространяются атмосфера бюрократизма, торгашеский дух и отчуждение от общества: из Совета — органа, состоящего из представителей пока только 15 национальных правительств. Если эти высокопоставленные дамы и господа являются главами государств и правительств, то мы говорим о “Европейском Совете” — или, менее официально, — о европейском саммите. Совет — институт Европейского Союза. Но, как мы видим, главное для него не общественное благо, а частные интересы, помноженные на число государств — членов ЕС. Потому там всегда царит хаос и разлад.

Совет министров ЕС с его широкими полномочиями есть не что иное, как постмодернистская форма абсолютизма. Он одновременно является исполнительным и законодательным органом, сам себя финансирует и сам же себя контролирует. (Монтеस्कье преворачивается в гробу.) Депутат Европарламента Элмар Брок был прав, называя Совет большим местом ЕС. И если мы — вслед за Карлом Поппером — под демократией подразумеваем такую форму правления, которая позволяет народу избавляться от недостойных правителей мирным путем, то Совет не имеет права называться демократическим институтом.

Было бы заблуждением считать, что заседающие в Совете представители национальной исполнительной власти действительно подчиняются демократическому контролю, когда они отчитываются перед своими парламентами и избирателями. На практике ответственность за определенные решения и упущения невозможно возложить на отдельных членов Совета и таким образом контролировать их деятельность. Более того, на практике национальные парламента вообще не имеют реальных возможностей для ее корректировки.

Это в очередной раз подтвердится в ходе дебатов о ратификации “Договора Ниццы”. Предшествующие документы, более амбициозный Маастрихтский договор (1991/1992) и поскромнее — Амстердамский (1997), преодолели барьер ратификации. Хоть и с грехом пополам, но суть не в этом, главное — результат. Договор, заключенный в Ницце, будет преподнесен национальным парламентам с таким же условием: “Съешь или умри”. Желающих взять на себя ответственность за тяжелый кризис, поразивший ЕС, будет немного, поэтому большинство, стиснув зубы, проголосует “за”. Впрочем, противники договора больше надеются на другое: в некоторых странах ЕС

(прежде всего в Дании) во время референдумов народ способен на сюрпризы.

Похоже, главы 15 государств и правительств ЕС не слишком серьезно относятся к Европейскому парламенту — единственному органу демократического контроля на европейском уровне. Есть убедительное доказательство такого пренебрежения: до глубокой ночи участники саммита ожесточенно дебатировали о распределении голосов в Совете министров ЕС. По сравнению с этим прошедшее накануне распределение голосов в Европейской комиссии и Европарламенте выглядит пустой формальностью. Президент Ширак, кажется, с легкостью согласился на то, чтобы Германия в соответствии с ее демографическим весом имела в Страсбурге 99 парламентариев (против 72 от Франции), однако в Совете он настаивал на одинаковом представительстве — по 29 голосов от Германии и Франции.

Германские дипломаты перед саммитом в Ницце поговаривали о том, что Совет должен получить право отменять решения Европейской комиссии, используя принцип квалифицированного большинства голосов. Из этого ничего не вышло — но то, что подобное предложение вообще выдвигалось, должно насторожить. Это значит, что в национальных исполнительных органах есть силы, заинтересованные в ослаблении двух “унитаристских” органов ЕС — Комиссии и Парламента — в пользу “межправительственного” Совета министров. Усиление контроля Европейской комиссии за счет Совета не вызывало бы возражений, если бы он действовал вместе с Парламентом в Страсбурге в качестве второй палаты европейской законодательной власти. Но до этого надо еще дожить. Такого рода институциональное устройство предполагает трансформацию ЕС в Европейскую республику с собственной конституцией.

Когда политики заявляют об “историческом значении” собственной деятельности, к этому нужно относиться сдержанно. Саммит в Ницце — не исключение, совесть не позволяет назвать его началом реформ. На Лазурном берегу гора разродилась мышью.

Впрочем, в некотором смысле определение “исторический” уместно. А именно в том, что саммит в Ницце окончательно открыл дорогу “Европе-27” или “воссоединению Европы” — неважно, как еще называть идею расширения. (Турция — которая едва была упомянута в ходе информационного освеще-

ния саммита и потому заслужившая это сейчас — по-прежнему не участвует в лиге кандидатов. Да и Совет в своем сегодняшнем состоянии вряд ли был способен решить этот непростой вопрос. По численности населения Турция уступает Германии, но превосходит Великобританию, Францию и Италию. Если в один прекрасный день она окажется ante portas, это снова вызовет мучительные дебаты о распределении голосов в Совете министров — об этом можно сказать уже сегодня. Разумеется, в ближайшем будущем никто не захочет бередить старые раны.)

Кроме того, саммит в Ницце стал историческим потому, что он безжалостно определил границы компромисса, выйти за которые “Европа национальных государств” не в состоянии — или ей это будет стоить огромных усилий. Дипломатия на высшем уровне “à la Ницца” будущего не имеет. Главные вопросы остались без ответа, не удастся так просто совершить скачок от межправительственного количества к унитаристскому качеству. Невозможно будет всё время прикрываться ссылками на Договор Ниццы, хоть на него и возлагаются сейчас большие надежды. Этот договор может стать стимулом интеграционного процесса только в том случае, если национальные государства постараются прыгнуть выше своей головы. Пока же нет повода надеяться на то, что они захотят это сделать в ближайшем будущем.

Безусловно, хорошим шагом можно назвать решение глав государств и правительств разграничить до 2004 года полномочия на европейском, национальном и региональном уровнях. В принципе, стоит поприветствовать и торжественное провозглашение Хартии об основополагающих правах ЕС (пока еще не имеющей юридической силы). В ней можно увидеть первый робкий шаг в сторону европейской конституции. Но противостояние национальных государств на пути к этой цели велико как никогда. Помимо прочего, нет того благоприятного момента, который позволил в Маастрихте — вскоре после воссоединения Германии и завершения “холодной войны” — совершить огромный скачок вперед, к евро.

Возможно, возникновение Хартии об основополагающих правах ЕС открывает альтернативный путь вперед. Но тогда государства — члены ЕС должны доверить некоему легитимному европейскому конвенту обсуждение Договора Ниццы и в особенности разработку проекта конституции, одобренно-

го многими германскими политиками. Это выглядит слишком красиво, чтобы быть правдой.

На заключительном заседании Европейского Совета участницы пришли к лестному заключению: отныне ЕС “способен на расширение”. Но так ли это на самом деле, вызывает серьезные сомнения. Ницце удалось лишь частично устранить “печалитки” Амстердама:

- Использование в Совете министров права вето в ряде случаев было отменено, однако в важнейших сферах — международной торговле, налогообложении, вопросах политического убежища, иммиграционной политике и в структурных фондах — оно по-прежнему остается в силе, по крайней мере сейчас.

- С 2005 года в Брюсселе вводится правило “от каждой страны по представителю”; надежды на четкую организацию деятельности Комиссии связываются с тем, что председатель получит полномочия в разработке директив. Но если ЕС разрастется до 27 членов, то придется ставить вопрос об уменьшении состава Комиссии. “Успехов вам!” — только и остается пожелать руководителям после завершения переговоров в Ницце.

- Был найден компромисс относительно распределения голосов в Совете министров ЕС. Страны Бенилюкс, с небывалым энтузиазмом приветствующие сейчас интеграционный процесс, в сумме могут набрать 29 голосов при 26,4 миллионах жителей — что равносильно весу одной из четырех крупных стран (Германии, Великобритании, Франции, Италии). Но тогда у государств-членов в будущем появится больше возможностей для блокировки принятия решений. Это может негативно сказаться на дееспособности Совета. А расширение Союза требует противоположной цели.

Элмар Брок справедливо заметил, что результаты переговоров в Ницце свидетельствуют о первом серьезном спаде интеграционного процесса с тех пор, как французское Национальное собрание 1954 года отклонило идею создания Европейского оборонительного сообщества.

Но политической воле угодно расставлять восклицательные знаки, которые, как мы знаем, сильнее всех вместе взятых вопросительных. Следовательно, для процесса расширения имеет значение только то, смогут ли кандидаты получить желанный сертификат “готовы быть приняты в Союз”, и если да, то когда. С 2003 года двери ЕС будут открыты для них. В Ницце 15 “старожилы” смело пообещали, что новые

участники Союза уже после выборов 2004 года занимают собственных представителей в Европарламенте. Но до этого Страсбург должен будет одобрить абсолютным большинством голосов вступление каждого нового участника. Его негативное решение в этом вопросе так же неприемлемо, как и неодобрение в национальных парламентах. Реальнее ожидать, что отдельные правительства свои возражения (сейчас благоразумно замалчиваемые) выскажут позже в виде невыполнимых требований, которые будут затруднять и блокировать переговоры о вступлении.

Федеральный канцлер Шрёдер уже успел это продемонстрировать, когда потребовал ввести длительный переходный период до того, как граждане новых государств — членов Союза получат право жить и работать на Западе. Всего лишь через несколько дней после Ниццы, 18 декабря 2000 года, он выступил со следующим заявлением: новые партнеры должны получить доступ к европейскому рынку труда только по истечении переходного периода в семь лет; Германия, как он сказал, с ее 3,8 миллиона безработных еще долгое время будет оставаться закрытой для новой рабочей силы из Центральной и Восточной Европы. (Шрёдеру известны результаты социологических опросов, появляющиеся, например, в “Евробарометре”, издании Европейской комиссии: немцы опасаются неконтролируемого притока рабочих-иммигрантов из Центральной и Восточной Европы. Эти опасения слишком преувеличены, так как люди забывают, что сокращение численности населения в Германии, напротив, требует увеличения числа рабочих-иммигрантов. Но необоснованные опасения — это тоже реальность, с которой нужно считаться и мужественно бороться путем разъяснительной работы.)

Европейский Совет в Ницце имеет историческое значение еще и потому, что он зафиксировал наихудшее состояние многолетних германо-французских отношений. Долгая традиция внешнеполитических отношений, перешедшая от Коля к Шрёдеру, была серьезно нарушена, и пока нельзя предугадать все негативные последствия такого спада.

В Европейском Союзе сейчас нет ядра. Никто из сегодняшних грандов ЕС не обладает необходимым авторитетом, чтобы энергично и настойчиво руководить интеграционным процессом. Ширак не Миттеран, Шрёдер не Коль, а Проди не Делор. Министр иностранных дел Фишер в решающие моменты перед Ниццей предпочитал рассуждать о будущем

Европы, а не налаживать отношения с французским коллегой Ведрином. О недостатках председательской деятельности Франции в ЕС и о неумении Ширака вести переговоры всё, что можно, уже сказали и написали. Но — о чем почти всегда забывали — с германской стороны не было предпринято ни одной серьезной попытки, чтобы помочь французскому партнеру выпутаться из затруднительного положения, куда он угодил благодаря собственным ошибкам. Шрёдер и Фишер с усмешкой наблюдали эту драму. Германо-французский мотор начинает ржаветь — при таком заключении уже неважно, кто или что явилось тому причиной.

Видимо, один из немногих шансов европейского сотрудничества, предложенных Договором Ниццы, так и останется неиспользованным. Как же без Германии и Франции будет выглядеть “усиление сотрудничества” между партнерами, которые захотят преуспеть в процессе интеграции? По сравнению с Амстердамским договором, в котором существование такого рода пионерских объединений должно было быть одобрено всеми странами-участницами, Договор в Ницце представляет собой заметный прогресс. Он допускает усиление сотрудничества, если как минимум восемь государств — членов ЕС проявят желание объединиться — разумеется, с условием, что остальные участники в любой момент могут присоединиться к ним.

Возможно, Ницца останется в памяти как событие, в котором наконец-то приобрела очертания “новая внешняя политика” “берлинской республики”, о которой так много было сказано. Это великодержавная политика с оговоркой “как бы” — поскольку в ней отсутствует необходимая военная мощь; в этой связи можно понять поразившее всех заявление французов: Германия не должна иметь в Совете министров ЕС больше голосов, чем Франция, так как демографическое преимущество немцев компенсируется французским ядерным оружием.

Более серьезным является утверждение, что между Аденауэром и де Голлем, равно как между Колем и Миттераном, существовала договоренность, по которой ФРГ никогда не будет оспаривать германо-французского паритета в Совете. В Ницце Шрёдер язвительно сообщил, что его сотрудники пытались найти соответствующий документ в Ведомстве федерального канцлера и ничего не обнаружили. Но он пообещал, что задаст этот вопрос непосредственно Колю. Однако необходимость в этом уже отпала, так как после введения де-

мографического критерия Берлин негласно усиливает свое влияние в Совете министров. Достаточно немного арифметики, чтобы продемонстрировать существенное улучшение статуса Германии: на заседаниях Совета по желанию можно будет проверить, предоставляет ли квалифицированное большинство голосов как минимум 62 процента населения ЕС. В этом случае Германия может бросить на чашу весов 17 процентов, в то время как Франция только 12,2 процента.

Но самое главное не в этом. До тех пор пока Германия и Франция считают, что их партнерство имеет жизненное значение, они не будут в Совете голосовать друг против друга — неважно, каким количеством голосов они располагают. Проявившийся кризис в отношениях имеет более глубокие причины. Французы опасаются, что при запланированном расширении на Восток они потеряют в своем влиянии и будут оттеснены на периферию, в то время как Германия укрепит свои позиции в центре и окажется в самом большом выигрыше. Из Берлина, между тем, поступает слишком мало сигнала, чтобы рассеять эту тревогу.

Нужно быть очень близоруким, чтобы допустить, будто бы Германия уже не нуждается в тесном сотрудничестве с Францией, что пора освободиться от этого партнерства, как от обременительных оков. Но это роковое заблуждение. Если Франция в один прекрасный день вступит в антигерманскую коалицию внутри Европейского Союза, это нанесет удар по германским интересам.

Разумеется, сегодня нет причин опасаться рецидива политического соперничества в борьбе за власть, как это было в XIX столетии. Сегодня риск заключается в другом. Расширение ЕС повлечет за собой ослабление внутренних связей; одновременно всё меньше остается шансов компенсировать эту потерю путем усиления интеграции. В этой связи в Берлине растет искушение вновь инсценировать престижное “жонглерское искусство” Бисмарка (которое сегодня, между прочим, может получить поддержку СМИ).

Какое-то время это может продолжаться. Но в конце концов оставшись в изоляции, немцы вряд ли обрадуются роли новой супердержавы. И тогда они поймут, что зря пренебрегали старыми друзьями.

Пока нельзя предугадать все политические последствия, которые могут еще возникнуть в результате вооруженного вмешательства НАТО в Косовский конфликт весной 1999 года. Войну Слободан Милошевич проиграл, но мира НАТО так и не добились. Среди множества заключений, которые можно вывести уже сегодня, стоит выделить три.

- Для Германии война в Косово отмечена важным событием политического и психологического характера. Впервые после второй мировой войны германские солдаты приняли участие в военных действиях. По иронии судьбы (если такое выражение здесь уместно) эта первая военная операция была проведена при “красно-зеленом” правительстве. Всего несколько лет назад известнейшие германские социал-демократы, в первую очередь “зеленые”, отстаивали свои нацифистские идеи — отчасти с заметным антиамериканским уклоном — и выражали протест даже в тех случаях, когда миротворческие операции “голубых беретов” проходили с мандатом ООН.

- Большая часть военной техники, использованной в Косово, была американского происхождения: 75 процентов боевых самолетов и 90 процентов боеприпасов. Поучительный пример для западных европейцев: экономический гигант ЕС по-прежнему остается карликом в военно-политическом измерении. При одинаковом уровне развития экономики в США и ЕС американцы выделяют на оборону почти в два раза больше средств, чем европейцы. Еще большие различия в затратах на техническое снабжение и исследования. В то время как ЕС выделяет для этого сектора 12 процентов от общих расходов на оборону, США — 40 процентов. Технологический разрыв между партнерами по ту и эту сторону Атлантики не сокращается, а, наоборот, увеличивается.

- Война в Косово стала своего рода тестом для новой концепции НАТО: и впредь, в случае крайней необходимости, с оружием отстаивать права человека на всем “евроатлантическом” пространстве. Но доктрина “либерального интервенционизма” (Тимоти Гартон Аш) не может стать достаточно законной основой для военных действий. Обычно в таких случаях требуется мандат ООН. Многие заставляют думать, что военное вмешательство в Косовский конфликт вряд ли стало началом серии вооруженных акций НАТО, скорее оно привело альянс в тупик.

Следующий текст построен на материале моей статьи, опубликованной в газете "Rheinischer Merkur" 30 апреля 1999 года (и вскоре после этого также во французской газете "Le Figaro"). В нем содержится критический анализ той ситуации.

Нет мира без ООН

Война. Бомбы. Наземные войска. Слова, которые уже не застревают в горле, а произносятся привычно.

Перевернутый мир: настоящие победители войны сидят в редакторских отделах — наконец-то еще одна тема, по которой можно развернуть интеллектуальные дебаты. Тот, кто раньше уклонялся от службы и был противником НАТО, может теперь стать полководцем-любителем и с видом знатока определять маршрут сухопутных войск альянса в Балканских ущельях. Такое дилетантское обращение с серьезной темой вызывает протест у демобилизованных и военных; а многие экс-пацифисты воспринимают это даже как призыв забыть о своих принципах, как предательство ценностей, которыми гордится Запад.

Но давайте успокоимся: как раз на войне всегда полезно работать головой. Это — по-прежнему сфера политики. Война, согласно высказыванию Карла Клаузевица, часто неверно понимаемому, есть "не что иное, как продолжение политики с применением других средств". Мораль и реальная политика должны при этом друг друга дополнять, чтобы не допустить этически неприемлемых результатов. Спонтанные нравственные побуждения не заменяют реальной оценки ситуации.

Согласно учению о праведной войне НАТО в настоящий момент борется за *justa causa* — правое дело. Но эта уверенность не освобождает ее от постановки нравственных вопросов: какие средства допустимы и какие нет в достижении намеченной цели? Никто не имеет права необдуманно жертвовать жизнью невинных людей — собственных солдат, косовских албанцев, и сербов тоже. Иначе это разрушит те ценности, которые НАТО как раз собралась отстаивать.

Как было заявлено, главная цель вооруженного вмешательства НАТО — "предотвращение гуманитарной катастро-

фы”. Но цель не достигнута — налицо все признаки катастрофы. Можно найти слабое утешение в том, что Милошевич так и так решил проводить в Косово “этнические чистки” от албанцев. *Justa causa* состоит теперь в том, чтобы по возможности максимально обезвредить действие уже наступившей гуманитарной катастрофы. Если НАТО не желает полностью потерять к себе доверие, то ей нужно идти начатым путем до тех пор, пока Милошевич не капитулирует или его не свергнут. Это будет верным решением, если всерьез воспринимать пропагандистское сравнение сербского диктатора с Гитлером: с Гитлером переговоров не ведут.

В остальном НАТО проявляет мастерство умного самоограничения, отчетливо очерчивая область вооруженного вмешательства “евроатлантическим” пространством, что не совсем определено и вместе с тем более чем достаточно. Во всем мире установить *Pax Atlantica* было бы невозможно. Остановить резню даже на собственных задворках невероятно сложно. Кто хочет избавиться от слез весь мир, рискует надорваться и в конце-концов добиться гораздо меньшего, чем это могли позволить ему ограниченные средства. К тому же есть опасность быстро лишиться доверия: и на уровне государств действует, к сожалению, правило, что вешают только слабых, а сильных отпускают.

Сейчас большего внимания требует вопрос об институциональной поддержке законных актов насилия, о необходимости получения мандата на акции вооруженного вмешательства в гуманитарных целях — *Auctoritas*, — чтобы привести всё в соответствие с учением о справедливой войне. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в своем “Берлинском выступлении” вновь и с основанием напомнил, что международная политика не должна снимать с повестки дня вопрос об усилении Объединенных Наций. Скептики будут возражать; по их мнению, мечты о “новом мировом порядке”, зародившиеся в конце “холодной войны”, давно уже разбиты — широкая коалиция государств, как в 1991 году в войне против Ирака за освобождение Кувейта, вряд ли может возникнуть в ближайшем будущем.

Тем не менее Северо-Атлантический альянс не может себе позволить постоянно действовать по полномочиям, которые он же себе и предоставляет — как бы справедливы ни были его действия в каждом отдельном случае. Потому что так он нарушает собственный принцип: мир на земле возможен

только в условиях закона, к закону же относятся и утомительные процедуры Объединенных Наций.

Да, эти процедуры требуют реформ. Сам Кофи Аннан критически отметил, что Совет Безопасности ООН отражает реалии скорее 1945 года, чем конца XX века. Анахронизм с извращенными последствиями: отсутствует эффективная международно-правовая защита против массовых нарушений прав человека или геноцида в тех случаях, когда право на индивидуальную или коллективную самооборону, зафиксированное в статье 51 Устава ООН, теряет свое содержание, а Совет Безопасности парализован действием вето.

Вряд ли НАТО хочет вернуться к тем временам, когда в системе государств до образования Лиги наций господствовала анархия и когда пакт Бриана и Келлога объявлял вне закона захватнические войны. В первом случае — по причинам морально-политического характера; во втором случае — даже Америка, единственная действующая супердержава, не в состоянии упорядочить мировой хаос. Поэтому Северо-Атлантический альянс должен настойчиво добиваться того, чтобы его претензии на право вооруженных акций в гуманитарных целях были признаны в рамках ООН. Для этого ему требуется широкая поддержка, в том числе Москвы и Пекина, — а это нереально при таком дерзком и высокомерном поведении.

“Только сильным дается власть”, — говорит Фридрих Шиллер в пьесе “Вильгельм Телль”. Эти слова не должны стать девизом НАТО. Если НАТО хочет обеспечить в XXI веке мир во всем мире, ей следует искать по всему миру единомышленников. Сейчас Соединенные Штаты более чем когда-либо испытывают искушение действовать в одиночку. Это понятно. Но, к сожалению, это также самый короткий путь к изоляции — кошмару всех европейцев, для которых уроки XX века не прошли даром.

Возможно, “новый мировой порядок” — всего лишь утопия. Пока только рушится старый мир вследствие этнических и религиозных конфликтов. Но мы не должны забывать о нашей цели.

Этот текст, написанный мной в соавторстве с Домиником Моизи в 1993 году, я сознательно поместил в конец книги. Ранее он публиковался в ежедневных газетах “The Independent” (Англия), “Le Monde” (Франция) и “Frankfurter Allgemeine Zeitung” (Германия). Мы писали его под впечатлением драматических событий и кровавых конфликтов на территории бывшей Югославии и различных государств бывшего Советского Союза. Перед нашими глазами стояла борьба за власть, разыгравшаяся в сентябре в Москве, когда президент Ельцин распустил Государственную Думу. Возможно, сегодня наши настроения покажутся слишком пессимистичными. Но ключевая мысль осталась прежней: Европа — в отличие от понимания Бисмарка — есть нечто большее, чем просто географическое понятие. Для нас Европа была (и остается) кодовым названием солидарной общности живущих вместе людей, которые осуждают варварство прошлых лет и стремятся создать цивилизацию свободы. Получится ли это, мы пока не знаем.

Европа — невыполненное обещание

В апреле 1946 года нидерландский историк Ян Ромейн во время обсуждения, связанного с публикацией “Дневника Анны Франк”, сказал: “То, что этого ребенка вообще могли заточить в лагерь и убить, является для меня достаточным доказательством того, что мы проиграли борьбу с человеческим злом. Мы ее проиграли, потому что нам не удалось противопоставить злу что-то позитивное. Поэтому и в будущем нас ожидают новые поражения. До тех пор, пока мы не сможем отражать зло при помощи позитивной силы, мы всегда будем попадать в ловушки бесчеловечности, где бы она нас не подстерегала”.

Спустя десятилетия эти слова звучат мрачным пророчеством. Неужели мы снова готовы проиграть борьбу с человеческим злом — на Балканах и в землях бывшего Советского Союза? Кажется, Запад утратил чувство общей цели, как будто бы его деморализовала победа над тоталитаризмом. Возможно, наша единственная общая цель в прошлом имела негативную формулировку — как отражение советской угрозы нашему way of life (образу жизни). Многие на Западе начинают сожа-

леть о тех “добрых” временах, когда конфликт между Востоком и Западом поддерживал хрупкий международный мир и обеспечивал всем тем, кто находился по западную сторону “железного занавеса”, относительно приятное существование.

Иногда возникает впечатление, что ров, разделяющий “их” и “нас”, вместо того, чтобы исчезнуть, стал еще шире. В 1989 году они праздновали свое “возвращение в Европу” — и мы вместе с ними. Сегодня им кажется, что они остались снаружи перед закрытой дверью, да и мы слишком часто воспринимаем их как ненужных конкурентов или — еще хуже — как непрошенных гостей. Вопреки нашим красивым словам, нам было бы приятнее, если бы наши светские клубы — Европейское Сообщество и Северо-Атлантический альянс — сохранили свою эксклюзивность. Между тем и внутри клубов, среди его членов, слабеет чувство сплоченности — из-за роста национального эгоизма, прежних предубеждений и недавнего возникшего недоверия.

Более сорока лет мы использовали слова “Европа” и “Западная Европа” как синонимы. И всегда это было семантическим самообманом, но сегодня это может стать ложью, подорывающей наши нравственные устои; ложью, не позволяющей нам понять, что окно надежды, пока еще открытое, снова может захлопнуться — гораздо раньше, чем мы себе это представляем. Когда Авель истекал кровью, Каин спрашивал: “Разве сторож я брату моему?”

Для многих западных европейцев понятие “Европа” стало чем-то естественным. “Европа” перестала быть их целью, перестала быть предметом захватывающих видений и объектом общего стремления. Как идеи демократии, так и революционные идеи супранациональной интеграции и всеобщего суверенитета, идеи космополитизма и гражданского духа служат теперь фоном, но не являются основной задачей. Мы становимся свидетелями возвращения Бисмарка, который однажды заметил: “Тот, кто все время повторяет “Европа”, заблуждается. Это чисто географическое понятие”. Бисмарк говорил о тех политиках, которые, используя слово “Европа”, требовали от других держав делать то, на что они сами бы никогда не решились.

Короче говоря, утверждать, что современный кризис рожден причинами только экономического или политического характера, неверно. Также неуместно объяснять это как всего лишь потерю идентичности в масштабах континента,

неизбежную для переходного периода в международной системе, когда нас заставили вернуться к своей истории и географии, предварительно к этому не подготовив. Речь идет в первую очередь о моральном кризисе.

Нельзя будет ограниться упреками в адрес современных политических элит в Европе, которые не дали своим согражданам представления о цели и направлениях политики. А может быть, понятие “стабильность” стало таким же кодовым обозначением того, что втайне поддерживалось возрастающим числом западноевропейских граждан и упрощенно называлось “Ялта”? Может быть, одна из наших главных проблем заключается в этой непреодолимой *trahison des clercs* — и не только *clercs* — вследствие которого “наше” благополучие было нам дороже, чем “их” свобода?

Сэмюэль П. Хантингтон высказывает в своей статье, недавно опубликованной и вызвавшей большой интерес, мысль о том, что мировая политика будет определяться “столкновением культур” (*clash of civilizations*). Несмотря на элемент манихейства, в котором можно упрекнуть такого рода подход, остается важным заключение: согласно автору, азиатско-конфуцианский мир сплотится ради достижения общей цели — сравняться в экономическом пространстве с процветающим Западом, а затем и обогнать его. Тот самый Запад, который уже пытаются разрушить исламские фундаменталисты.

Сегодня величайшим достоинством свободной демократии — равно как и величайшей ее слабостью — является то, что она не предлагает коллективных целей. Гораздо большую ценность представляет основное право каждого человека быть другим и думать иначе, чем большинство. Открытые общества предполагают добровольный и всеобъемлющий консенсус относительно ценностей человеческого достоинства, индивидуальной свободы, гражданских прав и обязанностей, а также, поскольку некоторые закончат это перечисление раньше, — солидарности со слабыми.

Эти ценности всегда ставились под вопрос тем, что Карл Поппер назвал однажды “восстанием против разума” — страхом свободы и жадной героических мифов. Их можно потерять, если подменить гражданскую терпимость нравственным релятивизмом или даже нигилизмом. “Активная, позитивная, неограниченная демократия” (такими эпитетами наделил ее в 1946 году Ян Ромейн) должна быть интеллектуально вооружена, чтобы уметь себя отстаивать.

Испытания посткоммунистической эры не должны заставить Запад вернуться к племенному идеалу героического человека, как это проявляется сегодня на Балканах в истерических призывах: “Нам нужна собственная история! Нам нужна своя судьба! Нам нужна наша борьба!” Нравственное и духовное испытание заключается в том, чтобы мы сумели найти для нашей цели позитивное определение.

В период, когда администрация Клинтона — пока только абстрактно — изменяет внешнеполитическую доктрину своей страны: вместо сдерживания коммунизма — распространение демократии, — для нас, европейцев, высшим приоритетом должны стать защита и утверждение демократии на собственном континенте. Любовь к ближнему зарождается в собственном доме, и также из собственного дома должен исходить решающий вклад европейцев в создание мирового гражданского общества, “нового мирового порядка”.

Не нужно ставить вопрос “Где кончается Европа?”. Ибо мы знаем, где она начинается. Исходный пункт уже найден: европейцы по ту сторону “железного занавеса” открыли нам, на Западе, — как сказал Тимоти Гартон Аш в 1990 году, — ясно и четко, как бывает только после горького опыта, новое значение тех ценностей, которые мы уже имеем, новое значение проверенных истин и испытанных моделей. Когда мы поймем, скольким мы обязаны “тем”, мы также сможем понять, что наша помощь совершается не только во имя любви к ближнему, но и ради правильно понятых собственных интересов.

Это вызов нормальной жизни — так можно было бы сказать, если бы в XX веке эта нормальная жизнь не была в большей части Европы скорее исключением, чем правилом. Но в любом случае речь идет о потребности в мирном и цивилизованном сосуществовании, которая должна заставить всех людей, от Иерусалима до Москвы, идти путем мира и демократии. Эта потребность универсальна в такой же мере, как и зло, присущее человеку. Для израильтян и палестинцев, европейцев оттуда, где раньше был “Восток”, и жителей постсоветского пространства Средней Азии — для всех Европейское Сообщество всё еще является моделью уравновешенности, терпимости и благосостояния.

Но и у “них” растет разочарование в системе, которая, называя себя европейской, проявляет всё больше лицемерия. Именно мы, на Западе, кажется, забыли, что эта система — единственный реально существующий общеевропейский дом.

Именно мы за четыре года не научились смотреть на Европу под этим углом зрения. Европа — где бы она не кончалась — только в том случае обретет единство, если мы не растеряем способность радоваться и благодарить за те дни, когда пал “железный занавес” и Европа возродилась в свободе.

Настало время отказаться от узко экономического анализа. Настало время разрабатывать новые идеи, которые как можно скорее могли бы дать молодым демократиям возможность политической интеграции. Их стабильность находится в прямой зависимости от перспективы их вступления в Сообщество, так же как и наша собственная стабильность всё в большей степени зависит от них. Безопасность там — условие безопасности здесь.

Именной указатель

- Аденауэр, Конрад — 44–45, 57, 81, 90, 94, 99, 116–117, 133, 189–190, 206, 212, 215, 221, 242–243, 297, 301, 309, 321
Айзель, Штефан — 107
Аккерман, Эдуард — 103, 107
Альбрехт, Эрнст — 112
Альт, Франц — 278
Альтен, Юрген фон — 58
Амальрик, Андрей — 285–286
Андерсон, Бенедикт — 25, 28
Аннан, Кофи — 325–326
Аснер, Хосе Мария — 213
Аш, Тимоти Гартон — 35, 125, 154, 158, 232–233, 239, 289, 323, 330
- Бар, Эгон — 117, 287
Бауэр, Отто — 86
Бейкер, Джеймс — 100
Бенда, Жюльен — 151
Беньямин, Вальтер — 26, 260–261
Бергсдорф, Вольфганг — 107
Берлин, Исая — 220
Берлускони, Сильвио — 213
Бисмарк, Отто — 10, 36, 63, 83–86, 155, 226, 322, 327–328
Биттерлих, Йоахим — 109
Блэр, Тони — 209, 213, 217
Бончек, Марк — 267, 270
Брандт, Вилли — 42, 45, 59, 81, 90, 95, 133, 140, 187, 190, 206, 215, 243, 245, 247
Брахер, Карл Дитрих — 60, 134
- Брежнев, Л.И. — 212, 285–286, 301
Бриан, Аристид — 326
Брок, Элмар — 316, 319
Бубер, Мартин — 273, 279, 281
Бубис, Игнатц — 64–65
Буш, Джордж В. — 99–100, 161, 185, 209, 214, 225
Бэк, Лео — 276
- Вагнер, Бальдур — 107
Вагнер, Рихард — 290
Вайгель, Тео — 106
Вайденфельд, Вернер — 104, 302
Вайцеккер, Карл Фридрих фон — 274, 276
Вайцеккер, Рихард фон — 100, 246
Валенса, Лех — 286, 289
Вальзер, Мартин — 64–65
Вальман, Вальтер — 111
Вальтер, Вернон — 119
Вебер, Макс — 192, 230, 259
Вильгельм, II — 81, 85, 94, 129, 158
Винклер, Генрих Аугуст — 60, 65, 85, 295
Винчи, Леонардо да — 54
Войтыла, Кароль — 285
Вольф, Ханна — 278
- Гаардер, Йоштайн — 278
Гавел, Вацлав — 147, 286, 288–289

- Гайслерс, Хайнер — 106, 190
Гаспери, Альчиде де — 212
Гаук, Иоахим — 40, 51, 97–98,
164–165, 167–173
Гегель, Фридрих — 83, 294
Гейне, Генрих — 33, 82, 281
Гендель, Георг Фридрих — 15,
16
Геншер, Ханс–Дитрих — 100,
106, 113, 191
Герасимов, Геннадий — 285
Гердер, Иоганн Готфрид — 83
Геремек, Бронислав — 289
Гессе, Герман — 188
Гёте, Иоганн Вольфганг фон —
9, 30, 52–53
Гёльдерлин, Фридрих — 13
Гибовски, Вольфганг — 107
Гитлер, Адольф — 14, 36, 45,
76, 88, 157, 196, 325
Глюксман, Андре — 14
Голль, Шарль де — 191, 213,
321
Гольвитцер, Гельмут — 273
Гонсалес, Фелипе — 213
Горбачев, М.С. — 99–100, 161,
250, 285, 296, 299, 301, 307
Готто, Клаус — 118
Грамши, Антонио — 224
Грильпарцер, Франц — 13, 83
Гумбольдт, Александр фон —
240–241
Гурион, Давид Бен — 283
Гутенберг, Иоганн — 257
- Дайнер, Дэн — 66
Д'Алема, Массимо — 213
Дарендорф, Ральф — 57, 129,
199, 211, 251–252
Делор, Жак — 320
Дехаен, Жан–Люк — 213
Дехио, Людвиг — 88
Джефферсон, Томас — 265
Достоевский, Ф.М. — 15
Дуйсберг, Клаус–Юрген —
109–111,
- Ельцин, Б.Н. — 101, 327
Живков, Тодор — 288
Жоспен, Лионель — 213
Зайдель, Ханс — 184
Зайтерс, Рудольф — 106–108
Закария, Фарид — 251
Иоанн Павел II, папа — 285
Йаррен, Готфрид — 262
Кант, Иммануил — 9, 83, 157
Карл, Великий — 14, 15, 36
Касс, Рюдигер — 109
Кафка, Франц — 14, 15–16
Келлог — 326
Кеннан, Джордж Ф. — 286
Кестнер, Уве — 109
Кизингер, Курт Георг — 80,
140, 187, 190, 206, 243, 245
Кильмансегг, Петер Граф — 265
Кимминих, Отто — 77
Киссинджер, Генри — 80
Кирх, Лео — 232
Клаузевиц, Карл — 324
Клинтон, Уильям — 209,
216–217, 330
Кляйн, Ханс («Джонни») —
106–107
Колаковский, Лешек — 301
Коль, Гельмут — 8, 44–45, 56–57,
63, 81, 92, 94, 100–109,
111–119, 137, 156, 159–163,
168, 181, 187, 190–191, 195,
206, 209, 213, 223, 245–247,
286, 294, 296–299, 320–321
Коль, Ханнелоре — 111, 119
Коменский, Ян Амос — 289
Корн, Соломон — 272, 281
Кундера, Милан — 30
Кунце, Райнер — 154
Кюнг, Ханс — 274
Лаах, Мария — 242
Лайма, Гарри — 55

- Лапиде, Пинхас — 271–282
 Лафонтен, Оскар — 105–106, 191
 Ле Пен, Жан–Мари — 71
 Левенталь, Рихард — 45, 149
 Лем, Станислав — 211
 Люббе, Херманн — 172
 Любке, Генрих — 244–245, 247
 Лютер, Мартин — 36, 275
- Масарик, Томаш — 289
 Мазовецкий, Тадеуш — 284
 Маклюэн, Маршалл — 257, 264
 Манджиева, Нина — 10
 Манн, Томас — 219
 Мария–Терезия — 36
 Маркс, Карл — 83
 Мейджор, Джон — 209
 Мейзер, Томас де — 50
 Мейнеке, Фридрих — 9
 Мердок, Руперт — 231–233, 239, 252
 Микеланджело — 15, 54
 Милке, Эрих — 252
 Милошевич, Слободан — 288, 323, 325
 Миттеран, Франсуа — 100, 161, 191, 298, 320–321
 Модров, Ханс — 105, 107, 118–119
 Моизи, Доминик — 10, 327
 Монтескьё, Шарль Луи — 316
 Моргенштерн, Кристиан — 262
 Моцарт, Вольфганг Амадей — 15
 Мюллер, Герберт — 103, 109
 Мюллер, Герхард — 288
 Мюллер–Армак, Альфред — 135
- Нейдер, Ральф — 239
 Немировская, Лена — 8, 10
 Ницше, Фридрих — 24, 34, 84, 154
 Ноэлле–Нойманн Элизабет — 185
- Оруэлл, Джордж — 29, 249, 286
- Павел VI, папа — 285
 Паттен, Крис — 231–233
 Пий XII, папа — 281
 Пинто, Диана — 10
 Плесснер, Гельмут — 80
 Поппер, Карл — 15, 24, 26, 176–177, 179, 237, 316, 329
 Португалов, Николай — 108
 Проди, Романо — 213, 320
 Профитт, Стюарт — 232
 Приль, Норберт — 102–103, 107–111, 296–297
 Пужад, Пьер — 148
- Ранер, Карл — 274, 280
 Ратцингер, Йосиф — 277
 Рау, Йоханнес — 244
 Рейган, Рональд — 290
 Рейнхольд, Отто — 126, 284
 Ромейн, Ян — 327, 329
 Ренан, Эрнест — 18, 19, 30, 32, 37–38, 52, 64
 Рован, Йозеф — 13, 67, 92
 Розенблатт, Рут (Лапиде) — 273–274, 281
 Розенцвейг — 281
 Роммель, Эрвин — 273
 Рупп, Райнер — 67
- Сенокосов, Юрий — 8, 23, 31
 Синатра, Фрэнк — 285, 288
 Сталин, И.В. — 57, 88, 93, 99, 284, 301
 Сталь, де — 30
- Тельчик, Хорст — 104, 107–111, 117
 Твен, Марк — 249
 Токвиль, Алексис де — 177, 266, 269
 Тэтчер, Маргарет — 100, 161, 191, 212, 215

- Уайльд, Оскар — 193
Ульбрихт, Вальтер — 108
- Ф**
Фихте, Иоганн — 83
Фишер, Йошка — 54, 61, 89, 320–321
Франко — 19
Фридман, Бернхард — 114
Фридрих, Великий — 36
Фриш, Макс — 35, 228–229
Фукуяма, Фрэнсис — 294–295
- Хайдегер, Мартин — 221
Хайдер, Йорг — 71, 90
Хайек, Фридрих Аугуст фон — 253
Хайнеман, Густав — 244–245, 247
Хаксли, Олдос — 249
Хангтингтон, Сэмюэль П. — 3299
Ханц, Мартин — 103, 109, 111
Хармель — 110, 113
Хартман, Петер — 109
Хейс, Теодор — 44, 201, 240–241, 243
Хеппнер, Райнхардт — 171
Херускер, Германн — 36
Хобсбаум, Эрик — 219
Хонеккер, Эрих — 165
Хоххут, Рольф — 281
- Цапф, Вольфганг — 142
Ценгер, Эрих — 279
Циммерман, Фридрих — 106
- Чаушеску, Николае — 288
- Шварц, Ханс-Петер — 301
- Шекспир, Вильям — 29
Шелл — 42
Шефген, Кристоф — 173
Шиллер, Фридрих — 9, 10, 30, 326
Шилли, Отто — 290
Ширак, Жак — 213, 317, 320–321
Шлезингер, Артур М. — 184–185, 201, 224–225
Шмидт, Гельмут — 133, 187, 215, 247
Шмитт, Карл — 59, 220–221
Шмитт, Манфред — 46–47
Шойбле, Вольфганг — 106, 161
Шольц, Руперт — 111
Шорлеммер, Фридрих — 171
Шрёдер, Герхард — 45, 54, 56–57, 59, 64–65, 163, 181, 186–187, 195, 206, 209, 213, 217, 223, 320–321
Штерн, Фриц — 59, 149, 155
Штернбергер, Адольф — 17
Штраусс Франц-Йозеф — 162
Штреземан, Густав — 86
Штюрмер, Михаэль — 104
Шуман, Робер — 212
- Эйснер, Майкл — 232
Эккерман, Иоганн Петер — 53
Энценбергер, Ханс-Магнус — 152
Эрхард, Людвиг — 133, 187, 190, 194, 215, 243, 245
- Юнгер, Эрнст — 221
- Ярузельский, Войцех — 289

Библиотека Московской школы
политических исследований

Михаэль Мертес

Немецкие
вопросы —
европейские
ответы

Ответственный за выпуск *О. Карпова*
Корректоры *С. Наджафова, Н. Мышкова*
Художник *А. Бондаренко*
Компьютерная верстка *О. Козак*

Сдано в набор 15.05.2001. Подписано в печать 25.06.2001.
Формат издания 60×90¹/₁₆. Бумага офсетная. Гарнитура "Таймс".
Усл. печ. л. 21,0. Тираж 3000. Заказ № **818**.

Московская школа политических исследований
121854, ГСП-2, Москва, ул. Большая Никитская, 44/2, комн. 22
E-mail: mmps@co.ru
<http://www.mmps.ru>

ЛР № 00972 от 14.02.2000

Отпечатано с готовых диапозитивов в Московской типографии № 6
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций, 109088, Москва, ул. Южнопортовая, 24

